ISSN 0130-6545

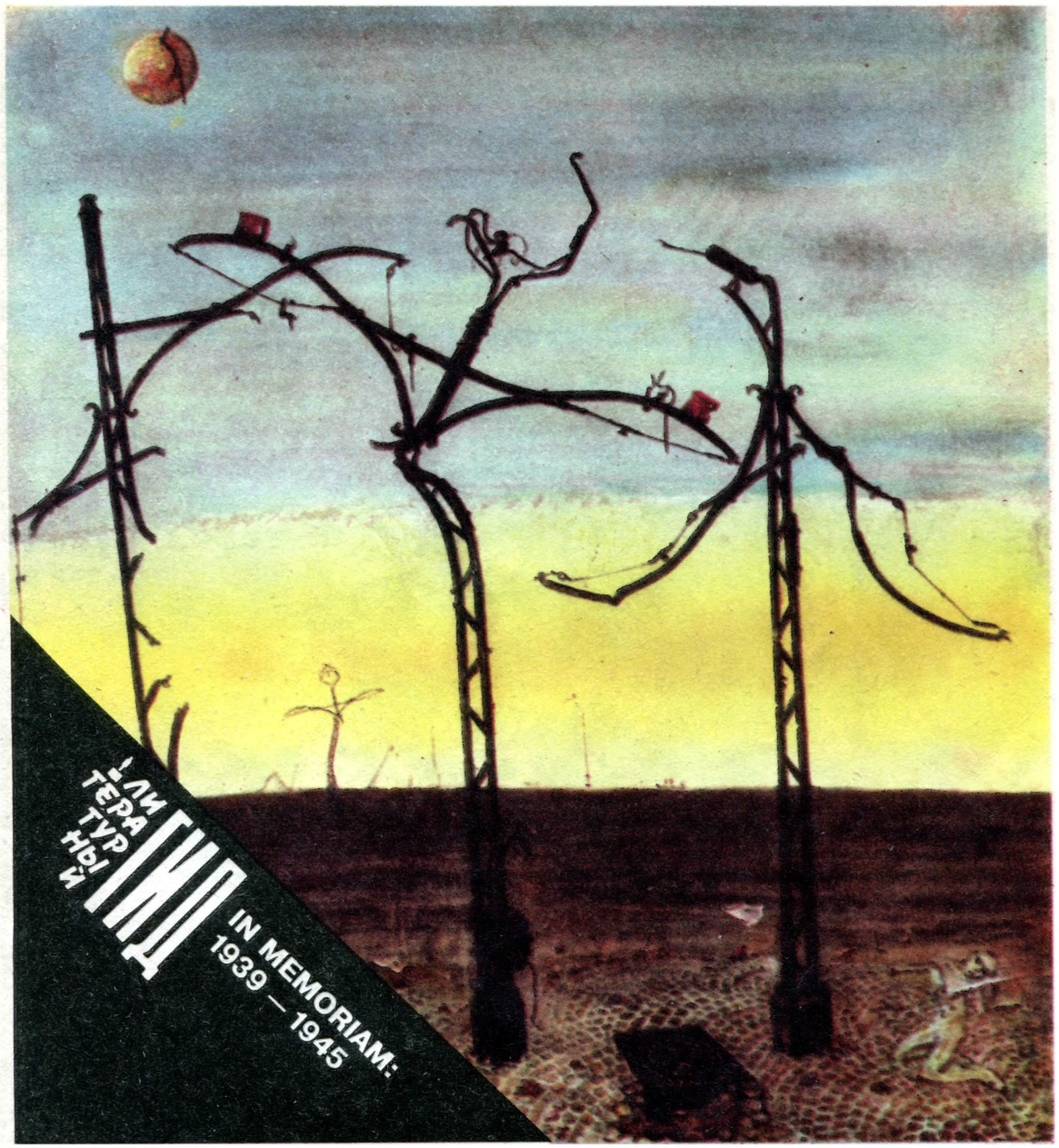
5. 1995

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

АЛЬБЕР КАМЮ
Первый человек

ДАНИЛО КИШ
Энциклопедия мертвых



6 апреля названы имена первых лауреатов наших ежегодных литературных премий.

Премия ***ИЛлюминатор*** (*учредители «ИЛ» и Конверсбанк*) присуждена **Борису Дубину** за предисловие и комментарии к трехтомнику Х.Л. Борхеса.

Премия ***Инолит*** (*учредители «ИЛ» и Конверсбанк*) присуждена **Елене Суриц** за перевод романа Вирджинии Вулф «Орландо».

Премия имени А. Карельского *(учредители «ИЛ» и Альманах немецкой литературы*) присуждена **Андрею Битову** за эссе «Тексты, присланные из Германии».

Премия имени отца А. Меня *(учредители «ИЛ» , Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино и Католическая академия Штутгарта)* присуждена первому директору Немецкого культурного центра имени Гёте **Катинке Диттрих ван Веринг** за выдающийся вклад в духовное сближение народов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЛАУРЕАТОВ !

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 37 430 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Главный редактор
А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н.Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, И.А. БРОДСКИЙ, П.Л. ВАЙЛЬ,
Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

5 май 1995

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЬБЕР КАМЮ — Первый человек (*Главы из романа. Перевод с французского и вступление Ирины Кузнецовой*) 5

Современные поэты Арагона. ИЛЬДЕФОНСО МАНУЭЛЬ ХИЛЬ. ТОМАС СЕРАЛЬ-И-КАСАС. ГИЛЬЕРМО ГУДЕЛЬ. АНТОНИО ФЕРНАНДЕС МОЛИНА. ХОСЕ АНТОНИО РЕЙ ДЕЛЬ КОРРАЛЬ. ХОАКИН САНЧЕС ВАЛЬЕС (*Перевод с испанского А.Гелескула. Вступление Натальи Ванханен*) 45

ЭФРАИМ КИШОН — Рассказы (*Перевод с немецкого и вступление Н.Берновской*) 53

РЕНЕ ШАР — «Любовь моя и крах...» (*Стихи. Перевод с французского и вступление Сергея Гончаренко*) 65

Литературный гид

IN MEMORIAM: 1939 — 1945

ДЖ.Д.СЭЛИНДЖЕР — Раз в неделю — тебя не убудет (*Рассказ. Перевод с английского И.Бернштейн*) 70

ТИМОТИ ФИНДЛИ — Камни (*Рассказ. Перевод с английского Ксении Соколовой*) 74

ИВО АНДРИЧ — Знаки вдоль дороги (*Фрагменты книги и очерк. Перевод с сербскохорватского и вступление Александра Д.Романенко*) 84

ЭРИХ КЕСТНЕР — Notabene 45 (*Фрагменты дневника. Перевод с немецкого и вступление Г.Косарик*) 93

РОАЛД ДАЛ — Генезис и катастрофа (Правдивая история. *Рассказ. Перевод с английского Л.Курбатова*) 101

БОГУСЛАВ ШНАЙДЕР — Два интервью о войне (*Перевод с английского Р.Файфель*) 105

ВЛАДИМИР ПОДГОРНЫЙ — Письма парижского бомжа, или, по-французски, клошара 115

№

ДАНИЛО КИШ

А.ШЕКШЕН — Реквием по человеку 122

ДАНИЛО КИШ — Энциклопедия мертвых (*Фрагменты книги. Перевод с сербскохорватского И.Юферева*) 125

Документальная проза

МИЛОШ ФОРМАН при участии ЯНА НОВАКА — Круговорот (*Воспоминания. Окончание. Перевод с английского Елены Богатыренко*) .. 152

Критика

КЭНДЗАБУРО ОЭ — Многосмысленностью Японии рожденный (*Нобелевская лекция 1994 года. Перевод с английского Натальи Старосельской. Вступление Т.Григорьевой*) 176

Возвращаясь к напечатанному

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Запад есть Запад? 184

Авторы этого номера 191

© «Иностранная литература», 1995

В следующем номере «ИЛ»

Фрагменты фантастической энциклопедии ХОРХЕ ЛУИСА БОРХЕСА «**Книга вымышленных существ**».

Новелла итальянской писательницы ЭЛЬЗЫ МОРАНТЕ «**Дорога ангелов**».

«Литературный гид» номера, названный «**Восточная Европа: русские ушли**», посвящен проблемам посткоммунистической Восточной Европы: мучительное расставание с прошлым, растерянность, царящая в умах на Востоке и Западе относительно исторических перспектив. На страницах этого «Литературного гида» мы представим читателям роман известного английского писателя ДЖУЛИАНА БАРНСА «**Дикобраз**» — во многом неожиданный для поклонников его таланта, — а также новеллистические наброски, заметки, эссе, статьи и миниатюры видных интеллектуалов и художников слова бывших социалистических стран - ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, ДЁРДЯ КОНРАДА, ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ, АДАМА ЗАГАЕВСКОГО, СТАНИСЛАВА СТРАТИЕВА и других.

Книга «**Предчувствие гражданской войны**» ХАНСА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА, которого считают лучшим эссеистом современной Германии.

В рубрике «Литературная пресса мира» представляем журнал «НЬЮ-ЙОРКЕР». Подборка, включающая интервью с Иосифом Бродским, статьи и художественную прозу, подготовлена Петром Вайлем.

Цветные иллюстрации номера — работы польского художника Бронислава Линке из цикла «Камни кричат» (1949):

На 1-й стр. обложки — «Балет».
На 2-й стр. обложки — «Молитва».
На 3-й стр. обложки — «Убежище».

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественный редактор **С.И. Мартемьянова**
Технический редактор **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Подписано в печать 21.04.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.

Бумага типографская. Усл. печ. л. 16,8 Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 19,95 Заказ №575

Тираж 37 430 экз. Цена по подписке 4500р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

АЛЬБЕР КАМЮ

Первый человек

Главы из романа

Перевод с французского ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
1957 г.

От переводчика

Четвертого января 1960 года, по дороге из Прованса в Париж, на скользком от зимнего дождя шоссе врезался в дерево и разбился спортивный автомобиль. За рулем сидел Мишель Галлимар, племянник знаменитого издателя Гастона Галлимара, рядом — Альбер Камю. Камю погиб сразу. Мишель Галлимар скончался через несколько дней в больнице, его жена и дочь, которых выбросило из машины, чудом уцелели. Когда спасатели извлекли тело Камю из-под груды металла, на что им понадобилось два часа, они обнаружили у него в кармане неиспользованный железнодорожный билет: он собирался ехать в Париж поездом и только накануне изменил свои планы. Среди обломков автомобиля, разметанных более чем на сотню метров вокруг, была найдена дорожная сумка Камю и в ней — рукопись романа «Первый человек». «Сто сорок четыре страницы, написанные как писалось, местами без точек и запятых, быстрым неразборчивым почерком, без всякой последующей правки», — так рассказывает о находке Катрин Камю, дочь писателя, подготовившая текст к публикации. Книга вышла в апреле 1994 года, через тридцать четыре года после смерти автора.

«Камю упоминает о «Первом человеке» в своих записях начиная с 1951 года и называет его романом, — говорит Катрин Камю в интервью еженедельнику «Эвенман дю жеди». — Это должен был быть роман о женщинах, о любви и об Алжире. Камю собирал материалы об алжирской войне, они были приложены к рукописи». В той же дорожной сумке лежал блокнот с планами и заметками — они опубликованы в книге как приложения к основному тексту. Судя по этим записям, роман должен был состоять из трех частей. Из них Камю успел написать первую и, видимо, примерно половину второй. Первая часть, озаглавленная в блокноте «Кочевники», — это рождение и детство героя, поиски отца, вторая («Первый человек») — отрочество, политическая борьба, Сопротивление, третья («Мать») — зрелость, любовь, арабская проблема и судьба Запада. Роман посвящается матери и по сути своей автобиографичен, хотя, как явствует и из самого текста, и из заметок Камю, это *«в то же время* (курсив автора) история конца целого мира — пронизанная сожалением о годах света...» Мир, который имеет в виду Камю, это арабо-французская цивилизация в Алжире, где он родился и вырос в эпоху, когда арабы и французы еще спокойно уживались на этой земле. В какой-то момент Камю хотел назвать книгу «Адам». «По существу, каждый из нас, и я в том числе, — сказал он в 1959 году журналисту одной из итальянских газет, — это в некотором смысле первый человек, Адам своей собственной истории». Есть

© GALLIMARD, 1994
Текст публикуется с любезного разрешения издательства «Фолио», где перевод романа будет напечатан полностью.

у этого названия и более конкретный смысл: первым человеком, оторванным от своих корней, ощущал себя в Африке любой француз эмигрант, даже если он, как и сам Камю, там родился.

В разговорах с друзьями Камю иногда называл будущую книгу своей «Войной и миром». По абсурдной —'используя термин Камю — прихоти судьбы огромный замысел воплотился всего лишь на ста сорока четырех страницах, к тому же пролежавших под спудом треть столетия. Однако и этих страниц оказалось достаточно для ошеломляющего успеха. За две недели был распродан весь первый тираж — 125 000 экземпляров. Около двух десятков зарубежных издательств запросили права на перевод. «Это книга-друг, которая теперь всегда будет с нами», — пишет Мишель Курно в еженедельнике «Нувель обсерватёр». «Во Франции сейчас возник своего рода культ Камю. Успех «Первого человека» невероятный. Мы никогда ничего подобного не видели» (Антуан де Годмар, «Либерасьон»). «Чтобы в черновике мог с такой силой проявиться талант — это уже чудо. «Первый человек» в том виде, в каком он есть, мгновенно станет классикой» (Пьер Анкель, «Эвенман дю жеди»). «Каждое неразборчивое слово, каждое многоточие будоражит наше воображение. Таков парадокс оборванных смертью книг: в большей степени, чем все остальные, они кажутся нам живыми» (Флоранс Нуавиль, «Монд»).

Почему же этой рукописи, пусть черновой, но представляющей собою целостное повествование и принадлежащей перу Нобелевского лауреата, пришлось ждать своего часа тридцать с лишним лет? После смерти Камю его друзья — поэт Рене Шар, Робер Галлимар (отец погибшего Мишеля), Роже Гренье (один из ведущих сотрудников издательства «Галлимар»), Жан Гренье (философ, в прошлом преподаватель алжирского лицея, где учился Камю; в тексте романа назван инициалами Ж.Г.) — прочли первую машинописную копию рукописи, сделанную женой Камю, Франсин, и единодушно решили, что публиковать ее не следует, ибо сырой, не правленный автором текст вряд ли принесет Камю новую славу и только даст лишние аргументы в руки его недоброжелателям. Сейчас это может вызвать удивление, особенно после полного триумфа книги, но тогда, в шестидесятом году, в разгар алжирской войны, иное решение было бы, вероятно, губительным для последующей судьбы романа.

Отношение к войне в Алжире было среди французской левой интеллигенции однозначным и непримиримым. Североафриканских французов, прозванных вполне красноречиво «черноногими», не жаловали в метрополии, куда они вынуждены были бежать, бросая за морем свои дома и возделанные земли и встречая полное равнодушие, если не неприязнь, со стороны вновь обретенных соотечественников. Алжир, а не Франция, постепенно стал для этих людей родиной, с трудом обретенной на чужом континенте, а потом безвозвратно потерянной. Один из временных пластов романа Камю охватывает этот драматический момент утраты: герой в поисках «своей собственной истории» приезжает из Парижа в Алжир и застает едва ли не последние дни того царства «нищеты и света», в котором прошло его детство.

В ситуации, когда левая общественность хором клеймила колониальную войну, посмертная публикация «Первого человека» с его ностальгией и трагическим осмыслением алжирских событий вполне могла сыграть роль красного плаща на арене корриды. Тем более что Камю и при жизни упорно отказывался присоединить свой голос к этому хору, хотя писателю, в особенности крупному и демократически настроенному, надлежало печатно выражать протест против действий Франции в колониях. Однако Камю, у которого в Алжире оставалась мать и который уже писал свою «великую сагу черноногих», публичных высказываний об алжирской войне избегал. Его отношение к этой теме было слишком сложным, чтобы укладываться в рамки политической кампании. Получая в 1957 году Нобелевскую премию, он сказал одному из журналистов: «Между справедливостью и матерью я выбираю мать». Разумеется, это замечание не осталось без язвительных комментариев прессы, для которой Камю уже давно стал объектом критики, сильно смахивавшей на травлю.

Началось это с его разрыва с Сартром, с которым его связывала тесная дружба с сорок четвертого года. Ссора произошла после выхода в 1951 году философского трактата Камю «Человек бунтующий», где он осудил историческую утопию Маркса, обернувшуюся политическим цинизмом Ленина и сталинским террором. Сегодня не только нам, но и французам, если только они сами не застали то время, трудно представить себе, какого мужества требовала в сверхполитизированной послевоенной Франции подобная позиция по отношению к Советскому Союзу. Если человек не причислял себя к правым — что для Камю было совершенно невозможно, — то, изобличая (за пять лет до речи Хрущева на XX съезде) сталинский социализм, он как бы бросал вызов «своим», нарушал табу, рискуя не только репутацией, но и определенным местом в обществе. В молодости членство Камю в компартии ограничилось тремя годами (1934 — 1937). Неприятие политического насилия уводило его все дальше и дальше от бывших единомышленников, причем не только от коммунистов, но и от той части левой интеллигенции, чьим признанным мэтром и лидером был Сартр. Так называемый сартровский выбор «грязных рук», иначе говоря, согласие запятнать себя кровью во имя будущего блага человечества, был для Камю неприемлем. Их полемика, начавшись в 1952 году на страницах журнала «Тан модерн», глухо продолжалась потом уже в самих произведениях обоих писателей и закончилась лишь со смертью Камю. Камю не мог простить Сартру его «ультрабольшевизм», Сартр обвинял Камю в

буржуазном мировоззрении.Между тем для человека пишущего иметь «буржуазное мировоззрение» издавна считалось во Франции, гордой по сей день своими баррикадами, весьма дурным тоном. Тот, кто вешал на писателя подобный ярлык, заведомо отдавал его на растерзание прессе. Присуждение Камю Нобелевской премии только подлило масла в огонь, о чем можно судить по некоторым газетным откликам тех дней: «Присуждая премию Камю, Нобелевский комитет увенчал исчерпавшее себя творчество» (Жан Лоран, «Ар»). «Желая прославить молодого писателя, не благословила ли Шведская академия ранний склероз?» (Роже Стефан, «Франс-обсерватёр»).

Подавленный этой атмосферой враждебности, окружавшей его имя, и развитием событий в Алжире, Камю в последние годы жизни ничего не публиковал. На деньги Нобелевской премии он купил дом в Провансе, в деревне Лурмарен, где находится теперь на деревенском кладбище его могила, и целиком занялся вдали от Парижа работой над будущим романом.

Прошло время, кончилась «холодная война», алжирская независимость обернулась кровопролитием, и диктатура левой прессы во Франции смягчилась. Публикация рукописи стала возможна. Еще несколько лет ушло на тяжелую и кропотливую работу над текстом. Не желая отказываться от вариантов, написанных над строкой, и от записей на полях, издатели поместили их в сноски. Отдельные пометки так и остались загадочными. Некоторая путаница в именах персонажей и все стилистические шероховатости, которых в этой черновой рукописи совсем немного, в публикации (и в переводе) сохранены, неразборчивые слова взяты в квадратные скобки. Два года дочь Камю работала с лупой и увеличенными фотокопиями, расшифровывая его мелкую скоропись. «Когда у Камю кончались в ручке чернила, он все равно продолжал писать», — рассказывает она. Мучили ее и вполне естественные сомнения: «Камю по шесть раз перерабатывал свои рукописи. Он наверняка не стал бы печатать текст в таком виде. Через это трудно переступить».

Когда отец погиб, Катрин было четырнадцать лет, но по рассказам матери она знала, что Камю был недоволен тем, как у него шла работа, и хотел уничтожить большую часть написанного, чтобы начать все сначала. Однако не уничтожил, может быть, просто не успел, и роман вышел — такой, каким застала его смерть автора. Никто, в том числе и Катрин Камю, не предполагал, что прием будет столь восторженным, и две недели спустя, отвечая на вопросы газеты «Монд», она с радостным удивлением признается: «Я не ожидала, что новая встреча с Камю будет таким счастьем!»

1

Поиски отца

Посредник: вдова Камю.

Тебе, которая никогда не сможет прочесть эту книгу[а]

Над повозкой, ехавшей в сумерках по каменистой дороге, неслись к востоку густые, тяжелые тучи. Тремя днями раньше они заклубились и набухли над Атлантическим океаном, дождались западного ветра и тронулись: они двигались сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, проплыли над фосфоресцирующей осенней водой, достигли материка, повисли клочьями[б] на марокканских хребтах, потом снова сбились гуртом на высоких плато Алжира и теперь, подойдя к тунисской границе, устремились к Тирренскому морю, чтобы там затеряться. После гонки в несколько тысяч километров над пространством гигантского острова, окруженного с севера беспокойной водной стихией, а с юга — неподвижным морем песка, промчавшись над этой безымянной землей не намного быстрее, чем проходили по ней в былые века империи и народы, они потеряли разбег, отяжелели, и некоторые из них уже растекались, роняя крупные редкие капли, стучавшие по брезенту повозки над головой четверых путешественников.

Буквами обозначены пометки автора на полях, звездочкой — варианты, написанные над строкой, цифрами — примечания издателя.

[а] (Добавить геологическую безымянность пространства. Земля и море.)

[б] Сольферино.

Повозка скрипела, катясь по едва утрамбованной, хотя и четко обозначенной дороге. Время от времени из-под железного обода или из-под копыт вылетали искры и мелкий камешек ударялся о деревянную стенку повозки или шлепался с глухим стуком на мягкую землю обочины. Однако пара в упряжке шла ровно, небольшие лошадки спотыкались лишь изредка и, выгибая грудь, тянули повозку с тяжелым скарбом, неуклонно оставляя позади километры дороги. Одна временами шумно выпускала воздух через ноздри и сбивалась с ноги. Тогда араб, правивший лошадьми, хлестал ее плашмя потертыми* вожжами, и лошадь снова мужественно входила в ритм.

Человек, занимавший место спереди, подле кучера, француз лет тридцати, сидел, устремив взор перед собой, и смотрел на колыхавшиеся перед ним крупы. Крепкий, коренастый, светлоглазый, с продолговатым лицом, высоким прямым лбом и энергичным подбородком, он был одет, несмотря на позднюю осень, в тиковую куртку на трех пуговицах, застегнутую, по тогдашней моде, под горлом, и легкий картуз[а], из-под которого виднелись коротко подстриженные волосы[б]. Когда по капоту забарабанил дождь, он обернулся и заглянул в глубь повозки. «Как ты?» — крикнул он. Сзади со скамьи, зажатой между козлами и нагромождением старых чемоданов, ему слабо улыбнулась бедно одетая, закутанная в широкую грубошерстную шаль женщина. «Да, да», — отозвалась она и слегка взмахнула рукой, словно извиняясь. Прижавшись к ней, спал четырехлетний мальчик. У нее было нежное правильное лицо, волосы, как обычно у испанок, черные и вьющиеся, маленький прямой нос, красивые и теплые карие глаза. Но что-то в этом лице поражало. Не столько даже маска усталости или какого-то иного временного состояния, сковавшая ее черты, нет, скорее некий отсутствующий вид, выражение тихой отрешенности, постоянно блуждающее на лицах некоторых юродивых, но проступавшее лишь мимолетно в ее прекрасном облике. К необычайной доброте взгляда примешивался порой отсвет беспричинного страха, который тут же угасал. Уже загрубевшей от работы, чуть узловатой в суставах рукой она легонько похлопала мужа по спине. «Все хорошо, хорошо», — сказала она. И сразу перестав улыбаться, выглянула из-под брезента на дорогу, где уже блестели лужи.

Мужчина повернулся к невозмутимому арабу в тюрбане с желтой тесьмой, казавшемуся толстяком из-за широченных, стянутых над икрами шаровар. «Далеко еще?» Араб улыбнулся сквозь густые седые усы. «Восемь километров, и ты на месте». Мужчина оглянулся, посмотрел на жену, без улыбки, но заботливо. Она не сводила глаз с дороги. «Дай мне вожжи», — сказал мужчина. «Как угодно». Араб повиновался, они поменялись местами. Двумя ударами вожжей пассажир овладел лошадьми, те выправили шаг и сразу пошли быстрее. «Ты знаешь лошадей», — сказал араб. Последовал краткий без улыбки ответ: «Знаю».

Сумерки угасали, и внезапно наступила полная тьма. Араб достал квадратный фонарь, повернулся спиной к лошадям и, испортив несколько грубых спичек, зажег в нем свечу. Потом поставил фонарь на прежнее место. Дождь стучал теперь мерно и тихо. Он поблескивал в ореоле света и наполнял окружающий мрак легким шорохом. Иногда у обочины возникали заросли колючего кустарника или низкорослые деревья, на несколько секунд слабо высвеченные фонарем. Но в основном они ехали среди голых равнин, казавшихся еще необъятнее из-за темноты. Только запахи выжженных трав да порой острый дух удобрений позволяли предположить, что тут есть возделанные земли. Женщина сзади заговорила, возница слегка придержал лошадей и наклонился к ней. «Здесь так безлюдно», — сказала она. «Тебе страшно?» — «Что-что?» Мужчина повторил, на сей раз почти крича. «Нет, нет, с тобой я не боюсь». Но она выглядела встревоженной. «Тебе больно», — сказал мужчина. «Немного». Он подхлестнул лошадей, и снова громкий стук восьми подкованных копыт и скрип колес, вдавленных в колеи, наполнили тьму.

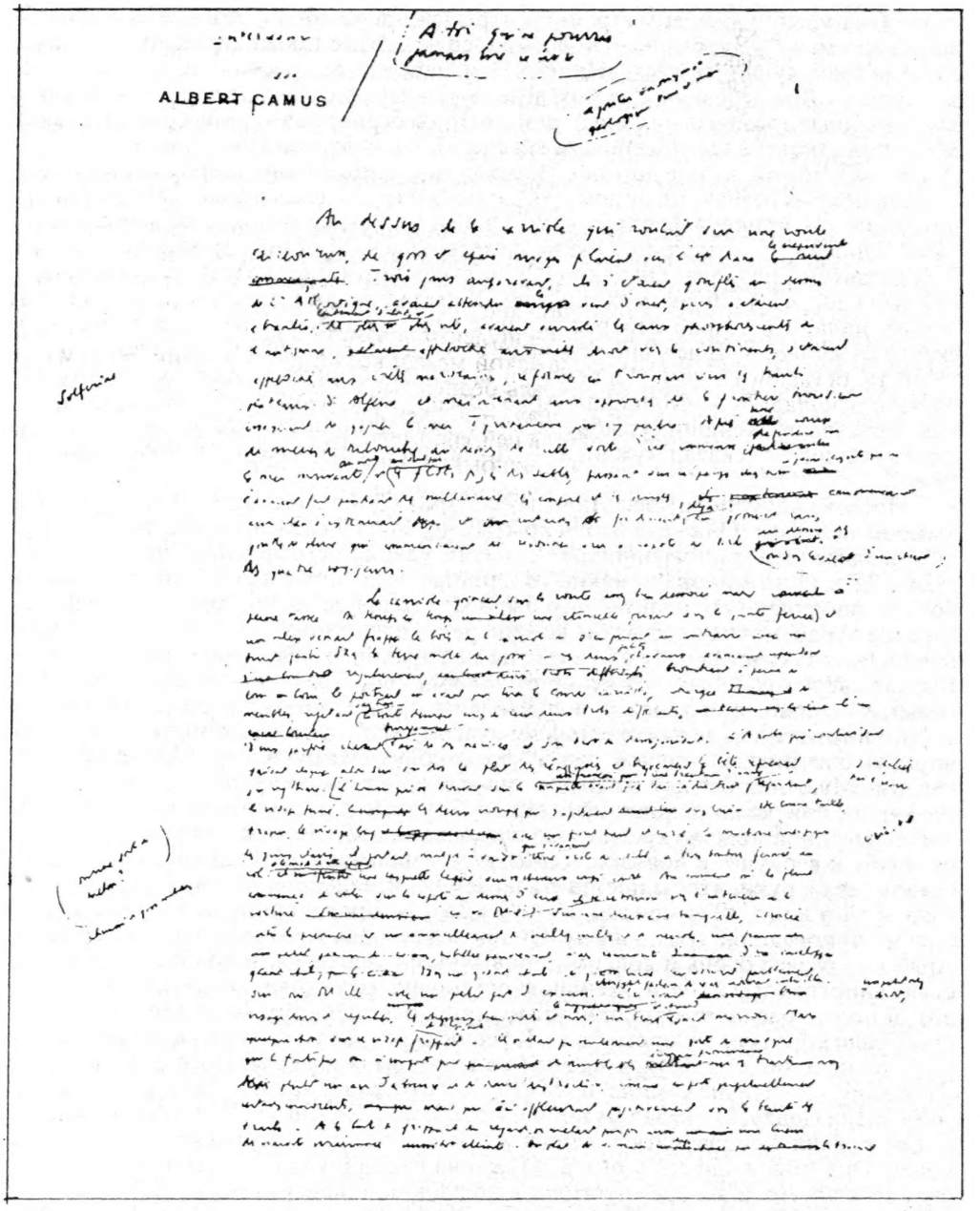
То была осенняя ночь 1913 года. Двумя часами раньше путешественники покинули Бон, куда прибыли из Алжира, проведя сутки на жестких скамьях вагона третьего класса. Они отыскали там араба с лошадьми, который ждал их, чтобы доставить в усадьбу, расположенную возле небольшой деревеньки, километрах в двадцати от города, — мужчине предстояло работать там управляющим. Какое-то время ушло на то, чтобы погрузить чемоданы и прочий багаж, да еще их задержала плохая дорога. Словно почувствовав беспокойство своего спутника, араб сказал: «Не бойтесь, бандитов здесь нет». «Они есть везде, —отозвался француз. — Но я припас для них кое-что». И он похлопал себя по внутреннему карману. «Ты

---

* потрескавшимися от старости

[а] или что-то вроде котелка?

[б] в грубых башмаках.



Страница рукописи А. Камю

прав, — согласился араб. — Ненормальные есть везде». В этот момент женщина окликнула мужа. «Анри, мне больно». Мужчина чертыхнулся и еще подхлестнул лошадей[а]. «Уже близко», — сказал он. Через какое-то время он оглянулся. «Болит?» Она улыбнулась ему странной отрешенной улыбкой, лицо ее при этом не выражало муки. «Да, очень». Он посмотрел на нее все так же серьезно. Она опять сделала извиняющийся жест. «Ничего. Это, наверно, от тряски». «Смотри, — сказал араб. — Вон деревня». В самом деле, чуть впереди, слева от дороги, виднелись затуманенные дождем огни Сольферино. «Но ты бери вправо», — посоветовал араб. Мужчина заколебался, повернулся к жене. «Едем в деревню или домой?» — спросил он. «О, домой, лучше домой». Проехав еще немного, они свернули направо, к ожидавшему их незнакомому дому. «Еще километр», — сказал араб. «Мы уже почти приехали», — крикнул француз жене. Она сидела скрючившись, закрыв лицо руками. «Люси», — позвал он. Она не шевельнулась. Мужчина тронул ее за плечо. Она беззвучно плакала. Он закричал, жестикулируя и старательно выговаривая каждый слог: «Ты сейчас сможешь лечь. Я съезжу за доктором». — «Да, съезди. Я думаю, началось». Араб смотрел на них с недоумением. «У нее будет ребенок, — сказал мужчина. — В деревне есть врач?» — «Да. Если хочешь, я привезу его». — «Нет, ты оставайся в доме. Присмотри за ней. Я обернусь скорее. Есть у него машина или лошадь?» — «Машина». Араб повернулся к женщине: «У тебя будет мальчик. Красавец». Женщина улыбнулась ему, явно не понимая, что он говорит. «Она плохо слышит, — сказал мужчина. — Дома кричи погромче и всё показывай жестами».

Повозка вдруг покатилась почти бесшумно. Сузившаяся внезапно дорога была вымощена туфом. Она вела вдоль крытых черепицей сараев, за которыми виднелись первые ряды виноградников. В нос им ударил острый запах виноградного сусла. Затем они миновали какие-то длинные строения с высокими крышами, и колеса зашуршали по шлаку — это было что-то вроде двора, голого, без единого деревца. Араб, молча перехватив вожжи, резко их натянул. Лошади остановились, одна из них захрапела[б]. Араб указал на маленький, выбеленный известью домик. Низкая дверь с голубыми от купороса краями была увита виноградом. Мужчина спрыгнул с повозки и побежал под дождем к дому. Он отворил дверь. Она вела в темное помещение, где пахло остылым очагом. Араб прошел в темноте к камину и, чиркнув охотничьей спичкой, зажег керосиновую лампу, висевшую над круглым столом. Мужчина беглым взглядом окинул побеленную кухню с облицованной красными плитками раковиной, старым буфетом и отсыревшим календарем на стене. Лестница, тоже из красных плиток, вела на второй этаж. «Затопи», — сказал он арабу и вернулся к повозке. (Отнес в дом мальчика?) Женщина молча ждала. Он взял ее на руки, чтобы поставить на землю, и, задержав на миг в объятиях, заглянул ей в лицо. «Ты можешь идти?» «Да», — проговорила она и узловатыми пальцами погладила его по плечу. Он провел ее к дому. «Подожди», — сказал он. Араб уже развел огонь и ловкими привычными движениями подбрасывал в очаг сухие виноградные побеги. Женщина остановилась у стола, обхватив руками живот, и по ее красивому запрокинутому лицу, освещенному керосиновой лампой, пробегали короткие судороги боли. Казалось, она не замечает ни сырости, ни духа запустения и нищеты. Мужчина возился в комнатах наверху. Потом он вышел на площадку. «В спальне камина нет?» «Нет, — отозвался араб. — Ни в той, ни в другой». «Иди сюда», — сказал мужчина. Араб поднялся к нему. Через несколько минут он появился снова, пятясь и таща матрац, который мужчина держал за другой конец. Они положили его у очага. Мужчина отодвинул стол в угол, а араб снова поднялся наверх и вскоре спустился с подушкой в виде валика и одеялами. «Ложись», — сказал он жене и подвел ее к матрацу. Она остановилась в нерешительности. Теперь отчетливо чувствовался запах сырого конского волоса, поднимавшийся от матраца. «Я не могу раздеться», — сказала она, опасливо оглядываясь вокруг, словно только что заметила обстановку дома... «Сними нижнее белье, — сказал мужчина. И повторил: — Сними нижнее белье. — Потом повернулся к арабу: — Спасибо. Выпряги лошадь. Я поеду верхом». Араб вышел. Женщина раздевалась, стоя спиной к мужу, который тоже отвернулся. Затем она легла и, едва натянув на себя одеяла, вдруг закричала, протяжно, открытым ртом, будто хотела разом дать выход всей накопившейся боли. Мужчина стоял перед матрацем, не пытаясь унять ее крик, а когда она смолкла, снял картуз, встал на одно колено и поцеловал прекрасный лоб над закрытыми веками. Потом снова надел картуз и

[а] мальчик.
[б] Темно?

вышел под дождь. Распряженная лошадь вертела крупом, упираясь передними ногами в шлак. «Я поищу седло», — сказал араб. «Не надо, оставь вожжи. Я поеду так. Отнеси вещи в кухню. У тебя есть жена?» — «Умерла. Она была старая». — «А дочь?» — «Нет, слава небесам. Есть жена сына». — «Скажи ей, чтоб пришла». — «Хорошо. Поезжай с миром». Мужчина посмотрел на старого араба, который улыбался ему сквозь мокрые усы, неподвижно стоя под мелким дождем. Сам он так и не улыбнулся, а лишь продолжал смотреть на него внимательными светлыми глазами. Потом протянул ему руку, которой тот коснулся по арабскому обычаю кончиками пальцев и поднес пальцы к губам. Мужчина повернулся, скрипнув каблуками по шлаку, подошел к лошади, вскочил ей на спину без седла и уехал тяжелой рысью.

Оставив позади усадьбу, он двинулся в сторону развилки, откуда они в первый раз увидели огоньки деревни. Теперь огни светили ярче, дождь перестал, уходившая вправо дорога вела в деревню напрямик, через виноградники, и было видно, как в них местами поблескивает мокрая проволока. Примерно на полпути лошадь сама сбавила ход и пошла шагом. Они подъехали к какому-то прямоугольному сооружению: одна половина его была каменной и явно жилой, а другая, бóльшая, — дощатой, с широким навесом над чем-то вроде полукруглого прилавка. В каменной части виднелась дверь с надписью: «Сельскохозяйственная столовая мадам Жак». Из-под двери пробивался свет. Мужчина остановил лошадь прямо у входа и, не спешиваясь, постучал. Из-за двери тут же отозвался звонкий решительный голос: «Кто там?» — «Я новый управляющий усадьбы Сент-Апотр. У меня жена рожает. Нужна помощь». Никто не ответил. Через некоторое время защелкали задвижки, кто-то долго отодвигал и снимал засовы, потом дверь приоткрылась. Он увидел кудрявые черные волосы и европейское женское лицо с круглыми щеками и чуть приплюснутым носом над полными губами. «Меня зовут Анри Кормери. Вы не могли бы пойти к моей жене? Я еду за врачом». Она взглянула на него острыми, проницательными глазами, привыкшими оценивать людей и смотреть в лицо опасности. Он твердо выдержал ее взгляд, но не добавил ни слова. «Хорошо, сейчас, — сказала она. — Поезжайте, не теряйте времени». Он поблагодарил ее и ударил лошадь каблуками. Через несколько минут он въехал в деревню, миновав нечто вроде земляных укреплений. Перед ним лежала деревенская улица, судя по всему, единственная, с маленькими, похожими друг на друга одноэтажными домиками; он доехал по ней до небольшой площади, вымощенной туфом, где на его пути неожиданно вырос металлический каркас музыкальной эстрады. Площадь, как и улица, была пустынна. Кормери уже направился было к ближайшему дому, как лошадь вдруг шарахнулась в сторону. Из темноты возник араб в рваном бурнусе, шедший ему навстречу. «Где живет доктор?» — едва увидев его, спросил Кормери. Араб внимательно оглядел его. «Поезжай за мной», — сказал он. Они двинулись по улице в обратную сторону. На одном из зданий с высоким фундаментом и побеленной известью лестницей было написано: «Свобода, Равенство, Братство». Рядом, за невысокой оштукатуренной стеной, темнел палисадник, в глубине которого виднелся дом. «Это здесь», — указал араб. Кормери соскочил с лошади и быстрым шагом, в котором не чувствовалось усталости, пересек палисадник, не обнаружив там никакой растительности, кроме единственной чахлой пальмы с высохшими ветвями и гнилым стволом. Он постучал в дверь. Никто не ответил [а]. Он оглянулся. Араб молча стоял и ждал. Кормери постучал снова. В доме послышались шаги и остановились у двери. Но она не открылась. Кормери постучал еще раз и сказал: «Мне нужен врач». Засовы тут же были отодвинуты, и дверь отворилась. Вышел высокий, крепкий мужчина в гетрах, с молодым розовощеким лицом, но почти совсем седой. Он натягивал охотничью куртку. «Господи, откуда вы взялись? — спросил он с улыбкой. — Я никогда вас не видел». Кормери объяснил, кто он. «Ах да, мэр говорил мне про вас. Но что это вам вздумалось ехать в такую дыру рожать?» Кормери ответил, что, по их расчетам, это должно было произойти позже, но, видимо, они ошиблись. «Ничего, с каждым бывает. Поезжайте домой. Я оседлаю Матадора и поеду следом».

На полпути, под вновь зарядившим дождем, доктор на серой в яблоках лошади нагнал Кормери, который уже насквозь промок, но по-прежнему держался в седле прямо. «Веселое у вас новоселье, — крикнул ему доктор. — Но вы увидите, здесь вовсе не так плохо, если не считать москитов и местных банд».

[а] Я воевал с марокканцами (двусмысленный взгляд) — дрянь люди.

Он поравнялся с Кормери. «Что касается москитов, то до весны можете быть спокойны. А вот насчет бандитов...» Он засмеялся, но его спутник по-прежнему ехал молча. Врач с любопытством посмотрел на него. «Не бойтесь, — сказал он, — все будет хорошо». Кормери устремил на врача спокойные светлые глаза и сказал с оттенком теплоты в голосе: «Я не боюсь. Я привык к передрягам». — «Это первенец?» — «Нет, у меня есть сын четырех лет, я оставил его в Алжире у тещи».[1] Они подъехали к развилке и свернули в сторону усадьбы. Вскоре из-под лошадиных копыт полетел шлак. Когда лошади остановились и стало тихо, они услышали из дома громкий крик. Оба спешились.

Какая-то тень поджидала их у дверей под диким виноградом, с которого струйками стекала вода. Подойдя ближе, они увидели старого араба, прикрывавшего голову мешком. «Здравствуй, Каддур, — сказал врач. — Как там дела?» — «Не знаю, я никогда не захожу к женщинам». — «Хорошее правило, — сказал врач. — Особенно когда они кричат». Но больше никаких криков не было слышно. Доктор отворил дверь и вошел, Кормери последовал за ним.

В камине горело высокое пламя, освещая комнату ярче, чем медная керосиновая лампа, висевшая под потолком. Раковина справа от входа оказалась завалена металлическими кувшинами и полотенцами. Слева, перед маленьким шатким буфетом светлого дерева, стоял сдвинутый из центра комнаты стол. На нем валялись какие-то свертки, шляпная картонка, потертый саквояж. Во всех углах громоздились старые чемоданы, среди которых была одна большая плетеная корзина; вещи занимали всю комнату, свободное место оставалось только посередине, возле огня. Там, на матраце, повернутом под прямым углом к камину, чуть запрокинув голову, лежала женщина. Волосы ее разметались по подушке без наволочки. Одеяла покрывали теперь лишь верхнюю половину тела. Рядом стояла на коленях хозяйка столовой, заслоняя открытую часть матраца. Она выжимала над тазом полотенце, и с него капала красная вода. Напротив, по-восточному поджав под себя ноги, сидела арабская женщина с открытым лицом, протягивая жестом дарительницы другой эмалированный таз, чуть облупившийся, над которым поднимался густой пар. Между ними белела подстеленная под роженицу сложенная простыня. Тени и отсветы пламени скользили по стенам, выбеленным известью, по разбросанным чемоданам, покрывали красными бликами лица возившихся у огня сиделок и тело женщины под грудой одеял.

Когда вошли мужчины, арабка быстро взглянула на них и, коротко хохотнув, снова отвернулась к огню, по-прежнему держа таз худыми смуглыми руками. Хозяйка столовой, увидев их, радостно воскликнула: «Вы уже не нужны, доктор. Все произошло само собой». Она встала, и мужчины увидели на матраце что-то бесформенное и окровавленное, неподвижное, но как бы слабо шевелившееся[a] и издававшее теперь тихий протяжный звук, похожий на глухое поскрипывание, едва уловимое ухом. «Что ж, бывает, — отозвался доктор. — Надеюсь, вы не трогали пуповину?» — «Нет, — смеясь ответила женщина. — Надо же было хоть что-нибудь вам оставить». Она отошла, уступив место доктору, который снова заслонил новорожденного от Кормери, остановившегося на пороге с картузом в руке. Доктор присел на корточки, открыл свой чемоданчик, взял из рук второй женщины таз, и та сразу же отошла от освещенного места, скрывшись в темном углу за камином. По-прежнему стоя спиной к двери, доктор вымыл руки, потом полил их спиртом, слегка отдававшим виноградной водкой, и спиртной дух тут же наполнил комнату. В этот миг роженица подняла голову и увидела мужа. Чудесная улыбка преобразила ее красивое измученное лицо. Кормери подошел к матрацу. «Он уже здесь», — выдохнула она и протянула руку к ребенку. «Да, да, — сказал доктор. — Лежите спокойно». Женщина вопросительно посмотрела на него. Кормери, стоявший в ногах, успокоил ее знаком: «Лежи». Она откинулась на подушку. Дождь с новой силой застучал по старой черепичной крыше. Доктор возился под одеялом. Потом он выпрямился и встряхнул что-то перед собой. Раздался слабый крик. «Мальчик, — сказал врач. — К тому же красавчик». «Он хорошо начал, — сказала хозяйка столовой. — С новоселья». Арабка в углу засмеялась и захлопала в ладоши. Кормери посмотрел на нее, и она смущенно отвернулась. «Хорошо, — сказал доктор. — А теперь оставьте нас ненадолго одних». Кормери взглянул на жену. Лицо ее по-прежнему было запрокинуто. Только руки, спокойно лежавшие поверх грубого одеяла, еще напоминали об улыбке, которая только что наполнила и преобразила убогую комнату. Он надел картуз и направился к двери. «Как вы его на-

[1] **Противоречит** стр 8: «прижавшись к ней, спал четырехлетний мальчик».
[a] **как некоторые клетки** под микроскопом.

зовете?» — крикнула хозяйка столовой. «Еще не знаю, мы об этом не думали. — Он посмотрел на ребенка. — Мы назовем его Жак, в вашу честь, потому что вы были рядом». Она залилась смехом, и Кормери вышел. Под виноградом по-прежнему стоял араб, накрывшись мешком. Он посмотрел на Кормери, но тот ничего не сказал. «Держи», — сказал араб, протягивая ему кончик мешка. Кормери накрылся. Он чувствовал прикосновение плеча старого араба, запах дыма, шедший от его одежды, и дробное постукивание капель над их головами. «Мальчик», — сказал он, не глядя на араба. «Слава небу, — отозвался тот. — Ты большой человек». Вода, скопившаяся где-то за тысячи километров и пришедшая из такой дали, выливалась перед ними на шлак, усеянный множеством лужиц, и на темные виноградники, где по-прежнему мерцали отблески мокрой проволоки. Она уже не дойдет до моря на востоке и будет теперь заливать здешний край, болотистую пойму реки и окрестные горы — всю эту огромную, почти безлюдную землю, чей острый запах достигал ноздрей обоих мужчин, стоявших вплотную друг к другу под одним мешком, в то время как за их спиной то затихал, то вновь раздавался слабый крик.

Поздно ночью, лежа в майке и кальсонах на втором матраце подле жены, Кормери смотрел, как пляшут на потолке блики огня. Комната была прибрана. По другую сторону от жены, в бельевой корзине лежал ребенок, совсем тихо, лишь время от времени издавая слабое бульканье. Жена тоже спала, повернувшись к нему лицом и чуть приоткрыв рот. Дождь перестал. Завтра надо будет приниматься за работу. Загрубелая, почти шершавая рука жены, лежавшая рядом с ним, тоже напоминала ему о работе. Он протянул руку, тихонько положил ее на ладонь жены и, откинувшись на подушку, закрыл глаза.

2

Сен-Бриё

[a] Сорок лет спустя в коридоре поезда, шедшего в Сен-Бриё, стоял мужчина и скептическим взглядом смотрел, как под бледным солнцем весеннего дня проплывает мимо плоская тесная низина, усеянная деревнями и уродливыми постройками на всем пути от Парижа до Ла-Манша. Луга и поля, которые возделываются веками до последнего квадратного метра, сменяли друг друга. В плаще, без шляпы, коротко стриженный, с тонким удлиненным лицом и прямым взглядом голубых глаз пассажир был хорошо сложен и, несмотря на свои сорок лет, выглядел худощавым. Ворот его плаща был распахнут, сильные руки спокойно лежали на поручне, он стоял, непринужденно выставив вперед ногу, и казался уверенным и энергичным. Поезд замедлил ход и остановился на маленькой невзрачной станции. Молодая женщина, довольно элегантная, прошла по перрону мимо окна, где стоял мужчина. Она остановилась, чтобы переложить чемодан в другую руку, и в этот миг заметила его. Он смотрел на нее улыбаясь, и она, не удержавшись, улыбнулась в ответ. Мужчина опустил стекло, но поезд уже тронулся. «Жаль», — сказал он. Женщина все еще улыбалась.

Пассажир вернулся в купе третьего класса и сел на свое место у окна. Напротив него мужчина с редкими, прилизанными волосами, явно моложе, чем можно было предположить по одутловатому, в красных прожилках лицу, сидел согнувшись, с закрытыми глазами и шумно дышал, определенно страдая от трудностей пищеварения; время от времени он бросал быстрые* взгляды на своего визави. Рядом с ним принаряженная крестьянка в причудливой шляпе, украшенной восковой виноградной гроздью, вытирала нос рыжему ребенку с тусклым, бесцветным лицом. Улыбка исчезла с лица путешественника. Он достал из кармана журнал и начал рассеянно читать статью, вызывавшую у него зевоту.

Через некоторое время поезд остановился, и небольшая табличка с надписью «Сен-Бриё» медленно вписалась в проем окна. Пассажир встал, легко снял с багажной сетки чемодан, попрощался с попутчиками, ответившими ему с удивлением, и, быстро выйдя из купе, спустился по трем вагонным ступенькам на перрон. Там он посмотрел на измазанную сажей ладонь, которой брался за медную ручку вагона,

---

[a] С самого начала показать в Жаке чудовище.

* тусклые.

вынул платок и тщательно вытер руку. Потом направился к выходу вместе с толпой постепенно нагнавших его пассажиров, одетых во все темное, с одинаковым землистым цветом лица. Он терпеливо встал в очередь под навесом с маленькими колоннами, отдал свой билет, потом подождал, пока молчаливый дежурный его вернет, прошел через зал ожидания, где единственным украшением грязных голых стен были старые плакаты, на которых даже Лазурный берег окрасился в угольные тона, и в косых предвечерних лучах солнца быстро зашагал по улице к центру города.

В гостинице он спросил забронированный заранее номер, отказался от услуг горничной с похожим на картофелину лицом, которая хотела поднести ему чемодан, но, когда она привела его в номер, дал ей чаевые, вызвавшие на ее лице подобие симпатии. Потом он вымыл руки и тем же быстрым шагом снова спустился вниз, не заперев дверь на ключ. В холле он увидел горничную, спросил у нее, как пройти к кладбищу, получил многословные объяснения, любезно выслушал их и пошел в указанном направлении. Он шел по унылым улицам с однообразными скучными домами, крытыми уродливой красной черепицей. Лишь иногда старые дома с выступающими наружными балками радовали глаз покосившейся шиферной крышей. Редкие прохожие даже на миг не задерживались перед витринами, заполненными посудой, шедеврами из пластика и нейлона и чудовищной керамикой, какую можно встретить в любом городе современного Запада. Только в продуктовых лавках царило изобилие. Кладбище было обнесено высокими неприветливыми стенами. Неподалеку от ворот расположились жалкие цветочные лотки и мастерские по изготовлению надгробий. У двери одной из них приезжий остановился, засмотревшись на мальчика с живым смышленым личиком, который делал уроки на могильной плите, еще не имевшей надписи. Он вошел в ворота и свернул к домику сторожа. Сторожа не было. Он подождал в тесной, плохо обставленной конторе, потом обнаружил план кладбища и принялся его изучать, тут как раз пришел сторож. Это был высокий жилистый человек с крупным носом, пропахший потом в своей наглухо застегнутой куртке. Приезжий спросил, здесь ли похоронены жертвы первой мировой войны. «Да, — ответил сторож, — этот участок называется «Память Франции». Как фамилия покойника?» «Анри Кормери», — ответил посетитель.

Сторож раскрыл большую книгу, обернутую в упаковочную бумагу, и провел коричневатым пальцем по списку фамилий. Палец остановился. «Анри Кормери, — прочел сторож. — Смертельно ранен в битве на Марне, скончался в Сен-Бриё 11 октября 1914 года». «Это он», — сказал посетитель. Сторож закрыл книгу. «Пойдемте», — сказал он. И провел его к первым рядам могил — одни были скромные, другие претенциозные и уродливые, разукрашенные мраморными завитушками и блестящей мишурой, способной обезобразить все что угодно. «Родственник?» — рассеянно спросил сторож. «Отец». «Тяжело», — посочувствовал тот. «Да нет, мне и года не было, когда он погиб. Так что сами понимаете». «Да, — сказал сторож, — и все равно. Слишком много было убитых». Жак Кормери не ответил. Конечно, убитых было слишком много, но что касается отца, то Жак не мог внушить себе скорбь, которой не чувствовал. Все эти долгие годы, что он жил во Франции, он собирался сделать то, о чем мать, оставшаяся в Алжире, так давно просила его: съездить на могилу отца, на которой она сама никогда не была. Он не видел никакого смысла в этой поездке, во-первых, для самого себя, ибо не помнил отца, почти ничего не знал о нем и терпеть не мог делать что-либо ради соблюдения условностей, а во-вторых, для матери, которая никогда не говорила об отце и все равно не сумела бы представить себе по рассказам сына, как это кладбище в действительности выглядит. Но поскольку его старый наставник, выйдя на пенсию, поселился в Сен-Бриё и можно было заодно с ним повидаться, он все-таки решился наконец взглянуть на могилу этого незнакомого покойника и даже постарался сделать это сразу по приезде, чтобы отправиться к старому другу уже совершенно свободным. «Это здесь», — сказал сторож. Они подошли к квадратному участку, окруженному низкими столбиками из серого камня, на которых крепилась тяжелая черная цепь. Множество одинаковых надгробий, представлявших собой простые прямоугольные плиты с именами и датами, располагалось на равном расстоянии друг от друга, за рядом ряд. На каждом лежал букетик свежих цветов. «Память Франции» вот уже сорок лет следит за содержанием участка, — сказал сторож. — Смотрите, вот его могила». Он указал на одну из плит в первом ряду. Жак Кормери остановился в нескольких шагах. «Оставляю вас», — сказал сторож. Кормери подошел к плите и рассеянно посмотрел на нее. Да, это была его собственная фамилия. Он взглянул вверх. В побледневшем небе медленно проплывали маленькие серовато-белые облачка, и легкий свет то пробивался сквозь них, то оказывался чуть зате-

ненным. Вокруг на огромном кладбище царила тишина. Через высокие стены едва доносился приглушенный городской гул. Изредка вдалеке между могилами мелькал черный силуэт. Глядя на медленное движение облаков, Жак Кормери силился различить сквозь аромат влажных цветов слабый соленый запах, долетавший сюда с далекого неподвижного моря. Где-то вдруг звякнуло о камень ведро, выведя его из задумчивости. Он опустил глаза и прочел на надгробной плите дату рождения отца, которой, как он внезапно понял, никогда и не знал. Потом прочел обе даты вместе — «1885 — 1914» — и машинально подсчитал: двадцать девять лет. Неожиданно его поразила мысль, всколыхнувшая все его существо. Ему сейчас сорок. Человек, который лежал под этой плитой и приходился ему отцом, был моложе его[а]

И волна нежности и жалости затопила вдруг его сердце, но это было не то чувство, какое вызывает в сыне воспоминание о погибшем отце, а острое сострадание, которое зрелый человек испытывает к безвинно убитому ребенку. Что-то тут не укладывалось в естественный порядок, да и не было его, этого порядка, там, где сын оказывался старше отца, а было лишь безумие и хаос. Последовательное течение времени разбилось об него, Жака Кормери, неподвижно стоявшего между могил, которых он больше не замечал, и годы, смешавшись, вырвались из русла той великой реки, что вечно течет к своему концу. Они сталкивались, с бурлением и грохотом, в гигантском водовороте, где Жак Кормери барахтался сейчас, борясь со смятением и жалостью[б]. Он смотрел на другие надгробия, на даты, и видел, что эта земля усеяна мертвыми детьми, которые были отцами седеющих людей, сегодня считавших себя живыми. Ведь и он считал, что живет, он сделал себя сам, он сознавал свою силу, выдержку, умел бороться и владеть собой. Но сейчас, в охватившем его странном головокружении, он чувствовал, что та статуя, которую каждый человек постепенно лепит и обжигает в пламени лет, чтобы в итоге слиться с ней и, укрывшись внутри, ждать окончательного распада, стремительно трескается, разваливается на глазах. От всего, что он собой представлял, осталось теперь лишь пронизанное тревогой сердце, страстно любящее жизнь и бунтующее вот уже сорок лет против устройства мира, где правит закон смерти, сердце, которое всегда жаждало преодолеть стену, отделявшую его от тайны жизни, преодолеть и очутиться по ту сторону и узнать, узнать, прежде чем придет смерть, узнать наконец, чтобы *быть*, хоть однажды, хоть на один-единственный миг, но раз и навсегда.

Он припомнил свою жизнь, безрассудную, мужественную, неверную, упрямую, всегда устремленную к этой цели, о которой он ничего не знал, и, по сути дела, прошедшую без малейшей попытки выяснить, что же представлял собою тот, кто дал ему эту самую жизнь и отправился потом умирать куда-то за море, в неведомую ему землю. А каким сам он был в двадцать девять лет? Беспокойным, уязвимым, напряженным, волевым, чувственным, мечтательным, циничным и упорным. Да, и не только. Он был живым человеком, мужчиной в конце концов, но ни разу не подумал как о живом человеке о своем отце, а только как о незнакомце, промелькнувшем когда-то на земле, где он родился, и лишь знал о нем со слов матери, что он пал смертью храбрых и что он, Жак, на него похож. А между тем тайна, которую он так жадно стремился познать через книги и людей, была, как теперь ему казалось, связана с этим юным покойником, с его младшим отцом, с тем, чем он был и чем стал, с тем, что сам он искал так далеко и что оказалось так близко — и по времени, и по крови. Правда, ему никто никогда не помогал. Семья, где говорили мало, где никто не читал и не писал, мать, страдающая, рассеянная, — кто мог рассказать ему о его бедном молодом отце? Никто его не знал, кроме матери, которая забыла его. Жак был в этом уверен. Он умер незнакомцем на этой земле, где пробыл недолго как чужой. Конечно, именно он, сын, должен был узнавать о нем, расспрашивать. Но тому, кто не имеет ничего и жаждет получить весь земной шар, недостаточно собственных сил, чтобы воспитать себя и покорить или понять мир. В конце концов, еще не поздно, он может еще заняться поисками, попытаться узнать, кто был этот человек, казавшийся ему теперь ближе всех людей на свете. Он может...

День угасал. Шорох юбки поблизости и чей-то силуэт в черном вернули его к зрелищу могил и неба. Пора было уходить, ему больше нечего здесь делать. Но он не мог оторваться от этого имени, от этих дат. Под темным надгробием не было уже ничего, кроме праха и пыли. Но для него отец снова жил, жил странной безмолвной жизнью, и ему казалось, что он опять бросает его, оставляет одного в этой

[а] Переход.
[б] развить тему войны 14 года.

ночи, в этом нескончаемом одиночестве, куда его швырнули и покинули. В пустом небе вдруг что-то оглушительно грохнуло. Невидимый самолет преодолел звуковой барьер. Повернувшись спиной к могиле, Жак Кормери зашагал прочь от отца.

3

Сен-Бриё и Малан (Ж.Г.) [a]

Вечером, за обедом, Ж.К. смотрел, как его старый друг с какой-то тревожной жадностью поглощает вторую порцию баранины; поднявшийся ветер негромко шумел вокруг невысокого домика, расположенного в предместье, неподалеку от дороги к пляжам. Приехав, Ж.К. заметил в пыльной сточной канаве у тротуара кусочки высохших водорослей — только они да запах соли напоминали здесь о близости моря. Виктор Малан, проработавший всю жизнь в таможенном управлении, вышел в отставку и остался жить в этом городке, которого он не выбирал, однако впоследствии оправдывал это как выбор, говоря, что здесь ничто не отвлекает его от одиноких раздумий — ни чрезмерная красота, ни чрезмерное безобразие, ни даже само одиночество. Управление делами и руководство людьми открыли ему многое, и прежде всего, видимо, то, что мы почти ничего не знаем. При этом он обладал огромной эрудицией, и Ж.К. безмерно восхищался им, ибо Малан в эпоху, когда люди незаурядные так скучны, был единственным человеком, способным мыслить независимо, насколько это вообще возможно, — во всяком случае, при внешней уступчивости обладал такой свободой суждения, что она граничила с самой неподдельной оригинальностью.

— Конечно, мой мальчик, — говорил Малан. — Раз уж вы едете к матери, постарайтесь что-нибудь разузнать об отце. А потом бегом ко мне — рассказать, что из этого вышло. Так редко представляется случай посмеяться.

— Да, это смешно. Но, коль скоро во мне пробудилось любопытство, я могу хоть попробовать собрать какие-то крохи. В том, что я никогда этим не интересовался, есть что-то противоестественное.

— Вовсе нет, это мудро. Я тридцать лет был женат на Марте, хорошо вам знакомой. Замечательная была женщина, мне до сих пор ее не хватает. Я всегда считал, что она любит свой дом [1].

— Все это, бесспорно, так, — сказал Малан, отводя глаза, и Кормери знал, что за одобрением неминуемо последует возражение.

— И все-таки, — продолжал Малан, — это было бы, вероятно, неправильно, но я поостерегся бы пытаться узнать больше, чем жизнь сама открыла мне. Однако я в этом смысле плохой пример для подражания, не так ли? В сущности, я не стал бы ничего предпринимать исключительно по причине своих недостатков. Зато вы (во взгляде его блеснуло лукавство), вы человек действия.

У Малана было что-то от китайца — чуть приплюснутый нос, лунообразное лицо с отсутствующими или почти отсутствующими бровями, вечный берет и большие усы, недостаточно, однако, густые, чтобы скрыть мясистый чувственный рот. Да и весь он, круглый, холеный, с пухлыми руками и короткими пальцами, напоминал мандарина, признающего передвижение только в паланкине. Когда он, не переставая с аппетитом есть, прикрывал глаза, воображение настойчиво рисовало его в шелковом халате, с палочками в руках. Но взгляд менял все. Темно-карие глаза, лихорадочные, беспокойные или устремленные вдруг в одну точку, как будто ум его быстро работал над какой-то конкретной мыслью, были глазами человека западного, остро чувствующего и обладающего высокой культурой.

Старая служанка принесла сыры, и Малан искоса поглядывал на них.

— Я знал одного человека, — сказал он, — который, прожив тридцать лет со своей женой...

Кормери стал слушать внимательнее. Когда Малан начинал со слов «я знал одного человека», или «у меня был друг», или «один англичанин, с которым я познакомился в поезде», можно было не сомневаться, что он говорит о себе.

---

[a] Глава, которую надо написать и выкинуть.

[1] Все эти три абзаца перечеркнуты.

— Этот человек не любил сладостей, и жена его их тоже не ела. И вот однажды, после двадцати лет совместной жизни, он застал свою жену в кондитерской и вдруг понял, глядя на нее, что она приходит сюда несколько раз в неделю и лакомится кофейными эклерами. Да, да, он считал, что она не любит сладкого, а на самом деле она обожала кофейные эклеры.

— Выходит, — сказал Кормери, — мы никого по-настоящему не знаем.

— Если угодно. Но, наверное, точнее было бы выразиться иначе — во всяком случае, я предпочел бы так не обобщать, можете списать это на мою неспособность что-либо утверждать наверняка, — да, я бы только сказал, что если двадцати лет совместной жизни недостаточно, чтобы узнать кого-то как следует, то, пускаясь в разыскания через сорок лет после смерти человека, вы рискуете получить сведения неизбежно поверхностные и весьма ограниченные, да, в каком-то смысле можно сказать ограниченные. Хотя, с другой стороны...

Он занес руку с ножом и жестом фаталиста вонзил его в козий сыр.

— Простите. Хотите сыру? Нет? Вы, как всегда, себя не балуете! Тяжелое искусство — нравиться!

Глаза его снова лукаво блеснули сквозь полуприкрытые веки. Кормери знал своего друга уже двадцать лет (объяснить здесь, как и почему) и добродушно воспринимал его колкости.

— Дело вовсе не в том, чтобы нравиться. От переедания я чувствую себя отяжелевшим. Иду ко дну.

— Да, и уже не можете парить над остальными.

Кормери посмотрел на красивую мебель в деревенском стиле, которой была обставлена низкая столовая с побеленными известью балками.

— Друг мой, — сказал он, — вы всегда считали меня гордецом. Я и есть гордец. Но не всегда и не со всеми. С вами, например, я не могу быть гордым.

Малан отвел взгляд, что было у него признаком волнения.

— Я знаю, — сказал он, — но почему?

— Потому что я вас люблю, — спокойно ответил Кормери.

Малан придвинул к себе вазу с охлажденными фруктами и ничего не ответил.

— Потому что, — продолжал Кормери, — когда я был очень молод, очень глуп и очень одинок (помните, тогда, в Алжире?), вы приняли во мне участие и открыли для меня, как бы походя, пути ко всему, что я люблю в этом мире.

— О! Вы способный человек.

— Да, конечно. Но и самые способные нуждаются в наставнике. И тот, которого жизнь в один прекрасный день посылает вам, должен быть всегда любим и почитаем, даже если это и не его заслуга. Таково мое убеждение!

— Да, да, — сказал Малан с хитроватым видом.

— Вы его не вполне разделяете, я знаю. Но не думайте, что моя привязанность к вам безоговорочна. У вас есть крупные, даже очень крупные недостатки. Во всяком случае, в моих глазах.

Малан облизал толстые губы, и в его взгляде вдруг появился интерес.

— Какие же?

— Ну, например, вы, скажем так, бережливы. Не от природной жадности, впрочем, а от панического страха, страха перед нуждой и так далее. Тем не менее это недостаток серьезный, который я в принципе в людях не люблю. Но главное, вы всегда непроизвольно подозреваете у всех какую-то заднюю мысль. Вы инстинктивно не верите в бескорыстные побуждения.

— Согласитесь, — сказал Малан, допивая вино, — что мне не следовало бы пить кофе. Однако...

Но Кормери не терял спокойствия[a].

— К примеру, вы наверняка не поверите мне, если я скажу, что готов немедленно отдать вам все, что имею, стоит вам только попросить.

На сей раз Малан, поколебавшись, все-таки взглянул на своего друга.

— О, я знаю. Вы человек щедрый.

— Нет, я вовсе не щедрый. Я скуп на свое время, силы, энергию и сам себя за это ненавижу. Но то, что я сейчас сказал, правда. Вы мне не верите, в этом-то и заключаются ваш недостаток и самая настоящая ущербность, хотя вы человек не-

[a] Я часто даю взаймы деньги, зная, что не получу их назад, совершенно безразличным мне людям. Но я делаю это потому, что не умею отказывать, хотя меня самого это бесит.

заурядный. Потому что вы заблуждаетесь. По первому же вашему слову все мое имущество в ту же минуту будет вашим. Вам это не нужно, это просто пример. Но пример, взятый не случайно. Все, чем я владею, действительно принадлежит вам.

— Спасибо, право, — сказал Малан, не поднимая полуприкрытых век. — Я очень тронут.

— Ладно, я смутил вас. Вам не по душе, когда говорят слишком прямо. Я просто хотел сказать, что люблю вас при всех ваших изъянах. Я люблю и чту очень немногих. К остальным я постыдно равнодушен. Но уж если я кого-то люблю, то ни я, ни тем более они сами не в силах этого изменить. Я понял это поздно, но зато теперь знаю. А сейчас продолжим наш разговор. Вы не одобряете моего намерения выяснить что-нибудь об отце?

— Не совсем так, я вполне одобряю, только боюсь, что вас ждет разочарование. Мой друг, который был сильно влюблен в одну девушку и хотел на ней жениться, имел глупость навести о ней справки.

— Обыватель, — сказал Кормери.

— Да, — согласился Малан. — Это был я.

Оба рассмеялись.

— Я был молод. Я собрал столь противоречивые мнения, что это поколебало мое собственное. Я уже не знал, люблю я ее или нет. Короче, я женился на другой.

— Но я же не могу выбрать себе другого отца.

— Не можете. К счастью. Одного вполне достаточно, знаю по опыту.

— Ладно, — сказал Кормери. — Я все равно должен ехать к матери через пару недель. Вот и воспользуюсь случаем. Я заговорил об этом главным образом потому, что меня сегодня потрясла эта разница в возрасте в мою пользу. Да, в мою пользу.

— Я понимаю.

Он посмотрел на Малана.

— Утешайте себя тем, что ему не пришлось стареть. Его миновала эта медленная пытка.

— Вместе с изрядным количеством радостей.

— Да. Вы любите жизнь. Да и как иначе, вы ведь только в нее и верите.

Малан тяжело опустился в глубокое кресло, обитое кретоном, и лицо его вдруг приобрело выражение бесконечной грусти.

— Что ж, вы правы. Я сам любил ее и сейчас люблю все с той же ненасытностью. И вместе с тем она кажется мне ужасной и непостижимой. Вот поэтому я и верю, от скепсиса. Да, я хочу верить и хочу жить вечно.

Кормери молчал.

— В шестьдесят пять лет каждый год — это отсрочка. Я хотел бы умереть спокойно, а умирать так страшно. Я ничего не сделал.

— Есть люди, которые служат оправданием этому миру, помогают жить одним своим присутствием.

— Да, но и они умирают.

Они замолчали, ветер за окном зашумел сильнее.

— Вы правы, Жак, — сказал Малан. — Поезжайте и узнайте все, что сможете. Вам больше не нужен отец. Вы сами себя воспитали. Теперь вы можете любить его так, как вы умеете любить. Но... — сказал он и запнулся, — приезжайте навещать меня. Мне уже не так много осталось. И простите меня...

— Простить? — сказал Кормери. — Я обязан вам всем.

— Да ничем вы мне особенно не обязаны. Простите меня за то, что я не всегда умел ответить на вашу преданность...

Малан смотрел на тяжелую, под старину, люстру, висевшую над столом, и голос его стал глуше, когда он произносил слова, которые еще долго потом, пока Кормери шагал на ветру по пустынному предместью, звучали у него в ушах:

— У меня внутри ужасная пустота, какое-то безразличие ко всему, которое меня убивает...[a]

---

[a] Жак [Я пытался с детства, еще совсем ребенком, разобраться сам, что хорошо, а что дурно, ибо никто из окружающих не мог мне этого объяснить. А теперь я чувствую, что мне не на что опереться, что мне необходим кто-то, кто указывал бы мне путь, хвалил или порицал меня, но не по праву власти, а по праву своего авторитета, мне нужен отец.
Я думал, что знаю и могу сам направлять себя, но я все еще не [знаю?].

4

Детские игры

Легкая невысокая зыбь качала корабль, накаленный июльской жарой. Жак Кормери лежал полуголый в своей каюте и смотрел, как на медных краях иллюминатора пляшут зайчики от раскатившегося по морю солнца. Он вскочил и выключил вентилятор, от которого пот высыхал в порах, не успев освежить тело — уж лучше было нормально потеть,— и снова лег на койку, жесткую и узкую, как он любил. Сразу же стал слышен рокот машин, доносившийся из недр корабля глухими толчками, словно огромная армия то начинала маршировать, то останавливалась, и так без конца. Любил он и шум больших теплоходов, не прекращавшийся ни днем, ни ночью, и это ощущение, словно ходишь по вулкану, когда вокруг расстилается море, открывая глазу беспредельный простор. Но на палубе было сейчас слишком жарко; после обеда пассажиры, одуревшие от еды, повалились в шезлонги под тентами или укрылись в каюты на время сиесты. Жак не любил спать днем. «A benidor», — вспомнил он с незабытой детской обидой. Это были загадочные слова его бабки, когда он был маленький, в Алжире, и она заставляла его вместе с ней ложиться днем спать. Три комнаты маленькой квартирки на окраине Алжира были погружены в полумрак, исчерченный узкими полосками света, пробивавшегося сквозь закрытые ставни[а]. Снаружи сухие пыльные улицы плавились под солнцем, а в сумраке комнат без устали метались в поисках выхода две или три упрямые жирные мухи, гудя, как пропеллер. Было слишком жарко, чтобы бежать на улицу к друзьям, которых тоже насильно держали дома. Слишком жарко, чтобы читать «Пардайяна» или «Неустрашимого»[б]. Если бабушки не оказывалось дома, что случалось крайне редко, или она болтала с соседкой, он смотрел на улицу, прильнув лбом к ставням в столовой. Мостовая была пустынна. В галантерее и в обувном магазине напротив были опущены красные и желтые полотняные шторы, вход в табачную лавку скрывала занавеска из блестящих разноцветных висюлек, а у Жана, хозяина кафе, в зале не было ни души, если не считать кошки, которая лежала, растянувшись между усыпанными опилками полом и пыльным тротуаром, и спала как мертвая.

Мальчик отворачивался и смотрел на комнату, голую и почти пустую: посредине стоял квадратный стол, вдоль побеленных известью стен — буфет, маленький письменный столик, весь в царапинах и чернильных пятнах, небольшой покрытый одеялом матрац прямо на полу, где ночью спал полунемой брат матери, и пять стульев[в]. В углу, на камине, у которого только доска была мраморной, белела вазочка с цветочным орнаментом по узкому горлу, из тех, что продаются на любой ярмарке. Мальчик, зажатый между двумя пустынями солнца и сумрака, принимался безостановочно бегать вокруг стола, бормоча, словно заклинание: «Мне скучно! Мне скучно! Мне скучно!» Ему и в самом деле было скучно, но все же в этом была игра, удовольствие, своего рода упоение этой скукой, и он приходил в отчаяние, услышав «A benidor» вернувшейся наконец бабушки. Но никакие протесты не помогали. Бабушка, вырастившая девятерых детей в глухой алжирской деревне, имела свои твердые представления о воспитании. Она мгновенно заталкивала его в спальню. Это была одна из двух комнат, выходивших во двор. В другой стояли две кровати: на одной спала мать, на другой — они с братом. Бабушка располагала одна целой комнатой. Но она часто брала его на ночь и каждый день на сиесту в свою огромную и высокую деревянную кровать. Он сбрасывал сандалии и забирался к стенке. Ему не разрешалось лежать с краю с тех пор, как однажды, пока бабушка спала, он сполз с кровати и снова принялся за беготню вокруг стола, бубня свое заклинание. Устроившись в постели, он смотрел, как бабушка снимает платье и развязывает ленточку, которой была стянута у ворота голубая полотняная рубашка. Потом она тоже ложилась, и мальчик, вдыхая запах стареющего тела, глядел на большие синие вены и пигментные пятна, уродовавшие бабушкины ноги. «Ну вот, — говорила она — A benidor» — и быстро засыпала, а он, лежа с открытыми глазами, следил за полетом неутомимых мух.

[а] Лет в девять- десять.

[б] Толстые книги на газетной бумаге с грубо размалеванными обложками, на которых цена была напечатана крупнее, чем название и фамилия автора.

[в] Безукоризненная чистота. Шкаф, деревянный туалетный столик с мраморной столешницей. Перед кроватью коврик с переплетающимся узором, потертый, грязный, истрепавшийся по краям. И большой сундук в углу, покрытый старым арабским ковром с кистями и шишечками.

Да, он ненавидел это на протяжении многих лет и даже потом, став взрослым, пока однажды серьезно не заболел, не мог заставить себя прилечь после обеда в жаркие полуденные часы. И если ему все же случалось днем заснуть, то, проснувшись, он чувствовал себя скверно и его мутило. Только в последнее время, с тех пор как он начал страдать бессонницей, он научился засыпать иногда на полчаса среди дня и просыпаться бодрым и освеженным. «A benidor»...

Ветер стих, побежденный солнцем. Корабль больше не болтало, он шел, судя по всему, прямо, машины работали в полную силу, винт отвесно буравил водную глубь, и шум поршней стал настолько равномерным, что сливался теперь с неумолкающим рокотом пронизанного солнцем моря. Жак дремал, но сердце его щемило от какой-то счастливой тревоги при мысли, что он снова увидит Алжир и бедный маленький дом на окраине. Так бывало всегда, когда он уезжал из Парижа в Африку. Он чувствовал легкость, в нем нарастало глухое ликование, внутреннее торжество, которое испытывает человек, совершивший удачный побег и веселящийся при мысли о том, какую рожу скорчат тюремщики. И точно так же всякий раз, когда он возвращался обратно в Париж, будь то на автомобиле или поездом, на сердце ложилась тяжесть при виде первых пригородов. Они возникали всегда неожиданно, на голом месте, без полосы деревьев или воды, которые обозначили бы границу, словно зловещая раковая опухоль с метастазами уродства и нищеты, постепенно засасывающая инородное тело, чтобы перенести его в центр города, и там, среди окружающего великолепия, он забывал порой про железобетонный лес, державший его в плену день и ночь и не дававший покоя во время бессонницы. Но сейчас он вырвался, он дышал, покоясь на широкой спине моря, дышал волнами под плавно качающимся солнцем, он мог наконец уснуть и вернуться к детству, от которого так никогда и не излечился, к этой тайне света и согревающей бедности, которые помогали ему жить и все превозмогать. Преломленный луч, теперь почти неподвижный на меди иллюминатора, исходил от того же самого солнца, что когда-то обрушивалось всей своей тяжестью на поверхность ставен и вонзало в полумрак комнаты, где спала бабушка, один-единственный тончайший клинок сквозь просвет в ставнях, образовавшийся на месте выпавшего сучка. Не хватало только мух, не они гудели сейчас, пронизывая мерным жужжанием его дремоту, на море мух не бывает, да и не было уже на свете тех мух, которых мальчик любил, ибо они шумели и были единственными живыми существами в этом усыпленном жарой мире, где все люди и животные неподвижно лежали без сил, кроме него самого, вертевшегося на кровати между стеной и спящей бабушкой, — ему тоже хотелось жить и двигаться и казалось, что время, отданное сну, отнято у жизни и у игры. Друзья уже наверняка ждали его на улице Прево-Парадоль, утопавшей в маленьких садиках: по вечерам там всегда пахло политой зеленью и жимолостью, которая росла везде, независимо от того, поливали ее или нет. Как только бабушка встанет, он понесется вниз по лестнице, промчится по Лионской улице, все еще безлюдной под своими фикусами, добежит до колонки на углу улицы Прево-Парадоль, с налета крутанет массивную чугунную рукоятку и подставит голову под кран, под хлещущую струю, которая зальет ему нос и уши, потечет сквозь распахнутый ворот к животу, польется под короткими штанами по ногам, промочит сандалии. И тогда, с наслаждением ощущая, как хлюпает под пятками вода, он побежит во весь дух дальше, к Пьеру[a] и ко всем остальным — они ждут его, сидя у входа в единственный трехэтажный дом на всей улице и затачивают деревянный брусок, который через несколько минут будет пущен в ход вместе с синей деревянной битой для игры в «канет венга»[1].

Как только собиралась вся компания, они пускались в путь, грохоча битами по ржавым решеткам садов, так что просыпалась вся улица и прыскали в разные стороны кошки, спавшие под пыльными глициниями. Уже изрядно вспотевшие ребята гонялись друг за другом, перебегая то и дело мостовую, но путь их все время лежал в одном направлении — *к зеленому полю*, расположенному в нескольких кварталах оттуда, неподалеку от их школы. По дороге имелась одна обязательная остановка — возле так называемого бассейна, посреди довольно просторной площади: это был огромный, трехъярусный, круглый фонтан, который давно не бил, а бассейн его с безнадежно засоренным водостоком периодически до краев наполнялся дождевой водой от лавиноподобных местных ливней. Вода застаивалась и гнила под слоем грязной пены, арбузных корок, апельсиновой кожуры и прочего мусора, пока не высыхала сама от солнца или городские власти, спохватившись,

[a] Пьер, тоже сын солдатской вдовы, работавшей на почте, был его другом.
[1] См. далее объяснение автора.

не откачивали ее, но сухая, потрескавшаяся, грязная тина долго еще покрывала дно в ожидании, пока солнце, продолжая свою работу, не обратит ее в пыль, чтобы затем ветер или метла дворника взметнули ее на глянцевую листву обступавших площадь фикусов. Летом, во всяком случае, бассейн бывал пуст, и его высокие стенки из темного камня, отполированные сотнями рук и штанов, служили Жаку, Пьеру и всем остальным чем-то вроде гимнастического коня — они елозили по ним на попках и вертелись до тех пор, пока дело не заканчивалось неизбежным падением в неглубокий бассейн, пропахший мочой и солнцем.

Потом, все так же бегом, по жаре и пыли, покрывавшей ровным слоем их ноги и сандалии, они устремлялись к зеленому полю. Это было что-то вроде пустыря за бочарной мастерской, где среди ржавых железных обручей и гниющих доньев от старых бочек пробивались между туфовых плит пучки чахлой травы. Здесь они, громко крича, чертили на туфе круг. Один из них, с битой в руке, вставал в середину, а остальные по очереди бросали в круг брусок, заточенный в виде сигарки. Если сигарка падала на землю внутри окружности, тот, кто бросил ее, сам становился защитником круга. Самые ловкие[а] отбивали сигарку в воздухе и отправляли сильным ударом очень далеко. В этих случаях они имели право подойти к тому месту, куда она упала, и ребром биты ударить ее по заостренному концу: сигарка подлетала высоко вверх, и они били по ней, отсылая еще дальше, и так до бесконечности, пока не промахнешься или другие не перехватят сигарку на лету — тогда надо было скорее бросаться назад и защищать круг от быстрых и точных ударов противника. Этот теннис для бедных с несколько усложненными правилами занимал всю вторую половину дня. Самым ловким был Пьер, более худощавый, чем Жак, меньше его ростом, внешне почти хрупкий и, в противоположность черноволосому Жаку, абсолютный блондин — даже ресницы у него были белесые, отчего взгляд прямых голубых глаз казался беззащитным и удивленным; с виду Пьер был нескладным, но в игре действовал всегда точно и ловко. Жак мог взять неберущийся удар, но мог и промахнуться, когда сигарка сама летела в руки. Из-за некоторых блистательных удач, вызывавших восхищение товарищей, он считал себя лучшим и фанфаронил. На самом же деле Пьер постоянно побеждал его и никогда ни слова не говорил об этом. Но после игры он расправлял плечи, выпрямлялся во весь рост и молча улыбался, слушая других.[б]

Когда погода или настроение были неподходящими для беготни по улицам и пустырям, они собирались в подъезде дома, где жил Жак. Оттуда через черный ход они спускались во двор, окруженный с трех сторон стенами соседних домов. С четвертой был сад, над его оградой нависали ветви большого апельсинового дерева, и, когда оно цвело, запах поднимался над убогими домами, плыл из подъезда на улицу и опускался во двор вдоль каменной лесенки. В этом четырехугольнике одну сторону и половину другой занимало низкое сооружение, построенное буквой «Г». Здесь жил парикмахер-испанец — в его парикмахерскую вход был с улицы, — и сосед-араб с семьей[в], иногда по вечерам его жена поджаривала во дворе кофейные зерна. Вдоль третьей стороны располагались высокие полуразвалившиеся деревянные курятники с проволочными решетками — жильцы этого дома разводили кур. И наконец, с четвертой, по обе стороны лесенки, зияли широкие, черные пасти погребов — это были глухие, сочащиеся сыростью пещеры, вырытые прямо в земле, без всяких внешних стенок или дверей. В них вели три или четыре замшелые земляные ступеньки, и жильцы сваливали туда как попало излишки своего имущества, то есть попросту рухлядь: старые мешки, которые там догнивали, сломанные ящики, дырявые проржавелые тазы — в общем, то, что обычно валяется на пустырях и не нужно даже самым жалким нищим. В одном из этих погребов любили сидеть мальчишки. Жан и Жозеф, сыновья парикмахера-испанца, играли там часто. Это были их владения, собственный сад у порога их лачуги. Жозеф, кругленький и насмешливый, непрерывно улыбался и раздавал все, что имел. Жан, маленький и тощий, вечно подбирал всякие старые гвозди и винтики и был чрезвычайно бережлив в отношении своих шариков и абрикосовых косточек, необходимых для одной из их любимых игр[г]. Невозможно было вообразить два более несхожих характера, чем у этих неразлучных братьев. Вместе с Пьером, Жаком и

[а] ловкий защитник в единственном числе.

[б] Здесь, на зеленом поле, происходили и «сшибки».

[в] Омар — сын этой пары, его отец — дворник.

[г] На три лежащие рядом абрикосовые косточки укладывалась четвертая. Надо было с определенного расстояния разбить эту конструкцию, бросив пятую косточку. Тот, кому это удавалось, забирал все косточки себе. Если он промахивался, то его косточка вместе с остальными четырьмя доставалась следующему игроку, более удачливому.

Максом, пятым членом компании, они забирались в сырой, вонючий погреб. Там они натягивали на ржавые железные брусья рваные мешки, плесневевшие в куче хлама, стряхнув с них предварительно маленьких серых тараканов с членистым панцирем, которых они называли морскими свинками. Под этим тошнотворным навесом, почувствовав себя наконец дома (ни у одного из них не было не то что своей комнаты, но даже отдельной кровати), они разводили маленькие костры, но в этом влажном, спертом воздухе пламя едва тлело, исходя дымом и выкуривая ребят из их логова, так что они в конце концов забрасывали огонь землей. Потом они делили — не без препирательств с маленьким Жаном — мятные карамели, китайские орехи или подсушенный и подсоленный турецкий горох, люпиновые семечки, именуемые «трамуссами», или яркие разноцветные леденцы, которыми торговали арабы у ближайшего кинотеатра с тележки, осаждаемой мухами и состоявшей из обыкновенного ящика на подшипниках. Когда шли дожди, вода пропитывала землю двора и стекала в погреба, регулярно затопляя их, и ребята, восседая на старых ящиках, играли в Робинзонов вдали от чистого неба и морских ветров, счастливые в своем нищенском царстве[а].

Но самыми лучшими* были летние дни, когда под тем или иным предлогом с помощью какого-нибудь великолепного вранья им удавалось отвертеться от сиесты. Тогда они могли проделать пешком — ибо денег на трамвай у них не бывало — долгий путь до ботанического сада: они проходили всю череду желто-серых улиц окраины, потом квартал, где располагались конюшни — огромные сараи, принадлежавшие предприятиям или частным владельцам, которые занимались грузовыми перевозками. Они медленно шли вдоль больших раздвижных ворот и слушали, как внутри топчутся лошади, как они, шлепая губами, с шумом выпускают воздух, как звякает о деревянную кормушку железная цепь, заменявшая им недоуздок, и с наслаждением вдыхали запах навоза, соломы и конского пота, исходивший от этих запретных мест; Жак продолжал грезить о них даже ночью, пока не засыпал. Ребята останавливались перед открытыми воротами какой-нибудь конюшни, где чистили лошадей — больших мохноногих битюгов, вывезенных из Франции и смотревших на них глазами изгнанников, мутными от жары и мух. Потом, выставленные вон конюхами, мальчики бежали к огромному саду, где выращивались самые редкостные растения. На главной аллее, откуда открывалась широкая панорама клумб и водоемов, тянувшихся до самого моря, они под подозрительными взглядами смотрителей напускали на себя равнодушный вид цивилизованных посетителей. Однако, свернув на первую же поперечную дорожку, они бросались бежать со всех ног между двумя сплошными стенами мангровых зарослей, таких густых, что под ними было почти темно. Они бежали в восточную часть парка, к высоким каучуковым деревьям[б], у которых невозможно было отличить опущенные ветви от тянувшихся к земле воздушных корней, и, минуя их, мчались дальше, к истинной цели их путешествия — большим кокосовым пальмам, увенчанным плотными гроздьями маленьких оранжевых плодов, они называли их «кокозами». Прибыв на место, надо было прежде всего произвести разведку, дабы убедиться, что поблизости нет никого из смотрителей. Потом запастись боеприпасами, то бишь камнями. Когда все наконец возвращались с полными карманами камней, каждый по очереди стрелял по гроздьям, тихонько покачивавшимся в небе над всеми прочими деревьями. При каждом удачном броске несколько орехов падали на землю и становились собственностью стрелка. Остальные, прежде чем стрелять, должны были подождать, пока он соберет свои трофеи. В этой игре Жак, отличавшийся меткостью, не уступал Пьеру. Но оба они делились добычей с менее удачливыми товарищами. Чаще всего мазал Макс, он плохо видел и ходил в очках. Коренастый и плотный, он пользовался, однако, уважением товарищей с того дня, когда они увидели, как он дерется. В бесчисленных уличных драках все они, и особенно Жак, не владевший собой в минуты ярости и ожесточения, привыкли тут же набрасываться на противника, чтобы поколотить его сразу и побольнее, рискуя при этом крепко получить сдачи, Макс же, в отличие от них, когда толстый сын мясника, имевший кличку Шницель, обозвал его «поганым бошем» за имя, звучавшее на немецкий лад, спокойно снял очки, отдал их Жозефу, встал в стойку, как боксеры на газетных снимках, и предложил обидчику повторить сказанное. После чего, оставаясь внешне невозмутимым и спокойно уклоняясь от наскоков Шницеля, несколько раз подряд ударил его, не получив ни одного удара сам, и в конце концов

[а] Галуфа.

* великими.

[б] дать названия деревьев.

сумел — покрыв себя высшей славой — поставить ему под глазом фонарь. С тех пор авторитет Макса в их маленькой компании был непоколебим. Потом они бежали к морю с липкими от кокосов карманами и руками и, едва оказавшись за пределами сада, выкладывали свою добычу на грязные носовые платки и с наслаждением жевали волокнистую мякоть, тошнотворно жирную и приторную, но легкую и сладостную, как победа. Затем они устремлялись к пляжу.

Для этого надо было пересечь дорогу, прозванную овечьей, потому что по ней гоняли овец на рынок в Мезон-Карре, восточный пригород Алжира. Но на самом деле это был просто рокадный путь между морем и полукружием города, раскинувшегося амфитеатром на прибрежных холмах. Между дорогой и морем тянулись фабрики, кирпичные заводики и большой газовый завод, их разделяли участки песка, покрытого глиняными плитками или известковой пылью, где белели какие-то доски и железки. Миновав эту унылую песчаную равнину, вы оказывались на пляже Саблет. Песок здесь был темный, и волны у берега не всегда прозрачные. Справа общественная купальня предлагала посетителям свои кабинки, а по праздникам и свой зал — большой деревянный сарай на сваях — для танцев. Каждый день, в сезон, торговец хрустящей картошкой топил здесь свою железную печку. В большинстве случаев у ребят не набиралось денег даже на один кулек. Если же вдруг у кого-то из них чудом оказывалась искомая монетка[a], он покупал кулек картошки, важно шествовал к пляжу в сопровождении свиты почтительных товарищей и у самого моря в тени старой сломанной лодки, утопая ногами в песке, плюхался на попку, одной рукой держа кулек в вертикальном положении, а другой прикрывая его сверху, чтобы сберечь все до единого драгоценные хлопья. По установившемуся правилу он угощал каждого одним ломтиком, и они благоговейно вкушали свою порцию лакомства, горячего и благоухающего пахучим маслом. Потом все они смотрели, как счастливчик торжественно, по одной смакует оставшиеся картошинки. На дне пакета всегда еще были крошки. Друзья молили пресыщенного баловня судьбы поделиться ими. И почти всегда, если только это был не Жан, он разворачивал промасленную бумагу и позволял каждому по очереди взять по одному обломку. Требовалось лишь бросить жребий, кто будет первым и выберет самый крупный. Наконец пиршество заканчивалось, наслаждение и досада мгновенно забывались, и они под палящим солнцем мчались дальше, в западный конец пляжа, к полуразрушенному кирпичному фундаменту, видимо служившему некогда основанием для какой-то снесенной деревянной постройки, — там они раздевались. Через несколько секунд они уже были голые, а еще через миг — в воде и плыли сильными неуклюжими саженками, что-то крича[6], захлебываясь и отплевываясь, соревнуясь, кто глубже нырнет или дольше пробудет под водой. Море было теплым, спокойным, солнце уже не так пекло их мокрые головы, и празднество света наполняло детские тела ликованием, от которого они вопили без умолку. Они царили над жизнью и морем, все самые роскошные дары мира принадлежали им, они пользовались ими безоглядно, как владетельные принцы, уверенные в своем богатстве, неисчерпаемом и бесценном.

Забыв о времени, они с разбегу бросались в море, сушились на берегу после соленой воды, от которой кожа делалась клейкой, а потом смывали в море серый песок, облипавший их с ног до головы. Они носились взад и вперед, а стрижи, испуская короткие крики, уже летали все ниже и ниже над фабриками и пляжем. Небо, освобожденное от дневного жара, становилось прозрачнее и приобретало незаметно зеленоватый оттенок, свет смягчался, и по ту сторону залива дуга городских домов, недавно тонувших в мареве, проступала все отчетливее. Было еще светло, но кое-где уже зажигались огни, возвещая приближение коротких африканских сумерек. Обычно Пьер первым подавал сигнал: «Уже поздно», и начиналась паника, все разом бросались бежать, прощаясь уже на ходу. Жак с Жозефом и Жаном неслись к себе, забыв об остальных. Они мчались по улицам не переводя дыхания. Мать Жозефа была скора на руку. А бабушка Жака... Они бежали в стремительно сгущавшихся сумерках, обезумев от вида первых фонарей и освещенных трамваев, впадали в ужас, понимая, что становится совсем темно, из последних сил прибавляли ходу и расставались у порога, даже не говоря «до свидания». В такие вечера Жак останавливался посреди темной вонючей лестницы, прислонялся к стене и ждал, когда сердце перестанет так колотиться. Но ждать было некогда, и от этой мысли он задыхался еще сильнее. В три скачка он оказывался на своей площадке, проходил мимо уборной и открывал дверь квартиры. В столовой в конце коридо-

[a] 2 су.

[6] Смотри утонешь — мать тебя прибьет! Ай-ай-ай, у тебя все видно, вот бесстыдник! И куда только твоя мать смотрит!

ра горел свет, и Жак, холодея, слышал стук ложек по тарелкам. Он входил. За столом в круге света от керосиновой лампы полунемой дядя[а] шумно хлебал суп; мать, еще молодая, с густыми темными волосами, поднимала на него красивые, мягкие глаза. «Ты же знаешь...» — начинала она. Но бабушка, прямая, в черном платье, с непреклонной линией губ и суровыми светлыми глазами, не давала дочери договорить. «Где ты был?» — спрашивала она, не поворачивая головы. «Мы с Пьером делали арифметику». Бабушка вставала и подходила к нему. Она принюхивалась к его волосам, потом ощупывала лодыжки, которые все еще были в песке. «Ты был на пляже». «Выходит, ты врун», — с трудом выговаривал дядя. Но бабушка уже шла к двери, она снимала с гвоздя в коридоре толстую плетку, называвшуюся в доме «бычья жила», и вытягивала его три-четыре раза по ногам и ягодицам, так что он готов был выть от нестерпимой боли. Потом, давясь от подступавших слез перед тарелкой супа, из жалости поданной ему дядей, он напрягался изо всех сил, чтобы не разреветься. А мать, бросив быстрый взгляд на бабку, склоняла к нему нежное лицо, которое он так любил. «Ешь суп, — говорила она. — Ну, все. Все». И тут он начинал плакать.

Жак Кормери проснулся. Солнце больше не отражалось в медном иллюминаторе, оно спустилось к горизонту и освещало теперь стену напротив. Жак оделся и вышел на палубу. Он увидит Алжир на исходе ночи.

5

Отец. Его смерть. Война. Взрыв.

Он сжал ее в объятиях прямо на пороге, с трудом переводя дух после того, как взлетел по лестнице через ступеньку, одним махом, ни разу не споткнувшись, как будто ноги все еще точно помнили высоту ступеней. Выйдя из такси посреди оживленной, несмотря на ранний час, улицы, недавно политой и еще блестящей местами от воды[б], которую солнце уже обращало потихоньку в легкий пар, он увидел ее там же, где всегда, на узком балконе, общем на две комнаты, прямо над навесом парикмахера,— но это был уже не отец Жана и Жозефа, тот умер от туберкулеза, это все из-за работы, говорила его жена, он все время возился с волосами,— где на покрытии из гофрированного железа валялись, как прежде, засохшие смоквы, окурки и скомканные бумажки. Она стояла там, все такая же пышноволосая, хотя и давно седая, прямая, несмотря на свои семьдесят два года: с виду ей можно было дать лет на десять меньше, благодаря необычайно стройной, худощавой фигуре и все еще заметной физической крепости — это было у них в роду, где все как на подбор были поджарые, несуетливые, наделенные неиссякаемой энергией люди, как бы неподвластные старости. В пятьдесят лет полунемой дядя Эмиль[1] выглядел совсем молодым человеком. Бабушка умерла, так и не согнувшись. Что же до матери, к которой он взбегал сейчас по лестнице, то, казалось, ничто не способно сокрушить ее нежную стойкость, ибо даже десятилетия тяжкого труда пощадили ее красоту, так восхищавшую в детстве Кормери.

Когда он очутился на площадке, мать уже стояла в дверях и бросилась ему на шею. Как всегда, когда они встречались после разлуки, она поцеловала его раза два или три, прижимая к себе изо всех сил, и он чувствовал под руками ее ребра, жесткие выступы чуть подрагивающих плеч и вдыхал нежный запах ее кожи, напоминавший ему о впадинке под адамовым яблоком, которую он уже не осмеливался целовать, но в детстве любил нюхать и гладить, и в тех считанных случаях, когда она брала его на колени, он, притворясь спящим, утыкался носом в эту впадинку, и ее запах был для него столь редким в его детской жизни запахом нежности. Мать целовала его, потом, на миг отпустив, смотрела ему в лицо и снова прижимала к себе, чтобы поцеловать еще раз, как будто, оценив мысленно всю любовь, какую питала к нему или могла выразить, сочла, что мера еще не полна. «Сынок, — говорила она, — тебя так долго не было»[в]. И сразу же отвернувшись, возвращалась в квартиру, садилась на стул у окна и начинала смотреть на улицу,

---

[а] брат.
[б] воскресенье.
[1] Будет дальше Эрнестом.
[в] переход.

словно больше не думала о нем, как, впрочем, и ни о чем, глядя на него порой как-то странно, точно теперь — во всяком случае, ему так казалось — он был здесь лишним и нарушал порядок небольшого мирка, пустого и замкнутого, где она обитала в одиночестве. Но в этот день, сев рядом, он почувствовал в ней какое-то беспокойство, она все время украдкой посматривала на улицу, чуть скашивая свои прекрасные глаза, темные и блестящие, которые мгновенно успокаивались, когда она переводила взгляд на Жака.

Шум на улице постепенно нарастал, все чаще с грохотом проносились мимо тяжелые красные трамваи. Кормери смотрел на мать: одетая в серую блузку с белым воротничком, она сидела в профиль перед окном на неудобном стуле [][1], там, где всегда, слегка ссутулившись от возраста, но не откидываясь на спинку, и время от времени комкала в загрубелых пальцах платок, скатывала его в шарик, а потом забывала в складках юбки меж неподвижных рук, чуть повернув голову к окну. Она была такой же, как тридцать лет назад, и за сетью морщин он видел все то же лицо, поразительно молодое, гладкие и блестящие, словно литые, дуги бровей, маленький прямой нос, рот, все еще прекрасно очерченный — его не портили ни зубной протез, ни морщинки в уголках губ. Даже шея, которая обычно так быстро увядает, сохранила свои контуры, несмотря на узловатые вены и чуть оплывший подбородок. «Ты была в парикмахерской», — сказал Жак. Она улыбнулась, как девочка, уличенная в проказе. «Да, ведь ты должен был приехать». Она всегда была кокетлива на свой лад, почти незаметно. Как бы бедно она ни одевалась, Жак не помнил, чтобы она надела что-то некрасивое. Даже теперь серые и черные тона, которые она носила, были прекрасно подобраны. Это был врожденный вкус, свойственный всему их клану, вечно нищему или бедному, где лишь несколько дальних родственников сумели кое-как выбиться из нужды. Однако их мужчины, как все средиземноморцы, любили белые сорочки и отглаженные брюки со стрелкой, находя вполне естественным, что непрерывная забота об этом, учитывая скудость гардероба, добавляется к повседневному труду женщин, матерей или жен. И его мать[a] тоже считала, что ей недостаточно стирать и убирать у чужих людей: Жак всегда видел ее в своих воспоминаниях, начиная с самых ранних, бесконечно отглаживающей единственные брюки брата и его собственные, пока он не уехал и не попал в мир женщин, которые не гладят и не стирают. «Он итальянец, наш парикмахер, — сказала мать. — Он хорошо работает». «Да», — согласился Жак. Он хотел было сказать: «Ты очень красивая», но удержался. Он никогда не решался произнести это вслух. Не то чтобы он боялся отповеди с ее стороны или сомневался, что этот комплимент будет ей приятен. Но просто это означало бы перейти некий невидимый барьер, который она всю жизнь воздвигала между собой и другими, — мягкая и вежливая, уступчивая, даже пассивная, но никогда и никем не приручennая, замкнувшаяся в своей практически полной глухоте и трудности общения, красивая, разумеется, но почти неприступная — он чувствовал это особенно остро, когда она улыбалась, и его сердце еще сильнее рвалось к ней, — да, всю жизнь у нее был вид смиренный и робкий, но в то же время отстраненный; и этот неизменный взгляд, каким она тридцать лет назад смотрела, не вмешиваясь, как ее мать бьет Жака плеткой, хотя сама она никогда не то что пальцем не тронула, но даже не бранила ни разу по-настоящему своих сыновей, и наверняка эти удары обжигали ее так же, как и его, но ей мешали вступиться усталость, затрудненность речи, почтение к матери, и она молча терпела, днями, годами, терпела порку детей, как и свой тяжкий труд в чужих домах с паркетными полами, которые она мыла, ползая на коленях, жизнь без мужчины и без утешения, среди жирной посуды и грязного белья чужих людей, нескончаемые беспросветные дни, тянувшиеся один за другим и составлявшие ее жизнь, в которой не было надежды, а потому не было и недовольства,— так она и жила, неграмотная, выносливая, заранее смирившаяся со всеми страданиями, как со своими, так и с чужими. Он никогда не слышал от нее жалоб, разве что на усталость или на ломоту в пояснице после тяжелой стирки. Он никогда не слышал, чтобы она о ком-нибудь говорила плохо, иногда только могла сказать, что какая-нибудь из сестер или теток была с ней неприветлива или держала себя «гордо». Но зато он редко слышал и чтобы она от души смеялась. Теперь она смеялась чаще, с тех пор как бросила работать и дети взяли на себя ее содержание. Жак оглядывал комнату, которая тоже совершенно не изменилась. Мать не захотела расстаться с этой квартирой, где все ей было привычно, со зна-

[1] Два неразборчивых знака.

[a] Четко очерченные и гладкие надбровные дуги, под которыми блестят черные глаза.

комым кварталом, и переехать в другой район, получше, но где ей было бы труднее. Да, это была та же самая комната. В ней сменили мебель, купили более приличную, не такую убогую. Но все, как и раньше, было голо, предметы стояли в ряд по стенам. «Ты вечно везде шаришь», — сказала мать. Да, он не мог удержаться, чтобы не заглянуть в буфет, где по-прежнему лежало только самое необходимое, несмотря на все его мольбы, и эта пустота его поражала. Он открывал один за другим ящики маленького серванта: там хранились два-три лекарства, которыми обходились в этом доме во всех случаях жизни, несколько старых газет и мотков бечевки, маленькая картонная коробочка с разрозненными пуговицами и старая фотография для удостоверения личности. Даже лишние предметы выглядели здесь бедными, потому что лишним не пользовались никогда. И Жак прекрасно знал, что, живи его мать в нормальном доме, где было бы множество вещей, как у него, она все равно пользовалась бы только самым насущным. Он знал, что за стеной, в ее спальне, где стояли небольшой шкаф, узкая кровать, туалетный столик и плетеный стул, а единственное окно было занавешено связанной крючком занавеской, он не найдет, помимо мебели, ни одной вещи — разве что носовой платок, скатанный в шарик, который она забывала иногда на пустом туалетном столике.

Когда Жак, став постарше, попал в другие дома — сначала к товарищам по лицею, потом к людям более состоятельным, — его потрясло обилие ваз, вазочек, статуэток, картин, заполнявших все комнаты. У него дома говорили: «ваза, которая стоит на камине», «кастрюля», «глубокие тарелки», и ни один предмет в их хозяйстве не имел имени собственного. В гостях у дяди им предлагали полюбоваться вогезской керамикой, еду подавали на кемперском сервизе. Жак рос среди бедности, голой, как смерть, в окружении имен нарицательных; у дяди он открывал имена собственные. И до сих пор в комнате со свежевымытым полом на простой, натертой до блеска мебели не было ничего, если не считать медной арабской пепельницы чеканной работы, выставленной на сервант к его приезду, да почтового календаря на стене. Здесь нечего было показывать и почти не о чем говорить, поэтому он не знал ничего о матери, кроме того, что замечал сам. Об отце тоже.

— Папа...

Она взглянула на него внимательнее, прислушалась[a].

— Да?

— Его звали Анри, а дальше как?

— Не знаю.

— У него не было второго имени?

— Наверно, было, но я не помню.

Внезапно отвлекшись, она посмотрела на улицу, где солнце палило теперь во всю силу.

— Он был похож на меня?

— Да, вылитый ты. У него были светлые глаза. И лоб как у тебя.

— В каком году он родился?

— Не знаю. Я была на четыре года старше.

— А ты родилась в каком году?

— Не знаю. Посмотри в свидетельстве о браке.

Жак пошел в спальню, открыл шкаф. На верхней полочке, между полотенцами, лежали свидетельство о браке, пенсионная книжка и какие-то старые бумаги на испанском языке. Он вернулся с документами в руках.

— Он родился в 1885-м, а ты в 1882-м. Ты была старше на три года.

— Да? Я думала, на четыре! Это было так давно.

— Ты говорила, что он очень рано потерял родителей, и братья отдали его в сиротский приют.

— Да. Братья и сестра.

— У его родителей была своя ферма?

— Да. Они были эльзасцы.

— В Улед-Файе?

— Да. А у нас — в Шераге. Это недалеко.

— Сколько ему было лет, когда у него умерли родители?

— Не знаю. Он был совсем ребенком. Сестра его бросила. Это нехорошо. Он не хотел их видеть.

— Сколько лет было его сестре?

— Не знаю.

— А братьям? Он был самый младший?

---

[a] Отец — расспросы — война 14 года — взрыв.

— Нет. Второй.

— Значит, его братья были слишком малы, чтобы заботиться о нем.

— Да. Конечно.

— Тогда они перед ним не виноваты.

— Виноваты, он был обижен на них. После приюта, в шестнадцать лет, он вернулся к сестре на ферму. Там на него навалили самую тяжелую работу. Это было слишком.

— Он поселился в Шераге?

— Да. У нас.

— Тогда ты и познакомилась с ним?

— Да.

Она снова отвернулась к окну, и Жак понял, что так он далеко не уйдет. Но она вдруг сама направила разговор в другое русло.

— Понимаешь, он не умел читать. В приюте их ничему не учили.

— Но ты же показывала мне открытки, которые он присылал тебе с фронта.

— Да, его научил месье Классьо.

— У Рикома.

— Да. Месье Классьо был его начальником. Он научил его читать и писать.

— В каком возрасте?

— Лет в двадцать, по-моему. Не знаю. Все это было давно. Но к тому времени когда мы поженились, он уже разбирался в виноделии и мог работать где угодно. Он был умный.

Она посмотрела на него.

— Как ты.

— А потом?

— Потом? Родился твой брат. Отец работал у Рикома, и Риком отправил его на свою ферму в Сен-Лапотр.

— Сент-Апотр?

— Да, да. А потом началась война. Он погиб. Мне прислали осколок снаряда.

Осколок снаряда, пробивший голову его отцу, лежал в коробке из-под печенья, под теми же самыми полотенцами в шкафу, вместе в его открытками с фронта, такими сухими и краткими, что Жак помнил их наизусть. «Дорогая Люси. У меня все хорошо. Завтра нас переводят в другое место. Береги детей. Целую тебя. Твой муж».

Да, во тьме той самой ночи, когда он, эмигрант, сын эмигрантов, появился на свет во время переезда, Европа уже готовила пушки, которые должны были выстрелить все разом несколько месяцев спустя, выгнав супругов Кормери из Сент-Апотра, его — на призывной пункт, а ее с ребенком, опухшим от москитных укусов, — в маленькую квартирку матери на окраине Алжира. «Не беспокойтесь, мама. Как только Анри вернется, мы тут же уедем обратно». Бабка, прямая, с пучком седых волос на затылке и светлыми суровыми глазами: «Придется работать, дочка».

— Отец был зуавом?

— Да, он воевал в Марокко.

Действительно. Жак забыл. В тысяча девятьсот пятом. Отцу в то время было двадцать лет. Он, как тогда говорили, служил в Марокко в действующей армии[а]. Жак помнил, как ему рассказывал об этом директор школы, когда он несколько лет назад встретил его в Алжире на улице. Месье Левек был призван одновременно с его отцом. Но они всего месяц прослужили вместе в одной части. По его словам, он плохо знал Кормери, потому что тот был неразговорчив. Выносливый, молчаливый, но с легким характером и справедливый. Только однажды Кормери вышел из себя. Это было ночью, после нестерпимо жаркого дня, когда в глубине Атласа их подразделение расположилось лагерем на краю скалистого ущелья. Кормери и Левек должны были сменить в ущелье часового. Они обнаружили своего товарища лежащим возле зарослей кактусов, с запрокинутой головой, как-то странно повернутой к луне. Сначала они даже не узнали его, у него было что-то непонятное с лицом. Но все оказалось просто. Ему перерезали горло, а синеватая опухоль над губами оказалась его отрезанным половым органом, торчащим изо рта. Только теперь они заметили, что ноги у него раздвинуты, форменные штаны вспороты и на этом месте, почти не освещенном луной, темнеет густая лужа[б]. В ста метрах оттуда, за скалой, лежал еще один часовой в таком же виде. Забили тревогу, усилили посты. На рассвете, когда они вернулись в лагерь, Кормери сказал:

[а] 14.

[б] что с ним околеть, что без него — один черт, сказал сержант.

«Они не люди». Левек задумался и возразил, что, по их представлениям, настоящие мужчины должны поступать именно так, потому что это их земля и они сопротивляются любыми способами. Кормери набычился. «Наверно. Но это гнусно. Человек не может делать такое». Левек ответил, что, видимо, по их понятиям, иногда человек должен идти на все и все уничтожать. Но Кормери закричал, словно в каком-то исступлении: «Нет, человек должен себя обуздывать. Тогда он человек, а иначе... — Потом вдруг успокоился. — Я нищий, — сказал он глухо, — я вырос в приюте, на меня нацепили эту форму и погнали на войну, но я обуздываю себя». «Среди французов тоже бывают такие, которые себя не обуздывают», — сказал Левек. «Значит, они тоже не люди...»

И вдруг он заорал: «Выродки! Что за выродки! Все, все...»

И бледный как полотно ушел в свою палатку.

Вспоминая об этом, Жак понял, что именно от этого старого учителя, которого давно потерял из виду, он больше всего узнал об отце. Но, если не считать подробностей, это было немногим больше, чем он сам угадывал за молчанием матери. Человек суровый, с горечью в душе, который всю жизнь работал, убивал по приказу, принимал все, чего нельзя было избежать, но который где-то глубоко внутри не поступался своей сутью. Словом, человек бедный, ибо бедняки не выбирают, как им жить, но могут сохранить себя. И Жак пытался, исходя из того немногого, что знал от матери, представить себе того же самого человека девять лет спустя, уже женатого, отца двоих детей, добившегося чуть более приличного положения в жизни и внезапно вызванного в Алжир для мобилизации[а]: долгая ночная поездка в поезде с безропотной женой и капризничающими детьми, прощание на вокзале, а потом, через три дня, его внезапное появление в маленькой квартирке в Белькуре, в красивой красно-синей форме зуавов с широченными штанами из плотной шерсти, в которых он истекал по́том под июльским солнцем*, и со шляпой канотье в руке, поскольку ни фески, ни каски ему не выдали. Он сбежал самовольно со сборного пункта, чтобы в последний раз поцеловать жену и детей перед назначенной на вечер того же дня отправкой во Францию, которую он никогда в жизни не видел[б], по морю, по которому никогда не плавал, и, поцеловав их крепко и быстро, сразу же побежал назад, а жена с балкона махала ему рукой, и он, оглянувшись на бегу, остановился, помахал в ответ шляпой и снова бросился бежать по улице, серой от жары и пыли, и наконец исчез вдали за кинотеатром, в ослепительном утреннем свете, чтобы никогда больше не вернуться. Остальное можно было только воображать. Тут не могли помочь рассказы матери, не имевшей понятия ни об истории, ни о географии; она знала только, что живет на земле возле моря, что Франция находится где-то по ту сторону этого моря, по которому она тоже никогда не плавала, да и сама эта Франция представлялась ей каким-то неведомым краем, погруженным в неясную мглу, куда попадают через порт под названием Марсель — он виделся ей в точности таким же, как их порт в Алжире, — и где есть сверкающий город, говорят, очень красивый, — Париж, и еще некая область Эльзас, откуда происходили родители ее мужа, но они бежали оттуда когда-то очень давно под натиском врагов, именуемых немцами, и поселились в Алжире, который тоже нужно было отвоевывать у все тех же врагов, злых и беспощадных, особенно по отношению к французам, не сделавшим им ничего плохого. Французы почему-то были вынуждены вечно обороняться от этих воинственных и жестоких людей, не умеющих мирно жить. По соседству с Францией находилась Испания, тоже неведомо где, но все-таки ближе, оттуда уехали ее родители, маонцы, примерно тогда же, когда и родители мужа, и осели в Алжире, потому что подыхали с голоду на Маоне, про который она даже не знала, что это — остров, и не понимала, что́ слово «остров» означает, так как никогда не видела островов. Ее иногда поражали названия других стран, но она никогда не могла их правильно выговорить. Во всяком случае, она ни разу в жизни не слышала ни об Австро-Венгрии, ни о Сербии; Россия, как и Англия, имела слишком сложные названия; она не знала, что такое эрцгерцог, и никогда не сумела бы без ошибок произнести все четыре слога слова «Сараево». Война пришла, как зловещая туча, чреватая непонятной угрозой, ее нельзя было остановить как нельзя остановить саранчу или опустошительные грозы, гремевшие над алжирскими плоскогорьями. Немцы опять заставили Францию воевать, и всех ожидали страдания — для этого не было никаких причин, она не знала ни истории Франции, ни вообще что такое история. Она едва знала историю

[а] газеты 1914 г. в Алжире (Sic.).

* Август.

[б] Он никогда не видел Франции. Увидел ее и погиб.

собственной жизни и жизни тех, кого любила, — их всех тоже ожидали страдания, как и ее. Во тьме мироздания, недоступного ее воображению, и истории, непостижимой для ее разума, наступила еще более темная ночь, вот и все. Пришли непонятные приказы, принесенные в их глушь усталым, потным жандармом, и им пришлось покинуть ферму, где уже все было готово к сбору винограда; кюре приехал на станцию в Бон, откуда уезжали мобилизованные. «Надо молить Бога», — сказал он ей, и она ответила: «Да, месье кюре», хотя на самом деле ничего не услышала, потому что он говорил тихо, да ей и не пришло бы в голову молить Бога, она не любила никого беспокоить; и вот ее муж уехал в новом нарядном костюме, он скоро вернется, так говорили все, и немцы будут наказаны, но пока что надо было искать работу. К счастью, кто-то из соседей сказал бабушке, что на заводе боеприпасов при Арсенале требуются женщины и предпочтение будет отдаваться женам мобилизованных, особенно если у них на иждивении дети, так что, если повезет, она получит возможность работать по десять часов в день, сортируя картонные гильзы по цвету и размеру, сможет приносить бабушке деньги и кормить детей, пока немцы не будут наказаны и не вернется Анри. Разумеется, она ничего не слыхала о существовании русского фронта, да и не знала, что такое фронт, не подозревала о том, что война идет и на Балканах, и на Ближнем Востоке — по всей планете; все происходило только во Франции, куда немцы ворвались без предупреждения и начали убивать детей. Все и вправду происходило там, куда были посланы в спешном порядке африканские части, и среди них Кормери, — в загадочном месте, о котором все говорили: на Марне; их перебрасывали так срочно, что даже не успели достать касок, а поскольку солнце там не такое горячее, чтобы краски на тканях быстро выцветали, то алжирские солдаты — арабы и французы, в ярких, кричащих формах и соломенных шляпах, этакие красно-синие мишени, заметные за сотни метров,— шли сотнями под огонь и сотнями погибали, удобряя своими телами узкую полоску земли, где на протяжении четырех лет люди со всего мира, забившись в тесные, полные жидкой грязи берлоги, цеплялись за каждый метр, а небо над ними ощетинивалось осветительными ракетами и воющими снарядами под грохот артиллерийских обстрелов, возвещавших бессмысленные атаки[а]. Но поначалу не было даже этих берлог, и африканские части просто таяли под огнем, как размалеванные восковые куклы, и во всех уголках Алжира рождались тысячи сирот, арабов и французов, дочерей и сыновей, которым предстояло учиться жить без наставников и без наследства. Прошло всего несколько недель, и вот воскресным утром, когда Люси Кормери и ее мать сидели на низких стульях посреди узкой площадки своего второго — и последнего — этажа, между лестницей и уборными — двумя темными кабинками с круглой дырой в кирпичной кладке, которые без конца чистили креозолом, но они не переставали от этого вонять,— и перебирали чечевицу при слабом уличном свете, падавшем из фрамуги над лестницей, а младенец лежал в бельевой корзине и сосал обслюнявленную морковку, в пролете появился скорбный, хорошо одетый господин с каким-то конвертом в руке. Удивленные женщины отставили в сторону тарелки с чечевицей, которую брали горстями из большой кастрюли, стоявшей между ними, и вытерли руки, но господин, остановившись на предпоследней ступеньке, сказал, чтобы они не вставали, и выразил желание видеть мадам Кормери. «Вот она, — сказала бабушка, — я ее мать».Тогда господин сообщил, что он мэр и принес печальное известие о том, что ее муж пал смертью храбрых и что Франция оплакивает его и гордится им. Люси Кормери не расслышала, она встала и почтительно протянула ему руку, а бабушка отшатнулась и прижала ладонь ко рту, повторяя по-испански: «О Господи!» Мэр задержал руку Люси в своей, потом еще раз пожал ее обеими руками, пробормотал выражения соболезнования, вручил конверт, повернулся и тяжелым шагом начал спускаться. «Что он сказал?» — спросила Люси. «Анри погиб. Его убили». Люси смотрела на конверт, не вскрывая его — ни она, ни мать читать не умели, — она вертела его в руке, без слез, ни слова не говоря, не в силах представить себе эту далекую смерть где-то в глубине неведомой ночи. Потом она положила конверт в карман фартука, прошла, не взглянув на ребенка, к себе в комнату, где спала вместе с обоими детьми, закрыла дверь и ставни, легла на кровать и пролежала так много часов, молча, с сухими глазами, сжимая в кармане извещение, которое не умела прочесть, и пытаясь разглядеть во тьме непонятную ей беду[б].

— Мама, — сказал Жак.

[а] развить.

[б] она считает, что осколки снарядов — это какое-то самостоятельное оружие.

Она продолжала смотреть на улицу с тем же выражением лица, не слыша его. Он тронул ее худую морщинистую руку, и она с улыбкой повернулась к нему.

— Папины открытки из госпиталя...

— Да?

— Ты получила их после прихода мэра?

— Да.

Он был ранен в голову осколком снаряда, и его поместили в хлюпающий кровью санитарный поезд, заваленный грязными бинтами и соломой, один из тех, что во множестве курсировали между бойней и госпиталями Сен-Бриё. Там он сумел нацарапать две открытки, вслепую, потому что уже ничего не видел. «Я ранен. Это пустяки. Твой муж». Потом он умер, через несколько дней. Сестра милосердия написала: «Так лучше. Он остался бы слепым или умственно неполноценным. Он держался очень мужественно». Потом пришел по почте осколок.

Под окном прошел вооруженный патруль из трех десантников. Они двигались гуськом, внимательно глядя по сторонам. Один из них был негр, высокий и гибкий, похожий на красивого зверя в пятнистой шкуре.

— Это все из-за бандитов, — сказала она. — Я рада, что ты съездил к нему на могилу. Я уже стара, к тому же это далеко. Там красиво?

— Где? На кладбище?

— Да.

— Красиво. Там лежат цветы.

— Хорошо. Французы — настоящие герои.

Она говорила и сама в это верила, но уже не думала о своем муже, давно забытом, как и то старое горе. Ничего не осталось ни в ней самой, ни в доме от этого человека, сгинувшего в мировом огне и оставившего по себе лишь воспоминание, неосязаемое, как пепел от крыльев мотылька, сгоревшего в лесном пожаре.

— Подожди, у меня рагу горит.

Она встала, пошла на кухню, он сел на ее место и тоже стал смотреть на улицу, не изменившуюся за столько лет; и магазины на ней были всё те же, с блеклыми, облупившимися от солнца фасадами. Только в табачной лавке напротив висела теперь на двери пестрая пластиковая штора вместо старого занавеса из тонких полых тростинок. Жак до сих пор помнил, как они шуршали, когда он раздвигал их и входил, вдыхая восхитительный запах табака и типографской краски, и покупал там новые выпуски «Неустрашимого», которыми он упивался, читая истории о благородстве и мужестве. На улице царило воскресное оживление. Рабочие в белых рубашках, свежевыстиранных и отглаженных, направлялись, беседуя, к трем-четырем кафе, откуда веяло прохладой и анисом. Мимо проходили арабы, тоже бедные, но опрятно одетые, с женами, по-прежнему закрывающими лица и обутыми в остроносые туфли в стиле Людовика XV. Попадались и целые арабские семейства в праздничной одежде. Одна такая семья шла с тремя детьми, и один из мальчиков у них был наряжен десантником. Навстречу как раз возвращались патрульные, с виду спокойные и даже равнодушные. В ту минуту, когда Люси Кормери вернулась из кухни, раздался взрыв.

Грохнуло совсем рядом, с огромной силой, и все вокруг еще долго сотрясалось от взрывной волны. Даже когда шум уже стих, над столом все еще качалась лампа в стеклянном плафоне. Мать побледнела, отпрянула и застыла в глубине комнаты: ноги едва держали ее, а в черных глазах был ужас, с которым она не в силах была совладать. «Это здесь. Здесь», — повторяла она. «Нет», — сказал Жак и кинулся к окну. Люди куда-то бежали, он не мог понять куда; какая-то арабская семья бросилась в галантерею напротив, заталкивая перед собой детей, галантерейщик впустил их, закрыл дверь, запер ее, а сам остановился у окна и продолжал смотреть на улицу. Вновь появились патрульные: они мчались назад со всех ног. Машины одна за другой останавливались и выстраивались вдоль тротуаров. В несколько секунд улица опустела. Но, высунувшись, Жак увидел, что вдали, между кинотеатром «Мюссе» и трамвайной остановкой, бурлит толпа. «Я пойду посмотрю», — сказал он.

На углу улицы Прево-Парадоль [a,1] шумела группа людей. «Чурки проклятые!» — крикнул рабочий в майке , глядя на какого-то араба, забившегося в подворотню возле кафе. И направился к нему. «Я ничего не сделал», — сказал араб. «Все вы заодно, банда ублюдков!». Рабочий бросился на него. Стоящие рядом его удержа-

[a] — Он ее видел до прихода к матери?
— Переделать в третьей части покушение в Кессусе, и тогда здесь о взрыве только упомянуть.
— Дальше.

[1] Весь этот кусок до слова «боли» обведен и помечен знаком вопроса.

ли. Жак сказал арабу: «Пойдем со мной», — и вошел с ним в кафе, оно принадлежало теперь Жану, его другу детства, сыну парикмахера. Жан был на месте, все такой же, только весь в морщинах, худой и маленький, с настороженным лисьим лицом. «Он ни при чем, — сказал Жак. — Спрячь его». Жан, вытирая стойку, посмотрел на араба. «Пошли», — сказал он, и они исчезли в глубине зала.

На улице рабочий зло посмотрел на Жака. «Он не виноват», — сказал Жак. «Всех их надо к стенке, до одного!» — «Ты так сгоряча говоришь. Разберись сначала». Тот пожал плечами: «Сходи туда, посмотри на эту кашу, тогда рассуждай». Приближались настойчивые короткие гудки «скорой помощи». Жак побежал к скоплению народа. Бомба взорвалась в фонарном столбе, прямо на остановке. Там было много людей, ждавших трамвая, все принаряженные по-воскресному. Из маленького кафе неподалеку неслись крики, и непонятно было, кричат от ярости и[1] от боли.

Он вернулся к матери. Она стояла прямая как струна, без кровинки в лице.

— Сядь, — Жак подвел ее к стулу, возле стола. Сам сел рядом и взял ее за руки.

— Второй раз за неделю, — сказала она. — Мне страшно выходить из дому.

— Ничего, — сказал Жак, — это скоро прекратится.

— Да, — ответила она.

Она смотрела на него с какой-то неуверенностью, словно колебалась между верой в его ум и своим собственным убеждением, что вся жизнь состоит из страдания, перед которым люди бессильны, и можно только терпеть.

— Понимаешь, — продолжала она, — я ведь уже старая. Я не могу убежать.

Кровь постепенно вновь приливала к ее щекам. Вдали раздавались короткие настойчивые гудки «скорой помощи». Но мать их не слышала. Она глубоко вздохнула, немного успокоилась и улыбнулась сыну своей красивой мужественной улыбкой. Как и вся ее семья, она выросла среди опасностей, страх мог леденить ей душу, но она сносила его, как и все остальное. Но он не мог вынести вид ее внезапно застывшего, как предсмертная маска, лица. «Поедем со мной во Францию», — сказал он, но она с грустной решимостью покачала головой: «О нет! Там холодно. Я уже слишком стара. Лучше я останусь тут».

6

Семья

— Я люблю, когда ты приезжаешь, — сказала мать. — Но приходи вечером пораньше, а то мне одной так тоскливо. Вечером особенно, а зимой темнеет рано. Если бы я хоть умела читать. Но я и вязать при электричестве не могу, глаза болят. Когда Этьена нет дома, я ложусь и жду, когда пора будет ужинать. Эти два часа так медленно тянутся. Если бы девочки были со мной, я могла бы с ними поболтать. Но они приходят ненадолго и уходят. Я старая. Может быть, от меня плохо пахнет. И вот так, совсем одна...

Она говорила на одном дыхании, короткими простыми фразами, без пауз, словно давая выход мысли, которую до этой минуты не облекала в слова. Исчерпав мысль, она умолкла, опять плотно сомкнула губы и устремила мягкий безучастный взгляд на горячий свет, пробивавшийся сквозь закрытые ставни столовой; она сидела все на том же месте, на том же неудобном стуле, а сын ее, как в былые времена, кружил вокруг обеденного стола[а].

Она снова смотрит, как он кружит вокруг стола[б].

— Там красиво, в Сольферино.

— Да, там очень чисто. Но все, наверно, изменилось с тех пор, как ты там жила.

— Да, все меняется.

— Доктор передает тебе привет. Ты помнишь его?

— Нет, это было так давно.

— Никто там не помнит папу.

— Мы там жили совсем недолго. И потом, он был неразговорчив.

— Мама!

Она посмотрела на него нежным рассеянным взглядом, без улыбки.

— Мне казалось, вы с папой никогда не жили вместе в Алжире.

---

[1] Sic.

[а] Отношения с братом Анри, драки.

[б] Что в доме ели: жаркое из потрохов, рагу из трески, нут и т.п.

— Нет, нет.

— Ты меня поняла?

Она не поняла, он угадал это по ее слегка испуганному, словно извиняющемуся виду, и повторил вопрос, четко выговаривая каждое слово:

— Вы никогда не жили вместе в Алжире?

— Нет, — ответила она.

— А когда же папа ходил смотреть на казнь Пирета?

Он провел по горлу ребром ладони, чтобы она поняла. Мать быстро ответила:

— Да, да, он встал в три часа, чтобы попасть в тюрьму Барбароссы.

— Значит, вы жили в это время в Алжире?

— Да.

— Когда это было?

— Не знаю. Он работал у Рикома.

— До того, как вы уехали в Сольферино?

— Да.

Она говорила «да», но, возможно, все было и не так, ничего нельзя было узнать точно, пробиваясь в прошлое сквозь ее затуманенную память. Память у бедняков вообще не так богата, как у людей состоятельных, у них меньше вех в пространстве, поскольку они редко покидают места, где живут, меньше вех и во времени, так как жизнь у них течет серо и однообразно. Существует, конечно, память сердца, которая считается самой надежной, но сердце изнашивается от труда и горя и под бременем усталости становится забывчивым. Утраченное время не исчезает бесследно только у богатых. У бедных оно оставляет лишь размытые следы на их пути к смерти. К тому же, чтобы вынести эту жизнь, лучше поменьше вспоминать, придерживаться течения дней, час за часом, как делала его мать, пусть отчасти и не по своей воле, ибо перенесенная в детстве болезнь (по словам бабушки, брюшной тиф. Но от брюшного тифа не бывает таких осложнений. Может быть, сыпной? Или что-то другое? Это тоже было покрыто мраком.) обернулась для нее глухотой и затрудненной речью и помешала выучиться даже тому, чему учат самых обездоленных, принудив ее навсегда к безмолвному смирению, но это оказался и единственный доступный ей способ противостоять жизни: что ей оставалось другого, да и кто на ее месте придумал бы что-то лучше? Конечно, ему бы хотелось, чтобы она с жаром предалась воспоминаниям о человеке, умершем сорок лет назад, чью судьбу она разделяла (да и разделяла ли?) в течение пяти лет. Она была не способна на это, он даже не был уверен в том, что она его страстно любила, во всяком случае, не мог спросить ее об этом прямо, ибо перед ней он тоже чувствовал себя немым и по-своему неполноценным, в глубине души ему и не хотелось знать, что происходило между ними, — в общем, приходилось отказаться от мысли что-либо через нее выяснить. Даже эту историю, которая в детстве произвела на него такое впечатление и преследовала потом всю жизнь даже во сне, — о том, как отец встал в три часа ночи и пошел смотреть на казнь знаменитого преступника, — он услышал от бабушки. Пирет был сельскохозяйственным рабочим на ферме в Сахеле, недалеко от Алжира. Он убил молотком своих хозяев и их троих детей. «Чтобы ограбить?» — спросил тогда Жак. «Да», — сказал дядя Этьен. «Нет», — сказала бабушка, но больше ничего объяснять не стала. В доме обнаружили изуродованные трупы, стены были забрызганы кровью до потолка, а под одной из кроватей нашли самого младшего из детей, он еще дышал, хотя в итоге так и не выжил, но перед смертью успел написать на побеленной стене, обмакнув палец в кровь: «Это Пирет». Бросились разыскивать убийцу и нашли его где-то в полях с помутившимся рассудком. Негодующая общественность потребовала для него смертной казни. Суд не пришлось уговаривать, и казнь состоялась в Алжире, перед тюрьмой Барбароссы, в присутствии большого скопления народа. Отец Жака встал затемно, чтобы присутствовать при показательном возмездии за преступление, которое, по словам бабушки, глубоко его возмутило. Никто так никогда и не узнал, что там произошло. Казнь, судя по всему, совершилась без неожиданностей. Но отец Жака вернулся домой бледный как полотно, лег на кровать, несколько раз вскакивал и выходил, его рвало, потом он снова ложился. Он так и не захотел никому открыть ни тогда, ни потом, что он там видел. В тот вечер, когда Жаку рассказали про этот случай, он долго лежал в кровати, на самом краю, чтобы случайно не задеть брата, весь съежившись, и тоже едва сдерживал подступавшую от ужаса тошноту, снова и снова перебирая подробности, которые услышал от бабушки или вообразил сам. Всю жизнь потом эти видения преследовали его по ночам, и нечасто, но регулярно ему снился кошмарный сон, который слегка видоизменялся, но тема была всегда

одна и та же: за ним, Жаком, приходят люди, чтобы вести его на казнь. Много лет, просыпаясь, он стряхивал с себя оцепенение и ужас и с облегчением возвращался к уютной действительности, где не существовало ровно никакой вероятности, что его могут казнить. Пока он не стал взрослым и в истории не произошли сдвиги, поставившие казнь в ряд событий, напротив, вполне возможных, и он уже не испытывал облегчения, возвращаясь от снов к действительности, пронизанной в течение [определенных] лет той же самой тревогой, которая терзала его отца и которую тот передал ему как единственное и неоспоримое наследство. Эта загадочная связь между ним и незнакомым человеком, похороненным в Сен-Бриё (который тоже, в общем, не думал, что может умереть насильственной смертью), не имела отношения к матери, хотя она знала про этот случай, видела, как отца рвало, но уже не помнила про то утро, равно как и не замечала, что времена переменились. Для нее времена всегда были одни и те же, чреватые непредсказуемыми бедами, способными обрушиться в любую минуту.

Бабушка [a], в отличие от нее, имела более трезвое представление о жизни. «Ты кончишь на эшафоте», — не раз говорила она Жаку. Почему бы нет, в этом не было теперь ничего невероятного. Она не могла этого предвидеть, но в силу склада своего ума ничему бы не удивилась. Прямая, похожая на прорицательницу в своем длинном черном платье, невежественная и непреклонная, она, во всяком случае, никогда не была покорной. Детство Жака прошло, в сущности, под ее властью. Воспитанная на маленькой ферме в Сахеле, она очень рано вышла замуж за молодого маонца, худого и хрупкого, — его братья переселились в Алжир еще в 1848 году после трагической гибели их деда по отцовской линии, который был подвержен поэтическому зуду и слагал стихи, разъезжая по острову верхом на ослице между невысокими каменными стенами чужих огородов. Во время одной из таких прогулок какой-то обманутый муж, введенный в заблуждение его широченной черной шляпой, принял его за своего обидчика и выстрелил ему в спину, убив по ошибке поэта и образцового семьянина, не оставившего, впрочем, ни гроша своим детям. Одним из отдаленных последствий этого трагического недоразумения было появление на алжирском побережье целого выводка его неграмотных потомков, которые продолжали там размножаться вдали от каких бы то ни было школ, зная лишь изнурительную работу под беспощадным солнцем. Но муж бабки, как свидетельствуют фотографии, унаследовал кое-что от своего вдохновенного деда и, судя по тонкому, правильному лицу с мечтательными глазами и высоким лбом, был явно не создан для того, чтобы противостоять молодой, красивой и энергичной жене. Она родила ему девять человек детей, из коих двое умерли в младенчестве, одна дочь еле выжила и почти перестала слышать, а самый младший родился чуть ли не глухонемым. Не переставая работать наравне со всеми, она растила на маленькой темной ферме свое потомство и, восседая во главе стола, неизменно держала при себе длинную палку, что избавляло ее от всяких ненужных замечаний, ибо провинившийся незамедлительно получал удар по голове. Она царила в семье, требуя почтения к себе и к мужу, и дети по испанскому обычаю должны были говорить им «вы». Но мужу не суждено было долго наслаждаться этим почетом: он скончался в расцвете лет, не выдержав жары и непосильного труда, а быть может, и своего супружества, и Жак так никогда и не дознался, от какой болезни он умер. Овдовев, бабушка продала ферму и переселилась в Алжир вместе с младшими детьми — старшие были отправлены на заработки, едва успев повзрослеть.

В те годы, когда Жак, став постарше, мог наблюдать ее, она была всё такой же сильной и непреклонной: ни нужда, ни тяготы жизни не сломили ее характера. К тому времени из всех детей при ней оставалось только трое. Катрин [1] Кормери, занимавшаяся поденной работой в чужих домах, младший, неполноценный, который уже вырос и стал богатырем-бочаром, и старший, Жозеф, холостяк, работавший на железной дороге. Все трое получали нищенское жалованье, на которое в сумме должна была прожить семья из пяти человек. Бабушка распоряжалась всеми деньгами в доме, и первое, что врезалось когда-то в сознание Жака, — это ее скупость, хотя скрягой она не была, ибо берегла деньги, как можно беречь воздух, которым дышишь.

Она сама покупала детям одежду. Мать возвращалась домой поздно, молча смотрела и слушала и, подавленная напором бабушки, ни во что не вмешивалась. Поэтому Жак все детство проходил в плащах до пят, ибо она покупала их навырост, рассчитывая, что природа возьмет свое и плащ рано или поздно будет ему

[a] Переход.

[1] На странице 9 мать Жака Кормери названа Люси. В дальнейшем она будет именоваться Катрин.

влору. Но Жак рос медленно и только годам к пятнадцати вытянулся по-настоящему, так что одежда снашивалась прежде, чем оказывалась ему хороша. Новую покупали, исходя из тех же принципов экономии, и Жаку, которого дразнили однокашники, не оставалось ничего другого, кроме как перетягивать плащ поясом и носить с напуском, дабы сделать оригинальным то, что было смешным. Впрочем, эти краткие моменты стыда сразу же забывались в классе, где Жак вновь обретал превосходство, и в школьном дворе, ибо на футбольном поле он был царь. Однако это царство было запретным. Потому что двор в школе был цементный, и подметки снашивались там с такой быстротой, что бабушка запретила Жаку играть на переменах в футбол. Она покупала для внуков грубые, наглухо закрытые ботинки, которые казались ей вечными. Вдобавок, чтобы продлить их существование, она отдавала их в мастерскую, где их подбивали огромными гвоздями, имевшими целых два полезных свойства: они укрепляли подметку и позволяли выявить нарушение запрета на игру в футбол. Беготня по цементному двору быстро изнашивала шляпки и придавала им блеск, мгновенно изобличавший виновного. Каждый вечер, придя домой, Жак должен был являться на кухню, где Кассандра священнодействовала над кастрюлями, и, задрав назад ногу, как лошадь, которой меняют подкову, показывать свои подметки. Конечно, он не мог устоять перед уговорами товарищей и искушением поиграть в любимую игру, поэтому все его усилия сосредоточивались не на соблюдении невозможной добродетели, а на сокрытии вины. После занятий в школе, а потом и в лицее он подолгу тер подметки о мокрую землю. Иногда эта хитрость удавалась. Но рано или поздно приходил час, когда изношенность гвоздей становилась вопиющей, а то и сама кожа оказывалась подпорченной, или, что было уже полной катастрофой, из-за неудачного удара ногой по цементу или по железной решетке вокруг деревьев подметка просто наполовину отлетала, и Жак являлся домой в башмаке, перевязанном бечевкой. В такие вечера от «бычьей жилы» спасения не было. Вместо утешения мать говорила плачущему Жаку: «Ботинки ведь и правда стоят дорого. Почему же ты так неосторожен?» Но она никогда не била детей. Назавтра Жака обували в тапочки, а башмаки несли к сапожнику. Он получал их дня через два, сверкающими созвездием новых гвоздей, и должен был заново учиться держать равновесие на неустойчивых, скользких подметках.

Бабушка была способна зайти и гораздо дальше — даже теперь, спустя столько лет, Жак не мог вспоминать тот случай без спазма стыда и отвращения*. Они с братом никогда не получали карманных денег, кроме тех редких случаев, когда соглашались пойти в гости к своему дяде-коммерсанту или к тетке, удачно вышедшей замуж. К дяде — это было еще ничего, они любили его. Но тетка умела так подчеркнуть их бедность и свое относительное богатство, что мальчики предпочитали обходиться без денег и без удовольствий, которые на них можно купить, нежели чувствовать себя униженными. И все-таки хотя море, солнце, уличные игры были радостями бесплатными, но хрустящая картошка, леденцы, арабские сладости и, что особенно было важно для Жака, возможность иногда сходить на футбол стоили денег, пусть всего несколько су. Однажды вечером Жак возвращался с покупками домой, неся на вытянутых руках противень с картофельной запеканкой, который он на обратном пути забрал у булочника (в доме у них не было ни газа, ни плиты, еду готовили на спиртовке. Соответственно, не было и духовки, и когда требовалось что-нибудь испечь, приготовленное блюдо относили к булочнику по соседству, и тот за небольшую плату ставил его в печь и за ним присматривал). Запеканка дымилась прямо перед ним сквозь полотенце, прикрывавшее ее от пыли и позволявшее держать противень за края. На руке Жака болталась к тому же сетка с продуктами, которые покупались всегда в очень небольших количествах (полфунта сахару, четверть фунта масла, на пять су тертого сыра и тому подобное), сетка была легкой, Жак быстро шагал, вдыхая вкусный запах запеканки и обходя прохожих, заполнявших в этот час улицы квартала. И тут через дырку в кармане у него выпала монетка в два франка и, звякнув, покатилась по тротуару. Жак поднял ее, пересчитал всю сдачу — она оказалась в целости — и переложил деньги в другой карман. «А ведь я мог потерять эту монетку», — внезапно подумал он. И мысль о завтрашнем футбольном матче, которую он до сих пор гнал от себя, снова завладела его умом.

Никто, в сущности, никогда не объяснял ему, что хорошо, а что дурно. Некоторые вещи делать запрещалось, и за нарушение полагалась суровая кара. Все прочее было разрешено. Только учителя в школе, когда оставалось время от урока,

* Стыда, смешанного с отвращением

иногда говорили детям о нравственных законах, но и тут запреты оказывались более внятными, чем объяснения. Единственное, что было открыто Жаку в плане морали, — это повседневная жизнь его семьи, где явно никому не приходило в голову, что, кроме тяжкого труда, существуют какие-то иные способы добывать необходимые для жизни деньги. Но это служило уроком стойкости, а не нравственности. Тем не менее Жак знал, что утаить два франка нехорошо. И он не хотел этого делать. Он не собирался этого делать, он мог, наверно, как в прошлый раз, пролезть между досками забора на старый стадион на плацу и посмотреть матч бесплатно. Поэтому он и сам не понимал, почему не отдал сразу принесенную сдачу, а вместо этого, сходив в уборную, объявил, что монета провалилась в дырку, когда он какал. Слово «уборная» звучало даже чересчур изысканно применительно к тесному закутку, оборудованному в углублении каменной стены на лестничной площадке их этажа. Ни воздуха, ни электричества, ни водопроводного крана там не было, было лишь небольшое возвышение, зажатое между дверью и стеной, и в нем — отверстие без сиденья, куда после пользования лили воду из бидонов. Это не спасало, однако, от непобедимой вони, распространявшейся оттуда на лестницу. Объяснение Жака выглядело правдоподобным [а] . Оно избавляло его от неминуемого приказа отправляться на улицу искать потерянную монету и исключало всякое продолжение этой истории. Но когда он все это говорил, душа у него была не на месте. Бабушка оказалась в кухне, она резала чеснок и петрушку на старой искромсанной доске, потемневшей от долгого употребления. Она прервала свое занятие и посмотрела на Жака, который ожидал взрыва. Однако она молчала, глядя на него в упор своими холодными светлыми глазами. «Ты уверен?» — спросила она наконец. «Да, я почувствовал, как она вывалилась». Бабушка продолжала смотреть на него. «Хорошо, — сказала она. — Сейчас проверим». Жак с ужасом увидел, как она засучивает рукав, обнажая белую узловатую руку, и выходит на площадку. Он опрометью бросился в столовую, с трудом сдерживая тошноту. Наконец бабушка позвала его, и он застал ее перед раковиной: она отмывала руку, намыленную по локоть серым мылом. «Там ничего нет, — сказала она. — Ты меня обманул». «Ее, наверно, смыло водой», — пробормотал он. Бабушка заколебалась. «Может быть. Но если ты соврал, это не пойдет тебе впрок». Да, это не пошло впрок, ибо в ту же самую минуту он понял, что вовсе не жадность заставила бабушку рыться в нечистотах, а чудовищная нужда, ибо в их доме два франка — это были деньги. Он вдруг отчетливо осознал, содрогаясь от стыда, что украл эти два франка из жалкого заработка своих близких. И даже сегодня, глядя на мать, сидевшую у окна, Жак не мог объяснить себе, как он мог тогда не вернуть монету и, более того, с удовольствием смотреть на следующий день футбольный матч.

Воспоминания о бабушке были связаны для него и с минутами стыда менее оправданного. По ее настоянию Анри, старший брат Жака, брал уроки игры на скрипке. Жак увильнул от этого, отговорившись тем, что от дополнительной нагрузки пострадают его успехи в школе. В результате его брат научился извлекать некоторое количество чудовищных звуков из безжизненной скрипки и даже играть, не слишком сильно фальшивя, модные песенки. Развлечения ради Жак, имевший приличный слух, выучил те же самые песни, никак не предполагая, что это невинное занятие будет иметь столь катастрофические последствия. По воскресеньям, когда бабушку навещали ее замужние дочери [б] , тоже солдатские вдовы, или сестра, которая по-прежнему жила где-то на ферме в Сахеле и охотнее говорила на маонском диалекте, чем по-испански, бабушка, поставив на стол большие чашки черного кофе, звала внуков и заставляла их давать домашний концерт. Они уныло несли в столовую металлический пюпитр и ноты популярных песен. Отступать было некуда. Жак, кое-как поспевая за ковыляющим аккомпанементом Анри, пел «Рамону»: «Рамона, сон волшебный снился мне, что мы идем вдвоем по сказочной стране...» или: «Танцуй, танцуй, Джальме, душа летит к тебе...» Или еще, оставаясь в пределах восточной темы: «Ночи Китая нежно ласкают. Ночь любви, ночь томленья и упоенья...» Иногда специально для бабушки их просили исполнить «жизненную» песню. И Жак пел: «Ты ли это, мой друг дорогой, что поклялся быть вечно со мной, обещал, что с тобой, как в раю, я слезы ни одной не пролью». Эта песня, кстати, была единственной, которую Жак пел с искренним чувством, потому что героиня в конце повторяла свой припев среди толпы, собравшейся на казнь ее легкомысленного любовника. Но особое пристрастие бабушка питала к песне, где ее, видимо, привлекали задушевность и нежность, начисто отсутствовавшие в

[а] Нет. Он уже однажды говорил, что потерял деньги на улице, поэтому ему пришлось искать другое объяснение.
[б] Племянницы.

ее собственной натуре. Это была «Серенада» Тозелли, и они исполняли ее не без блеска, хотя алжирский акцент, разумеется, никак не сочетался с описанием чарующих минут, о которых повествует песня. В солнечный послеобеденный час четыре или пять женщин в черном, сняв — все, кроме бабушки, — свои черные испанские платки, сидели в бедно обставленной комнате с белыми стенами и одобрительно кивали в особо патетических местах, подбадривая исполнителей, пока бабушка, не умевшая отличить «до» от «си» и вообще не знавшая названия нот, не прерывала вдруг их священнодействие кратким «Соврал!», отчего у артистов мгновенно пропадал лирический настрой. Они заново повторяли неудачное место. «Так!» — говорила бабушка, когда коварный пассаж был исполнен, по ее мнению, удовлетворительно, публика кивала и в заключение награждала аплодисментами юных виртуозов, которые спешно убирали свои музыкальные принадлежности и пулей вылетали из дому, чтобы присоединиться к друзьям на улице. Только Катрин Кормери, сидя в углу, не произносила ни слова. Жак до сих пор помнил одно из таких воскресений, когда, уже выходя из комнаты с нотами под мышкой, он услышал, как в ответ на комплименты в его адрес со стороны одной из теток мать ответила: «Да, он хорошо спел. Он умный», — как будто одно с другим было както связано. Но, обернувшись, он понял эту связь. Нежный взгляд матери, взволнованный, лихорадочный, был устремлен на него с таким выражением, что он попятился, замер в нерешительности и убежал. «Она меня любит. Она меня все-таки любит», — мысленно твердил он себе на лестнице, вдруг осознав, что сам любит ее безумно и всегда страстно хотел чувствовать себя любимым ею, но до сих пор не был уверен, что это возможно.

Еще хуже было в кино... Торжественный выход тоже происходил по воскресеньям, а иногда и по четвергам. Ближайший кинотеатр находился в нескольких шагах от дома и носил имя поэта-романтика, в честь которого была названа и улица. Чтобы войти туда, надо было пробиться сквозь беспорядочные ряды арабских лотков, где лежали вперемежку горки арахиса, соленого и поджаренного нута, люпиновых семечек, длинных леденцов ядовитой окраски и липких кисленьких карамелек. Кто-то продавал яркие разноцветные сладости и среди прочего огромные витые пирамиды из крема, посыпанные розовой сахарной пудрой, кто-то — арабские блинчики, сочащиеся маслом и медом. Вокруг лотков вились тучи мух и детей, слетавшихся на одни и те же лакомства; они гудели и верещали, гоняясь друг за другом под брань торговцев, опасавшихся за свои лотки и отгонявших одним и тем же жестом и мух, и детвору. Кое-кому из лоточников удавалось захватить место под стеклянным навесом, тянувшимся вдоль одной из стен кинотеатра, другим приходилось раскладывать свои тающие сокровища под горячим солнцем, в клубах пыли, поднятой детской возней. Жак шел с бабушкой, которая по такому случаю гладко зачесывала назад седые волосы и пристегивала к своему вечному черному платью серебряную брошку. Она властно отстраняла крикливую ребятню, толпившуюся у входа, подходила к единственной кассе и спрашивала билеты на «нумерованные» места. По правде говоря, выбор был только между этими «нумерованными» жесткими креслами, с громко хлопавшими откидными сиденьями, и длинными лавками, куда, толкаясь и ссорясь из-за мест, забирались дети — им открывали боковую дверь в самый последний момент. По обе стороны от этих скамеек стояли полицейские с хлыстами, которые блюли порядок в своем секторе и нередко выводили из зала какого-нибудь мальчишку или даже взрослого за чересчур шумное поведение. Кино тогда было немое: сначала показывали хронику, потом короткометражную комедию, за ней большой фильм и, наконец, сериал — по одной серии в неделю. Бабушка особенно любила эти раздробленные эпопеи, где каждая серия обрывалась на самом интересном месте. Мускулистый герой с раненой белокурой красавицей на руках вступает на подвесной мост высоко над каньоном, где течет бурный поток. А в самом последнем кадре еженедельной порции мы видим, как татуированная рука с огромным дикарским ножом режет лианы, на которых держится мост. Герой продолжает бесстрашно продвигаться вперед, невзирая на предупредительный рев «скамеек»[a]. Вопрос был не в том, спасутся ли они, поскольку сомнения на этот счет исключались, главное было узнать, как именно это произойдет, и множество зрителей, французов и арабов, ради этого снова приходили в кино через неделю, дабы увидеть, как летящие в пропасть влюбленные избегнут верной гибели, зацепившись за чудом подвернувшееся им дерево. Показ сопровождался фортепианной игрой пожилой барышни, которая противопоставляла гоготу «скамеек» бесстрастную неподвижность худощавой спины, по-

[a] Riveccio.

хожей на бутылку минеральной воды с белой кружевной пеной над горлышком. Жаку казалось тогда признаком особого аристократизма то, что эта колоритная особа не снимала митенок даже в самую нестерпимую жару. Впрочем, задача ее была не так проста, как могло показаться. Особенно во время хроники, когда ей приходилось менять мелодию в зависимости от характера событий. Так она без паузы переходила от веселой кадрили, которой сопровождала демонстрацию весенних мод, к траурному маршу Шопена, когда на экране возникали кадры наводнения в Китае или похорон какой-нибудь важной персоны государственного или мирового значения. Но что бы ни происходило на экране, ее исполнение было неукоснительным, как будто десять маленьких молоточков совершали на старой пожелтелой клавиатуре некие механические операции, раз и навсегда отлаженные точным прибором. В зале с голыми стенами и горами ореховой скорлупы под ногами стоял запах креозола, мешавшийся с острым запахом человеческого тела. Ей удавалось заставить разом смолкнуть оглушительный гам, придавив педали к полу и обрушив на зал громкую прелюдию, которая должна была создать атмосферу раннего утра. Чудовищный рокот возвещал о том, что проекционный аппарат запущен, и тут для Жака начиналась каторга.

Фильмы, хотя и были немыми, сопровождались большим количеством титров, имевших целью объяснить смысл происходящего. Поскольку бабушка была неграмотна, Жаку приходилось все это ей читать. Несмотря на возраст, слух у нее был отличный. Но все равно требовалось перекричать, во-первых, музыку, а во-вторых, шум зала, реагировавшего на зрелище весьма бурно. И хотя тексты были крайне просты, там попадалось довольно много слов, для бабушки непривычных, а то и вовсе ей не известных. Не желая мешать соседям, но главное, боясь, как бы весь зал не узнал, что его бабушка неграмотная (иногда она сама, вдруг застеснявшись, громко говорила перед началом сеанса: «Ты будешь мне читать, я забыла очки»), Жак читал текст тише, чем нужно. В результате бабушка половины не разбирала и просила повторить, причем погромче. Жак читал громче, на него со всех сторон шикали, он сгорал от какого-то гадкого стыда, сбивался, бабушка его ругала, а тут появлялся новый текст, еще более непонятный для бедной старухи, не усвоившей предыдущего. Все запутывалось еще больше, пока наконец Жак не выходил из положения, сведя к одной фразе решающий эпизод, например, «Знака Зорро» с Дугласом Фэрбенксом. «Злодей хочет отнять у него девушку», — твердо и четко выговаривал Жак, воспользовавшись паузой в музыке или затишьем в зале. Все прояснялось, фильм продолжался, мальчик мог перевести дух. Как правило, неприятности этим и ограничивались. Но некоторые фильмы, вроде «Двух сироток», были действительно слишком сложны, и, обезумев от настойчивых требований бабушки и все более сердитых замечаний соседей, Жак в конце концов просто умолкал. Он до сих пор помнил один из таких сеансов, когда бабушка вне себя вышла из зала, не досмотрев фильм, а он плелся за ней, заливаясь слезами и страдая от мысли, что погубил одно из редких удовольствий в ее жизни и те жалкие деньги, которые были за это заплачены [а].

Мать в кино не ходила. Она тоже не умела читать и вдобавок почти ничего не слышала. К тому же запас слов у нее был еще беднее, чем у бабушки. Даже теперь она жила без всяких развлечений. За сорок лет она была в кино дважды, ничего не поняла и только сказала, не желая огорчать тех, кто ее пригласил, что все платья очень красивые, а у усатого очень свирепый вид. Не могла она и слушать радио. Разве что иногда листала иллюстрированные журналы, просила сыновей или внучек объяснить, что изображено на фотографиях, приходила к выводу, что у английской королевы печальное лицо, закрывала журнал и снова смотрела все в то же окно на ту же улицу, на которую смотрела половину своей жизни [б].

.....

[а] добавить приметы нищеты — безработица — летний лагерь для детей в Милиане — сигнал рожка — исключен — не решается об этом сказать. Говорит: Что ж, попьем вечером кофе. Иногда нужно разнообразие. Он смотрит на нее. Ему часто приходилось читать рассказы о бедных людях, где женщина держится мужественно. Она не улыбнулась. Она ушла на кухню, мужественная — не сломленная.

[б] Показать *состарившегося* дядю Эрнеста, а *до этого* — его портрет в комнате, где сидят Жак и его мать. Или чтобы он пришел *потом*.

7

Мондови: колонизация и отец

[a] И вот теперь он взрослый... По дороге из Бона в Мондови Жаку Кормери то и дело попадались ощетинившиеся ружьями джипы, они медленно курсировали по шоссе взад и вперед...

— Месье Вейяр?

— Да.

Человек, стоявший перед Жаком в дверном проеме маленькой фермы, был невысокий, но крепкий и широкоплечий. Одной рукой он придерживал дверь, чтобы она не захлопнулась, а другой опирался о косяк, как бы открывая путь в дом и в то же время не впуская в него. Судя по редким седоватым волосам, придававшим ему сходство с римлянином, ему было около сорока. Но, глядя на загорелое, с правильными чертами лицо, светлые глаза и слегка приземистую, но ладную фигуру, без намека на жир или брюшко, ему можно было дать гораздо меньше; одет он был в штаны цвета хаки, плетеные кожаные сандалии и голубую рубашку с карманами. Фермер молча выслушал объяснения Жака. «Входите», — сказал он наконец и посторонился. Проходя через небольшой коридор с побеленными стенами, где не было никакой мебели, кроме коричневого сундука и изогнутой стойки для зонтов, Жак услышал за спиной смешок хозяина.

— В общем, паломничество! Что ж, самое время!

— Почему? — спросил Жак.

— Проходите в столовую, — сказал фермер. — Там прохладнее.

Столовая оказалась чем-то средним между комнатой и верандой, все шторы из гибкой соломки, за исключением одной, были опущены. Если не считать стола и буфета светлого дерева, вся мебель состояла из плетеных кресел и шезлонгов. Оглянувшись, Жак обнаружил, что он один. Он подошел к застекленной стене и сквозь незашторенное окно увидел двор, усаженный авраамовыми деревьями, под которыми поблескивали два ярко-красных трактора. Чуть подальше под еще терпимым одиннадцатичасовым солнцем начинались виноградники. Через несколько минут вошел хозяин, неся поднос, где стояла анисовка, стаканы и бутылка холодной воды.

Фермер поднял свой стакан, наполненный матовой жидкостью.

— Если бы вы приехали позже, то, скорее всего, ничего бы здесь не нашли. Во всяком случае, ни одного француза, способного вам что-нибудь рассказать.

— Меня послал к вам старый доктор, это он сказал мне, что ваша ферма и есть та, где я родился.

— Да, когда-то она была частью угодий Сент-Апотра, но ее купили мои родители.

Жак разглядывал комнату.

— Вы родились наверняка не в этой обстановке. Мои родители все перестроили.

— Они знали моего отца?

— Вряд ли. Они жили до войны у самой тунисской границы, а потом им захотелось быть поближе к цивилизации. Для них Сольферино — это цивилизация.

— Они ничего не слыхали о бывшем управляющем?

— Нет. Вы же сами здешний и знаете, как это бывает. Тут не берегут ничего. Ломают и строят заново. Думают о будущем, а все прочее забывается.

— Что ж, ладно, — сказал Жак. — Я напрасно вас побеспокоил.

— Нет, нет, — ответил тот. — Я рад.

И он улыбнулся. Жак допил свой стакан.

— Ваши родители вернулись на границу?

— Нет, там запретная зона. Застава. И потом, надо знать моего отца.

Он тоже опустошил свой стакан и, словно оживившись от этого еще больше, рассмеялся:

— Это настоящий колонист. Старой закалки. Из тех, над которыми смеются в Париже. Он всегда был крут. Ему уже шестьдесят. Но при этом он длинный и поджарый, как пуританин, с лошадиной головой. Этакий патриарх, понимаете. Бат-

[a] Телега поезд пароход самолет.

раков-арабов заставлял вкалывать до седьмого пота и, надо отдать ему справедливость, своих сыновей тоже. В прошлом году, когда пришлось эвакуироваться, он тут дал всем прикурить. Жить здесь больше было невозможно. Спать ложились с ружьем. Это когда напали на ферму Раскиль, помните?

— Нет, — сказал Жак.

— Ну как же, там зарезали отца и двоих сыновей, мать и дочь долго насиловали, потом убили... В общем... Префект имел неосторожность сказать собравшимся фермерам, что надо пересмотреть [колониальные] проблемы и отношение к арабам и что времена теперь другие. Старик ответил, что на его земле ему никто не указ. Но с тех пор вообще перестал разговаривать. По ночам он иногда вставал и выходил. Мать следила за ним сквозь ставни и видела, как он бродит по виноградникам. Когда пришел приказ об эвакуации, он не сказал ни слова. Урожай был собран, вино уже бродило в чанах. Он вскрыл чаны, пошел к источнику соленой воды, которую сам когда-то отвел, и пустил поток прямо на свои земли, потом прицепил к трактору плуг. Три дня подряд молча, с непокрытой головой он, не вылезая из трактора, выкорчевывал свои виноградники. Вообразите себе это зрелище: старик, тощий, как кочерга, трясется на тракторе и жмет изо всех сил на рычаг, когда плуг не справляется с какой-нибудь упрямой лозой. Он даже не ходил домой есть — мать приносила ему хлеб, сыр и [колбасу], он все это съедал не спеша, как делал всё и всегда, отбрасывал недоеденный ломоть, чтобы еще поднажать, — и так от восхода до заката, не глядя ни на горы у горизонта, ни на арабов, которые смотрели на это издали и тоже молчали. А когда некий молодой капитан, которого кто-то известил, явился и попросил объяснений, отец сказал: «Молодой человек, коль скоро все, что мы здесь совершили, — преступление, то надо его искоренить». Когда все было кончено, он вернулся на ферму, прошел через двор, залитый вином из чанов, и начал собирать чемоданы. Рабочие-арабы ждали его во дворе. (Там был еще патруль, присланный капитаном невесть зачем, во главе с молодым лейтенантом, который ожидал приказаний.) «Что нам делать, хозяин?» — «Будь я на вашем месте, я бы подался к партизанам. Они победят. Во Франции больше не осталось мужчин».

Фермер засмеялся:

— А? Не в бровь, а в глаз!

— Они живут с вами?

— Нет. Отец больше слышать не желает об Алжире. Поселился в Марселе, в современной квартире... Мама пишет, что он не находит себе места.

— А вы?

— О, я не двинусь до конца. Что бы ни случилось. Семью отправил в столицу, а меня увезут отсюда только в гробу. В Париже этого не понимают. Знаете, кто те единственные люди, кроме нас, которые могут это понять?

— Арабы.

— Точно. Мы созданы, чтобы понимать друг друга. Да, они скоты и дикари, как и мы, зато кровь и у них, и у нас мужская. Мы еще некоторое время постреляем друг в друга, повыпускаем друг другу кишки, повырываем ногти. А потом опять будем жить бок о бок, как мужчины. Таков закон этой земли. Еще анисовки?

—Только не крепкой, — сказал Жак.

Выпив, они вместе вышли. Жак спросил, не осталось ли кого-то в округе, кто мог бы знать его родителей. Нет, по мнению Вейяра, никого, за исключением старика доктора, который когда-то помог ему родиться на свет: выйдя на пенсию, он остался жить в Сольферино. Сент-Апотр дважды переходил из рук в руки, много рабочих-арабов умерло между двумя войнами, много родилось других. «Все здесь меняется, — повторял Вейяр. — Меняется быстро, очень быстро, и люди забывают». Впрочем, может быть, старик Тамзал, бывший сторож одной из ферм Сент-Апотра... В 1913 году ему было лет двадцать. Во всяком случае, Жак хоть прогуляется и посмотрит на край, где он родился.

Со всех сторон, кроме севера, местность обступали далекие горы — в мареве полуденного зноя они казались гигантским конгломератом камня и искрящейся дымки, а между ними в некогда болотистой долине реки Сейбуз под белым от жары небом тянулись к морю ряды виноградников, прямые, как стрелы, с синеватой от купороса листвой и уже почерневшими гроздьями; кое-где они перемежались кипарисами или купами эвкалиптов, в тени которых приютились дома. Жак и Вейяр шли по проселочной дороге, и от каждого их шага столбом подымалась красная пыль. Перед ними до самых гор дрожал воздух и гудело солнце. Когда они дошли до маленького домика за рощицей платанов, они взмокли от пота. Невидимая собака встретила их яростным лаем.

Домик выглядел довольно ветхим, и его деревянная дверь была наглухо закрыта. Вейяр постучал. Лай усилился. Судя по всему, он доносился с заднего двора. Но никто не вышел. «Времена доверия! — сказал Вейяр. — Они дома. Но выжидают».

— Тамзал! — крикнул он. — Это Вейяр! Полгода назад пришли и забрали его зятя, интересовались, не снабжает ли он партизан. Больше о нем никто не слышал. Месяц назад Тамзалу сказали, что он убит, — видимо, при попытке к бегству.

— А-а, — сказал Жак. — Он действительно снабжал партизан?

— Может, да, а может, нет. Что вы хотите, идет война. Поэтому в стране гостеприимства так долго не открываются двери.

В эту минуту дверь как раз отворилась. Тамзал, маленький с [ ][1] волосами, в широкой соломенной шляпе и заплатанном синем комбинезоне, улыбнулся Вейяру, посмотрел на Жака.

— Это друг. Он здесь родился.

— Заходи, — сказал Тамзал, — попьешь чаю.

Тамзал ничего не помнил. Да, может быть. Он слышал от своего дяди об управляющем, который проработал здесь несколько месяцев, это было после войны. «До войны», — сказал Жак. Или до, очень может быть, он был тогда совсем молодой, а что сталось с его отцом? «Погиб на войне».

— Мектуб[2], — сказал Тамзал. — Война — это плохо.

— Войны были всегда, — сказал Вейяр. — Однако люди быстро привыкают к миру. И им кажется, что это нормально. Нет, нормально — это война[a].

— Люди потеряли рассудок, — сказал Тамзал, принимая поднос с чаем из рук женщины, которая, отворачиваясь, протягивала его из-за двери.

Они выпили обжигающий чай, поблагодарили и пошли обратно по накаленной дороге через виноградники.

— Я возвращаюсь в Сольферино. Меня ждет такси, — сказал Жак. — Доктор пригласил меня к обеду.

— Поеду-ка я с вами, хоть и без приглашения. Подождите. Я прихвачу закуску.

Потом, в самолете, уносившем его в столицу, Жак пытался привести в порядок собранные им сведения. По правде говоря, их было немного и они не касались прямо его отца. Казалось, тьма буквально на глазах поднимается от земли, чтобы в конце концов поймать самолет, который летел ровно, не отклоняясь, словно винт, входящий в глубину мрака. Темнота угнетала Жака, ему было трудно дышать, он чувствовал себя как бы в двойном заточении среди замкнутого пространства самолета и тьмы. Перед глазами у него стояла запись о его рождении в регистрационной книге и подписи двоих свидетелей — типичные французские фамилии, какие часто видишь на парижских вывесках, старый доктор, рассказывая о приезде отца в Сент-Апотр и о появлении Жака на свет, объяснил, что это были двое коммерсантов из Сольферино, первые встречные, согласившиеся оказать услугу отцу; у них действительно были фамилии обитателей парижских предместий, но что же тут удивительного, ведь Сольферино основали участники революции сорок восьмого года. «Да, да, — подхватил Вейяр, — мой прадед был как раз из таких. Вот откуда у отца революционная закваска». Он рассказал, что прадед его был плотник из предместья Сен-Дени, а прабабка — прачка. В Париже была безработица, народ волновался, и Учредительное собрание проголосовало за выделение пятидесяти миллионов на освоение колонии[6]. Каждому переселенцу пообещали жилье и от двух до десяти гектаров земли. «Сами понимаете, в желающих недостатка не было. Их набралось больше тысячи. И все мечтали о земле обетованной. Особенно мужчины. Женщины — те побаивались неизвестности. Но мужчины! Они не зря делали революцию! Это было что-то вроде веры в деда-мороза. Только дед-мороз виделся им в бурнусе. Что ж, они получили свой рождественский подарок. Из Парижа они отбыли в сорок девятом, а первый дом здесь был построен в пятьдесят четвертом. За это время...»

Жаку стало легче дышать. Мрак за окном слегка рассеялся, первая волна темноты отхлынула, словно морской прилив, оставив после себя звездные россыпи, и небо было теперь покрыто звездами. Только оглушительный шум моторов мешал ему окончательно прийти в себя. Он старался вспомнить лицо старого торговца фруктами и фуражом, который знал когда-то его отца, смутно помнил его и без конца повторял: «Молчаливый, он был очень молчаливый». Но шум действовал

[1] Два неразборчивых слова.
[2] Это было предначертано (*араб.*).
[a] развить.
[6] 48 (цифра обведена автором, *прим. издателя*).

отупляюще, застилал сознание дурманом; Жак силился увидеть сквозь него отца, как-то представить себе его, но тот терялся в пространствах огромного враждебного края, растворялся в обезличенной истории этой деревни и этой равнины. Подробности, выяснившиеся в разговоре с доктором, плыли к нему, как баржи, на которых, по рассказам доктора, парижские переселенцы отправились в Сольферино. Да, да, на баржах, тогда не было поездов, впрочем, нет, были, но только до Лиона. Так вот, эти баржи — их было шесть, и тянули их лошади — провожали под духовой оркестр, игравший «Марсельезу» и «Песнь уходящих на бой», их благословляли с берегов Сены священники, а на знамени было вышито название несуществующей деревни, которую переселенцам предстояло чудесным образом сотворить на пустом месте. Баржи потихоньку отплывали, Париж ускользал, терял плотность, таял на глазах, да пребудет с вами благословение Господне; и даже у самых сильных, у железных защитников баррикад, сжималось сердце; они молчали, и жены перепуганно жались к ним, а потом пришлось спать в трюмах, где стояла грязная вода, на соломенных тюфяках, слушая их шелковистый шорох, но поначалу женщины еще раздевались, по очереди загораживая друг друга простынями. При чем тут его отец? Ни при чем, сто лет прошло с тех пор, как эти баржи, под эскортом орешника и голых плакучих ив, плыли целый месяц по осенним каналам, по течению больших и малых рек, покрытых последними желтыми листьями; прибывали в портовые города под приветственные звуки официальных фанфар и снова отплывали, увозя новых кочевников к неведомым берегам; и все-таки они больше говорили ему о молодом солдате, похороненном в Сен-Бриё, чем путаные старческие воспоминания, которые он собирал по крохам. Моторы теперь работали в другом режиме. Темные громады внизу, острые, беспорядочно навороченные глыбы мрака — это была Кабилия, дикая и кровавая часть страны; да и вся эта страна еще недавно была кровавой и дикой, и сюда, в эту страну, сто лет назад плыли рабочие февраля сорок восьмого, погрузившись всем скопом на пароход с колесами. «Он назывался «Лабрадор», — говорил доктор, — вы только представьте себе: плыть на «Лабрадоре» к жаре и москитам!» — однако «Лабрадор» исправно работал всеми своими лопастями, молотя ледяную воду, вздымавшуюся штормовыми волнами под натиском мистраля. Пять дней и пять ночей по палубам гулял лютый ветер, завоеватели в трюмах маялись от морской болезни, блевали друг на друга и мечтали о смерти, пока не вошли в порт Бона, где все население высыпало на пристань встречать с музыкой позеленевших искателей приключений, покинувших столицу Европы вместе с женами, детьми и скарбом, чтобы после пятинедельных скитаний ступить на эту землю с голубоватыми далями, где они теперь с беспокойством принюхивались к ее странному запаху, улавливая в нем смесь навоза, пряностей и [ ][1].

Жак поменял в кресле позу; он наполовину спал. Он видел отца, которого наяву не видел никогда и даже не знал, какого он был роста: отец стоял на бонской пристани среди эмигрантов, а рядом работали лебедки, выгружая жалкие пожитки, уцелевшие во время путешествия, и в толпе вспыхивали скандалы из-за потерянных вещей. Решительный, суровый, неразговорчивый, он стоял среди них — разве не проделал он сорок лет назад ту же дорогу от Бона до Сольферино под таким же осенним небом? Впрочем, у первых эмигрантов дороги не было, женщин и детей погрузили на обозные армейские повозки, мужчины шли пешком, напрямик, определяя направление на глаз, через болотистую равнину и колючие заросли, сопровождаемые сворами воющих кабильских собак, под враждебными взглядами арабов, стоявших группами чуть ли не на всем их пути, пока не добрались к концу дня до того самого места, что и впоследствии его отец, — до этой плоской, окруженной далекими холмами долины без всяких признаков жилья, без единого клочка возделанной земли, где стояла лишь горстка военных палаток землистого цвета, и ничего вокруг, кроме голого безлюдного пространства, показавшегося им краем света, между пустынным небом и опасной* землей, и женщины расплакались в темноте от страха, усталости и разочарования.

Такой же ночной приезд в убогую неприютную дыру, такие же люди вокруг, а потом, потом... О! Про отца Жак ничего точно не знал, но тем переселенцам выбирать не приходилось: нужно было встряхнуться, чтобы не ударить в грязь лицом перед гогочущими солдатами, и устраиваться в палатках. Дома́ будут потом, со временем они построят их и распределят землю, труд, благословенный труд спасет всё. «Но до этого было еще далеко...» — сказал Вейяр. Пошел дождь, настоящий алжирский ливень, сплошной, сокрушительный, нескончаемый, он лил целую не-

[1] Неразборчивое слово.
* неведомой.

делю, и Сейбуз вышел из берегов. Болота подступили к палаткам, люди не могли шагу ступить наружу — братья-враги, запертые в грязной тесноте огромных палаток, по которым безостановочно стучал дождь. Чтобы спастись от вони, они нарезали полого тростника и через него мочились на улицу, а как только дождь прекратился — сразу же за работу: строить под руководством плотника временные бараки.

«Ах, бедолаги, — смеясь, рассказывал Вейяр. — Они достроили бараки к весне и в награду получили холеру. Если верить моему старику, то прадед-плотник потерял из-за холеры дочь и жену, которые не зря опасались пускаться в такую даль». «Да, да, — расхаживая по комнате, говорил доктор, все такой же гордый и стройный в своих вечных гетрах и все так же не умевший сидеть на месте. — Они умирали десятками каждый день. Жара началась раньше времени, в бараках нечем было дышать. А уж гигиена — сами понимаете! Короче, умирало не меньше десяти человек в день». Его коллеги, военные врачи, сбивались с ног. Любопытные, между прочим, люди. Они исчерпали все запасы лекарств. И тогда у них возникла идея. Надо плясать, чтобы разогреть кровь. И каждую ночь, после работы, колонисты плясали под скрипку в перерывах между похоронами. И что же, расчет оказался не так уж плох. Танцуя в такую жару, эти удальцы потели сверх всякой меры, и эпидемия прекратилась. «Их идею стоит изучить как следует». Да, идея была блестящая. Жаркими влажными ночами, между бараков, где лежали больные, на ящике сидел скрипач, над ним висел фонарь, облепленный москитами и мошками, завоеватели в суконных костюмах и длинных платьях, обливаясь потом, плясали вокруг огромного костра, а тем временем часовые с четырех сторон охраняли лагерь от черногривых львов, от угонщиков скота, от арабских банд, а иногда и от набегов соседей-французов из других поселений, нуждавшихся в развлечениях или провизии. Спустя некоторое время раздали наконец землю — разрозненные участки довольно далеко от бараков. Потом построили и деревню с земляными укреплениями. Но две трети переселенцев — не только здесь, но и по всему Алжиру — умерли, так и не взявшись ни за кирку, ни за плуг. Те, кто выжил, остались парижанами и в полях: они пахали в шапокляках, с ружьем за спиной и трубкой в зубах — допускалась только трубка с крышкой, сигареты были запрещены из-за пожаров, — и с хинином в кармане, хинин продавался во всех кафе Бона и в столовой Мондови, как вино или виски — будьте здоровы! — а рядом с ними работали жены в шелковых платьях. Но без оружия и солдат нельзя было отойти ни на шаг, даже стирать белье в Сейбузе женщины ходили под военной охраной — те самые женщины, для которых некогда стирка на улице Архивов заменяла светскую гостиную; случались и ночные нападения на деревню, как в пятьдесят первом, когда во время одного из восстаний несколько сот всадников в бурнусах, покружив вокруг укреплений, в конце концов обратились в бегство при виде направленных на них печных труб — осажденные выставили их, изображая пушки, — так они и работали, сея и строя в неприятельской стране, которая сопротивлялась завоеванию и вымещала свою ненависть на чем могла, но почему вдруг Жак подумал о матери, пока самолет то терял, то вновь набирал высоту? Он вспомнил про тот увязший танк на бонской дороге, где колонисты оставили беременную женщину и ушли за подмогой, а когда вернулись, нашли женщину со вспоротым животом и отрезанными грудями. «Шла война», — сказал Вейяр. «Будем справедливы, — добавил доктор, — их замуровывали в пещеры вместе со всей родней, да, да, а они когда-то выпускали кишки древним берберам, которые тоже... В общем, так мы дойдем до первого убийцы, его, знаете ли, звали Каин, и с тех пор война не прекращается. Люди ужасны, особенно под этим жестоким солнцем».

После обеда они прошли через деревню. Она была похожа на множество других таких же по всей стране — две-три сотни маленьких домиков в городском стиле прошлого века распределялись вдоль нескольких улиц, пересекавшихся под прямым углом; попадались и большие здания, такие, как кооператив, сельскохозяйственная касса и зал для праздничных мероприятий, а в центре возвышалась музыкальная эстрада с металлической арматурой, похожая на манеж или на гигантский вход в метро, где из года в год муниципальный хор или военный духовой оркестр давали по праздникам концерты, а вокруг в пыли и жарище прохаживались принаряженные пары, грызя земляные орехи. Сейчас тоже было воскресенье, но военная служба пропаганды установила на эстраде репродукторы, и публика, состоявшая в основном из арабов, не прогуливалась вокруг эстрады, а стояла неподвижно и слушала арабскую музыку вперемежку с речами; затерянные в толпе французы

были все чем-то похожи друг на друга: у них у всех были мрачные лица, на которых читалась озабоченность будущим, как у тех, кто прибыл на «Лабрадоре» — в Сольферино или в другие края Алжира, где их всех ждало одно и то же, — все они прошли через одинаковые муки, все бежали от нищеты или от преследований навстречу камням и страданию. Среди них и испанцы с Маона (и в их числе родители его бабушки), и те эльзасцы, что в семьдесят первом не приняли немецкой оккупации и сделали выбор в пользу Франции — им отдали землю участников алжирского восстания 1871 года, убитых и арестованных, и бунтари заняли еще теплое место мятежников. От этих гонимых гонителей происходил и его отец, он приехал сюда сорок лет назад такой же мрачный и упрямый, так же весь устремленный в будущее, как все те, кто не любил своего прошлого и перечеркивал его; он был таким же эмигрантом, как все, кто жил до него и продолжал жить рядом с ним на этой земле, не оставляя по себе никаких следов, кроме обветшалых, позеленевших могильных плит на маленьких кладбищах, подобных тому, которое Жак посетил со старым доктором после ухода Вейяра. По одну сторону там располагались уродливые современные сооружения — дань последней похоронной моде, черпающей свои красоты на блошиных рынках и лотках с побрякушками, в которых тонет современное благочестие. По другую — под старыми кипарисами, в аллеях, усыпанных сосновой хвоей и кипарисовыми шишками, или возле сырых стен среди зарослей кислицы и желтых цветов лежали старые плиты, уже почти вросшие в землю, с неразборчивыми именами.

За прошедшее столетие сюда приехали несметные толпы людей, они пахали, прокладывали борозды, местами все более и более глубокие, а где-то постепенно исчезавшие под наносами, пока не изглаживались совсем, и тогда местность вновь захватывала дикая растительность, — эти люди оставляли потомство и исчезали. То же происходило и с их сыновьями. Их дети и внуки оказались в этой стране, как и он сам, без прошлого, без морали, без наставников, без религии, но счастливые оттого, что они такие, какие есть, и живут в этом царстве света, трепеща перед тьмой и смертью. Все эти поколения, все эти люди из разных краев, соединенные под великолепным африканским небом, в котором уже наметились сумерки, исчезли без следа, не открыв себя никому. Их окутало великое забвение, и, в сущности, именно его и источала эта земля, оно опускалось с небес вместе с темнотой над возвращавшимися в деревню тремя путниками, подавленными приближением ночи: грудь им теснила тревога* , какую извечно вселяют в жителей Африки короткие сумерки, когда ночь стремительно опускается на море, на вздыбленные горы и высокие плато, — та же священная тревога, что некогда в Дельфах заставляла людей воздвигать храмы и алтари. Но в Африке уже давно нет храмов, есть лишь эта нестерпимая и сладостная тяжесть на сердце. Как они умирали! Как продолжают умирать! Молча, отвернувшись от всего, как умер его отец, вовлеченный в непонятную трагедию вдали от земли, где он родился, прожив жизнь, подневольную от начала до конца, от приюта до неизбежной женитьбы и госпиталя, жизнь, которая складывалась помимо него, пока война не убила и не погребла этого человека, навсегда оставшегося незнакомцем для своих близких и сына и ушедшего в великое забвение — последнее отечество людей его породы, где оканчивается жизнь, начатая без корней; сколько же в библиотеках той поры было списков с именами найденных при колонизации детей, да, все здесь были найденышами и подкидышами, возводившими временные постройки, чтобы потом умереть навеки для себя и для других. Как будто человеческая история, прошедшая почти без следов по одной из самых древних своих земель, испарялась здесь от зноя вместе с памятью о тех, кто, в сущности, ее делал, сведенная к вспышкам насилия и убийств, к порывам ненависти и потокам крови, мгновенно выходящим из берегов и быстро высыхающим, как местные вади. Тьма поднималась теперь от самой земли и постепенно заволакивала все вокруг, и живых, и мертвых, под неизменным восхитительным небом. Нет, он никогда по-настоящему не узнает своего отца — тот так и будет спать где-то далеко с навеки утраченным, истлевшим лицом. В этом человеке была тайна, и он, Жак, хотел ее разгадать. Но на самом деле это была просто тайна нищеты, порождающей людей без имени и без прошлого, которые создали этот мир, а сами исчезли навсегда, пополнив несметную толпу мертвецов. Вот что роднило его отца с пассажирами «Лабрадора». С маонцами из Сахеля, с эльзасцами с высоких плато — обитателями этого огромного острова между песками и морем, который постепенно затопляло сейчас великое безмолвие, — их всех роднила безымянность, объединявшая их на уровне крови, труда, стойкости, инстинкта, жестокого и в то же

* беспокойство.

время побуждающего к состраданию. И сам он, пытавшийся вырваться из этой безымянной страны, из толпы, из своей безымянной семьи, всегда чувствовал, что внутри у него кто-то упорно и неотступно требует безвестности и безымянности. Он тоже был членом племени, он, который вслепую шагал в темноте рядом с чуть запыхавшимся доктором, слушал отголоски музыки с площади, вспоминал суровые непроницаемые лица арабов вокруг деревенских эстрад, смех и волевое лицо Вейяра и мысленно видел, с нежностью и пронзающей сердце болью, лицо матери, похожее во время взрыва на предсмертную маску, он, бредущий во тьме лет по земле забвения, где каждый человек оказывается первым, где и ему пришлось взрослеть самому, без отца, и у него не было в жизни тех минут, когда отец призывает сына, дождавшись, когда он вырастет и будет в состоянии его выслушать, чтобы открыть ему семейную тайну, или давнее горе, или опыт собственной жизни, минут, когда даже смешной и отвратительный Полоний вдруг обретает величие в разговоре с Лаэртом, а ему, Жаку, исполнилось сначала шестнадцать, потом двадцать, но никто не поговорил с ним, и он должен был все узнавать сам, вставать на ноги сам, сам набирать силу, уверенность, искать свою мораль и свою правду, родиться, наконец, как мужчина, чтобы потом пережить еще одно рождение, более трудное, — рождение для других, для женщин, так же как все люди, рожденные в этой стране и поодиночке учившиеся жить без корней и без веры, должны сегодня все вместе под угрозой окончательного торжества безымянности, утраты единственных священных следов их пребывания на земле — плит со стершимися именами, окутанных сейчас на кладбище тьмой — родиться для других, для несметной толпы вытесненных теперь колонистов, которые были их предшественниками на этой земле, и признать свое братство с ними — братство происхождения и судьбы.

Самолет уже снижался, приближаясь к столице. Жак думал о маленьком кладбище в Сен-Бриё, где солдатские могилы сохранились лучше, чем в Мондови*. Средиземное море было для меня границей между двумя мирами: в одном — на строго отмеренных участках земли сохранялись имена и воспоминания, а в другом — песчаный ветер заметал человеческие следы на огромных пространствах. Он пытался избежать безымянности, нищеты, упрямого невежества, не в силах был жить на уровне этого слепого терпения, без слов, без планов на будущее, не шедших дальше сиюминутной нужды. Он колесил по свету, строил, создавал, дотла сжигал души, дни его были заполнены до предела. Но где-то в глубине своего существа он теперь знал, что Сен-Бриё и все, что он воплощает, — это для него чужое и всегда было чужим, и он думал о только что виденных замшелых могилах, внутренне соглашаясь, не без какой-то даже странной радости, чтобы смерть вернула его на подлинную родину и покрыла великим забвением память о чудовищном и [заурядном] человеке, который вырос и созрел без помощи и поддержки, в бедности, на счастливых берегах, в сиянии первых рассветов вселенной, чтобы затем в одиночку, без памяти и без веры вступить в мир людей своего времени и в его ужасную и захватывающую историю.

* Алжир

Современные поэты Арагона

Перевод с испанского А.ГЕЛЕСКУЛА

«Современные поэты Арагона? Это еще что такое? А современных поэтов Вавилона вы нам не предложите?» — вправе воскликнуть собеседник. И верно — на шкале истории Арагон с Вавилоном куда лучше соотносятся, чем то и другое с понятием «современность».

Что знает об Арагоне российский читатель? Ну, конечно, «Арагонскую хоту» Глинки. Или вот это:

Сердце, это ли твой разгон,
рыжий выжженный Арагон —

из стихотворения Ильи Эренбурга времен гражданской войны в Испании.

Он действительно рыжий и выжженный, точно такой, каким более полувека назад застал его Эренбург. Арагон, или, как писали в русских справочниках прошлого столетия, Арагония, — область на северо-востоке Испании, древняя и суровая земля, где удельный вес истории — давление спрессованных веков на квадратный сантиметр сухой золотистой почвы — исключительно велик. Здесь прошли римляне, вестготы, арабы, прошли и остались в пролетах арок, в восточном орнаменте резного камня, в маленьких, плоских, узорно положенных кирпичах фасадов и башен, в чертах жителей, даже в ровно насаженных оливковых рощах. В Испании говорят: «Там, где перестает расти олива, — граница арабского владычества». В засушливом, гористом и холмистом Арагоне все долины в оливах. Дерево это — словно символ национального характера: стойкое, неприхотливое, выносливое. Скупая земля подарила ему горечь долготерпения. Она во всем — в корявости стволов, надтреснутой черной коре. Горькие оливы не поэтическая метафора. Они действительно горькие — и плоды, и лаковые жесткие листья.

Арагон открывает взгляду бескрайние дали безлюдного, какого-то лунного пейзажа с голыми хребтами, похожими на серых простертых ящериц, с холмами, неузнаваемо меняющими цвет, когда бегут по ним тени туч, с белыми или землисто-каменными скоплениями геометрических фигурок вдали — домиками разбросанных селений. Их словно сгребли гигантской ладонью и плотно прижали друг к другу — место дорого не потому, что его мало, а потому, что каждая пядь отвоевана у камня.

Среди этих нагорий вдруг становится ясно, как мог Дон Кихот принять стадо за войско. Он вовсе не был безумен: ничто так не похоже на отряд, в боевом порядке спускающийся на равнину, как отдаленная отара. Вытянутый прямоугольник пыли неумолимо и грозно сползает с горы, растягиваясь и вновь группируясь в ровный квадрат. Что там, Бог весть! Именно так шли здесь римские легионы, и по тем же дорогам.

Есть здесь и замки. Не те галантные французские, знакомые по иллюстрациям к волшебным сказкам, а слитые по цвету с землей, словно из нее вылепленные огромные брошенные термитники. Очертания такого замка на голой вершине холма над пустынной равниной более всего напоминают уродливый обломок коренного зуба. Эдакая любовная аллегория: «Sic transit gloria mundi».

Где теперь король Хуан?
Что, инфанты Арагона,
стало с вами?
Неужели все обман?
Где штандарты и знамена
над гербами?

Этот плач великого испанского поэта XV века Хорхе Манрике и сейчас парит над торжественными руинами.

У Арагона славное прошлое. Прежде независимое королевство, он вместе с Кастилией положил начало великой империи, покорительнице Нового Света. В 1469 году брак Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской знаменует собой начало эпохи знаменитых Католических королей, при которых Испания достигла небывалого расцвета.

Арагонцы отличились, оказав отчаянное, можно сказать, безрассудное сопротивление Наполеону. Маршал Ланн на развалинах Сарагосы, взятой наконец после долгой осады и практически стертой с лица земли, не мог удержаться от возгласа: «Какая жалость — уложить стольких храбрецов!»

Древность Арагона иной раз неожиданно выдает себя в речи его обитателей. Пожалуй, только здесь при встрече на улице вместо привычного «привет», «здравствуй» можно услышать «adios» — «прощай». Объяснение просто: испанское «adios», как и французское «adieu», давно стало нейтральным, утратив исконное значение «с Богом!». Здесь, в Арагоне, изначальный смысл напутствия сохранился.

Испанцы любят малую родину. Знакомясь, «обнюхиваясь», сразу выясняют, кто откуда. Это легко узнать и по акценту. Мягко тянет слова — из Галисии, глотает последние слоги — из Андалусии, бубнит гулко, как из бочки, — явно из Арагона. Так у нас легко узнают по «оканью» уроженца Костромы или Вологды.

Малая родина — важная часть внутренней сути человека. В стихах современных арагонских поэтов, предлагаемых вниманию читателей, просвечивает родной пейзаж, как в стихотворении Гильермо Гуделя «Скорбный свет»:

Я вижу вновь саманные дома
и женщин, вечно в черном, на дороге
к далекому ключу... Они склонялись
и с нежностью разглядывали воду...

Вода — сокровище. Ее журчание в забетонированных канавках, проложенных вдоль поля — подобие среднеазиатских арыков, — голос самой жизни. Канавки пересекаются, расходятся, на стыках их перегораживают металлические заслонки — можно отодвинуть, а можно и перекрыть. Прежде в Испании существовала высокая инстанция — Трибунал Воды. Он решал, чье поле, когда и сколько орошать. От его постановлений зависели судьбы. Наш современник поэт Ильдефонсо Мануэль Хиль, чьи стихи вошли в настоящую подборку, цитируя строку Гарсиа Лорки «Кровь, вышедшую к свету, пьет земля», передает и эту ненасытимую, пугающую жажду безводной пустыни.

«Невзрачная желтизна дрока», «тускнеющий багрянец над холмами» — все это в сердце вошедшие приметы родного края.

Культурные пласты прошлого угадываются в словах современных арагонских поэтов: и в чеканной форме сонета Мануэля Хиля, и в отголоске старинной народной песни, коплы, явственно различимом в простодушной, почти детской интонации стихов Томаса Сераль-и-Касаса.

Перед нами сегодняшняя поэзия древнего края, в которой живут и грусть, и надежда, и вечный, неизменный в веках возглас смертного и бессмертного человечества:

Если бы жили боги...
не вечную юность у них я просил бы,
а просто юность...

Наталья ВАНХАНЕН

ИЛЬДЕФОНСО МАНУЭЛЬ ХИЛЬ

***

Не соблазнись тенетами насилья
и гимнами во славу жаркой крови,
похожей на рассвет и на гвоздику,
готовой и на битву, и на жертву.

Прекрасна кровь лишь тайною своей,
которая сквозит в ее струеньи,
в истерзанном любовной пыткой теле
и в неусыпном сердце материнском,
когда оно баюкает надежду.

Но эта кровь, живое это чудо,
в сетях артерий сказочная птица,
крылатый вздох земли, ее вино, —
стекая в землю, обернется грязью,
сырым пятном и спазмом тошноты.

«Кровь, вышедшую к свету, пьет земля» [1], —
сказал поэт и собственною кровью
так щедро и напрасно оросил
запекшуюся совесть. «...пьет земля...»
Мы видели, как пьет. Сперва по капле,
потом глотками и в конце — взахлеб.
Мы видели все это, хоронясь
под липкими тенетами насилья.

И видя все, смотрели как бы мимо,
скосив глаза и маскируя стыд
своим молчаньем, знаком соучастья.

***

Добрел я до черты водораздела,
испытано и пройдено немало,
и вижу я, достигший перевала,
что сердце мне не зря надежда грела.

И пусть давно и юность отгорела,
и пепел ее ветром разметало,
любовь жива и только глубже стала,
когда в моей душе завечерело.

Есть и в стареньи прелесть, но с горчинкой.
Встает во весь свой рост пережитое,
и, как ни множит время свои раны,

черты любимой, с каждою морщинкой
светясь какой-то новой красотою,
становятся по-новому желанны.

***

Пустошь
под невзрачной желтизною дрока
скрасил вечер.

Взмыла птица,
потускнел багрянец
над холмами.

В сердце спят
слова стихотворенья,
так и не написанного мной.

[1] Цитата из «Кровавой свадьбы» Федерико Гарсиа Лорки. (*Прим.перев.*)

ТОМАС СЕРАЛЬ-И-КАСАС

Памятка

На восьмой странице
тень твоей ресницы.
Длинная черта
поперек листа.

А мои короче,
мне обуглил веки
жар бессонной ночи.

Медленно коснись
уличного сердца
гребешком ресниц.

Опусти их долу,
чтоб любви-бродяжке
влезть по частоколу.

***

Я хотел бы с тобою
в синей робе отчалить
на борту китобоя.

Не затем, чтоб на суше,
побродив по простору,
напиваться без меры
и любить без разбору.

Вместо палубы бота
я хотел бы отчалить
на спине кашалота.

Чтоб табачные клубы
плыли к тучам медвежьим,
что морочат команду,
притворясь побережьем.

Подадимся в матросы,
чтоб у всех на виду
обвила бескозырку
лента с надписью «Жду».

А потянет к уюту —
пусть чешуйки сирены
нам устелют каюту.

ГИЛЬЕРМО ГУДЕЛЬ

Скорбный свет

Я вспомнил мать — и все, что есть и было,
все разом стало матерью. Воскресло
и памятью промытое пространство,
и время, посвященное земле,
то время, что старело, умирало,
и оживало в листьях и побегах,
и дни нам отводило для хлопот.

Я вижу вновь саманные дома
и женщин, вечно в черном, на дороге
к далекому ключу... Они склонялись
и с нежностью разглядывали воду,
обмениваясь радостью и горем,
и шли назад с наполненным кувшином,
охапкой трав или вязанкой дров.
А иногда я видел их, размякших
в тени за легким полдником, и долго
смотрел, как заплетают они косы.

И все мне было в радость —
прихожая, постели, сундуки,
поленница, корзины, кладовая,
усталость от работы, неуемность
домашней толчеи... И все вращалось
вокруг нее, единственной, бессменной,
все жестче становилась лямка будней —
и было материнское лицо
изможденно терпеньем и страданьем.

Счеты с жизнью

О, если бы мертвые, легшие в землю,
смогли рассказать, как они умирали,
призвали протестом последнего стона
к ответу за кровь, пересохшую в жилах!

О, если все кости оденутся плотью,
исполнятся снова неистовством жизни,
придут со своею отвергнутой правдой,
затопят соборы, сметут трибуналы!

Куда ты забьешься, спасаясь от гнева
кого-то иного, с кем намертво сросся?
Где сможешь укрыться от горьких укоров?

О, если все мертвые разом воскреснут!
О, если со всей исступленностью горя
они закричат: «И ты звал меня братом?!»

АНТОНИО ФЕРНАНДЕС МОЛИНА

Сады

Сады
на цветной бумаге,
раскрывается ваше сердце
долгому взгляду статуй.
Сады,
полускрытые далью
приключенческого романа,
вы беседуете с безлюдьем
на пороге зимы и стужи,
когда жар вдохновенья
будит печи в пустынном доме.
Сады
в колыхании факелов,
это при ваших отсветах
в сумерках старой повести
трудятся белошвейки.
Впустите, сады,
распахните свою ограду,
пока недоверие
не отрезвило душу.
Шагните, сады,
и останьтесь
на гребнях гор.

***

Когда не затихает за стеною
речитатив дождя простоволосый,
клубятся миражи в дали белесой
и мысли отливают сединою.

Бредет Орфей под пылью водяною
в берете, при усах и с папиросой.
А вдруг лягушка обернется розой
и станет королевичу женою?

Ненастье добирается до сути,
но, вовремя одернутое громом,
смыкает круг и затихает сонно.

А солнце на серебряной посуде —
как кошелек, который стал весомым
и рад тому, что не понес урона.

ХОСЕ АНТОНИО РЕЙ ДЕЛЬ КОРРАЛЬ

Пролог

А публика?
Чем занималась публика?
Чем занималась, чем не занималась,
чему рукоплескала?
И почему она рукоплескала,
когда на сцену вышла тишина?
Отозвалась ли смыслу моих слов,
с амвона обращенных к вечным мифам,
которые играют с жизнью в прятки?
То сборище, что стульями скрипело,
изображало публику всерьез?
Или то был безликий маскарад,
чтоб оправдать потраченные деньги,
пока не срезан занавесом вечер?
Что делали они,
чем занимались, восседая в зале,
когда, сходя со сцены,
я путался в кулисах и вопросах?

Вопрос Сэмюэлу Беккету

Сэмюэл,
когда жизнь устает мочиться,
а мы устаем соскребать
повседневную плесень
и поток омерзенья смерзается в лед,
когда стыд уже еле свербит,
а надежда едва щекочет,
что прикажете делать примату,
о котором известно лишь то,
что стареет и мрет он двуногим?
Что прикажете делать тому,
кто рожден быть свободным,
разве этому в школе учили?

Ах, Сэмюэл,
как пристал бы двадцатому веку Иеремия!
Ах, Сэмюэл,
к сожаленью, вы так были правы!

ХОАКИН САНЧЕС ВАЛЬЕС

***

Мы раскалывали орехи
ровно по шву, осторожно, точно,
мы были опытные корабелы
и стереглись повредить обшивку.

Лежа ничком на краю канавы,
мы отправляли наши эскадры.
(Как настоящие — с полным грузом.)
И я представлял, как они увидят
море, которого я не видел.

Но скорлупа была скорлупою,
и малейшее дуновенье,
даже легкий лист ей сулили гибель.

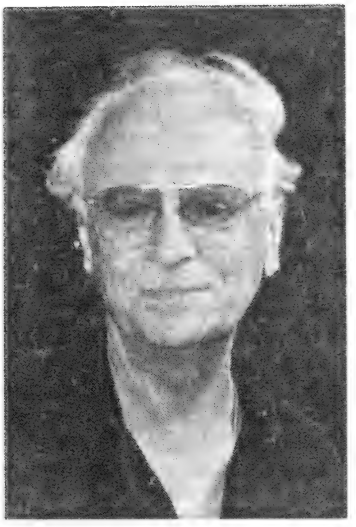
Так на глазах у меня тонули,
одна за другой, мои бригантины.
(И все ж донесли они, реки детства,
наши пустые орехи к морю.)

***

Если бы жили боги, как легкие сны земли,
в облике ли ребенка, возникшего из тумана,
девушки ли нагой, с улыбкой купающей косы,
или той дымки, что тронет душу и уплывает,

если бы, повторяю, они еще жили,
не вечную юность у них я просил бы,
а просто юность,
ту краткую вспышку жизни, что не боится смерти.

Но если они и живы, их мощь угасла.
Видно, придется
жить долго и тускло,
терпеть раздоры, любить кого-то, бродить по свету
и стареть в повседневной агонии мира,
твердя, что с годами приходит мудрость.



ЭФРАИМ КИШОН

Рассказы

Перевод с немецкого Н.БЕРНОВСКОЙ

От переводчика

Настоящее имя Кишона — Ференц Гофман. Он родился в Будапеште 23 августа 1924 года. Там же окончил гимназию. Подвергался, как еврей, нацистским преследованиям. Побывал в четырех трудовых лагерях: двух немецких, венгерском и советском. Перед самым освобождением Венгрии вынужден был скрываться, чуть не угодил в советский плен.

После войны учился и приобрел профессию журналиста. В 1949 году бежал из социалистической Венгрии в нейтральную Австрию. Оттуда эмигрировал в Израиль. Здесь перепробовал много профессий. Изучил иврит. Писал для израильских газет. В 60-е годы начал выступать как юморист и сатирик, которым остается по сей день.

Основной жанр Кишона — короткая история. Сборники таких историй и составляют абсолютное большинство его книг. Тематика их разнообразна: государство Израиль, его специфические проблемы, природа, люди; обычаи и нравы стран, где побывал Кишон; политические коллизии современного мира, в том числе и те, что связаны с наследием коммунистического прошлого; наконец, просто человек: характеры, психология, слабости, индивидуальные и типичные черты. Неиссякаемый юмор, изобретательность, яркий темперамент делают истории Кишона доступным и привлекательным чтением.

За тридцать лет писательской работы Эфраим Кишон выпустил множество книг, ставших бестселлерами. В переводах на разные языки планеты они из года в год выходят миллионными тиражами. Самый читаемый израильский писатель, он стал теперь известен и в странах Восточной Европы. В России он публикуется впервые. Кишон пишет на иврите, тщательно следит за переводами своих произведений на языки, которыми владеет. Перевод публикуемых рассказов сделан по авторизованным немецким текстам.

Трактат о стране Наперекории

Существуют две точки зрения, с которых можно посмотреть на государство Израиль: с близкого и с далекого расстояния.

С близкого расстояния — это куча песка, на ней толпятся всяческие существа самого разного происхождения, обливаются потом, ругаются, постоянно на грани нервного срыва, с хаотическим стилем жизни, едва сдерживаемые бюрократической неразберихой, которая именует себя правительством.

© Ephraim Kishon, 1991

С далекого расстояния мы видим блестящее явление века — государство, население которого не составляет и половины всех живущих в Лондоне, Нью-Йорке или Токио; народ, который наперекор всему создал из ничего образцовую демократию; цветущую страну, которая постоянно в опасности войны, наперекор бесконечным трудностям продолжает развиваться; страну, отличающуюся красотой и своеобразной историей, страну, живущую полной жизнью под смертельной угрозой паралича.

Посмотрим на нее с близкого расстояния

Типичный житель страны Наперекории примечателен тем, что в пятнадцать тридцать его ожидают в Хайфе и он опаздывает. А точнее говоря, он не опаздывает, а не является вовсе. Если потом его вообще удается найти, то за дверью с надписью «вход воспрещен».

Где бы он ни появлялся, он сразу все хватает руками, чтобы убедиться в подлинности. Если увидит сандвич, то вгрызается в него зубами; если наткнется на выключатель, то тотчас его поворачивает. Он сует свой нос в чужой карман, ящик чужого стола, чужую шахматную партию. Если вокруг нет ничего, куда можно было бы сунуть нос, он ковыряет в нем.

Не менее характерна для него бутылка, стоящая у его ног. Если где бы то ни было на земле, будь то в кино или в концертном зале, послышится шум откатившейся бутылки, знайте, что там сидит наперекорец.

Еще один типичный признак — это ключи, которые всегда при нем. Их не менее двадцати одного, двенадцать из них неизвестно от чего. Возвратившись домой, чтобы открыть дверь, он должен перепробовать восемь ключей, прежде чем найдет нужный. Избавиться от этой скучной процедуры он может лишь одним способом — потерять все ключи разом. Вообще, он любит терять вещи. Недавно чиновник наперекорского правительства отправился в Стамбул с папкой важных секретных документов. По прибытии он открыл свой кейс и обнаружил, что это косметический чемоданчик жены Зельмы, урожденной Фридман. Тогда он заявил, что получил задание перевезти эти предметы косметики, но смысл задания ему неизвестен. В результате он был уволен и работает теперь, как говорят, страховым агентом.

Весьма примечательным свойством наперекорца является его отвращение ко всякого рода указаниям и инструкциям. Если на ящике наклейка «верх», он обязательно поставит его так, чтобы наклейка оказалась снизу. Если на пакете красной краской написано: «Осторожно, стекло!», он подбрасывает пакет в воздух, затыкает уши и отходит в сторону. Указание «хранить в сухом и прохладном месте» заставляет его пристроить коробку на обогревательную колонку в ванной комнате — правда, последствий никаких, так как колонка не работает. Это обстоятельство побуждает его к тому, чтобы колонку покрасить. Он страстно любит красить. Если предмет в грязи, он его красит. На заржавевшую поверхность кладет два слоя краски. Там, где требуется серьезный ремонт и сварка, он пользуется клеем, шурупы заменяет пластырем. Ничего, держится.

Наперекорец шумно ест, громко говорит, шумно ходит и при этом жалуется на шум. Если его приемник начинает свистеть, как чайник, он ждет не меньше года, прежде чем позвать мастера. Тот дает совет чуть-чуть подкрутить приемник справа. Он поднимает приемник и, так как свист действительно смолкает, подкладывает с левой стороны спичечную коробку. Когда свист возобновляется, он меняет спичечную коробку или дает приемнику легкий шлепок. Точно так же он обращается с магнитофоном (в том числе и стерео), и с тем же успехом. С аппаратами, большими по размеру, он работает посредством пинков. Центральное отопление начинает действовать только тогда, когда по термостату ударят ногой. Каждое утро наперекорец с этой целью отправляется в подвал. Наконец, сломав большой палец на ноге, он вызывает слесаря Штукса, который, впрочем, прийти не может, так как в пятнадцать тридцать у него дела в Хайфе. Тогда наперекорец покупает шесть маленьких керосинок, из которых в порядке только две. Отечественное производство.

Отечественные товары известны еще и тем, что содержат большое количество побочных продуктов: в хлебе — орехи (или опилки), в молоке — грязная вода, в пирожных — жучки. В чемоданах — двойное дно.

Наперекорцы считаются книжным народом. Они очень берегут свои книги и обычно их даже не разрезают.

Если в Наперекории не работает водопроводный кран — значит, прекратилась подача воды. Электричество отключают раз в день, потому что турбины на электростанции поставлены не так и их необходимо перекрасить.

Настоящий наперекорец ввинчивает шурупы пилкой для ногтей, а ногти чистит карандашом. Нужный телефонный номер он записывает на пачке сигарет, которую потом обязательно теряет. Если он сильно нервничает, то набирает номер аварийной службы, так как гудки «занято» его успокаивают. Если гудки длинные, значит, он не туда попал, и он кладет трубку.

Наперекорец горд и свободолюбив. Он много путешествует, любит в вегетарианских отелях заказывать бифштекс, очень большое значение придает гигиене и чистоте. Для упаковки сыра он использует не всякую газету, а только иллюстрированные журналы с цветной печатью. В театре он также придерживается правил хорошего тона и апельсиновые корки бросает не на сцену, а под кресло.

Наперекорский язык богат цветистыми выражениями и таинственными недомолвками. «Будьте благонадежны!» возвещает катастрофу. «Вы можете мне доверять» означает: судебное дело проиграно. «Сейчас!» — это через два часа. «Через пару дней» значит год. «После праздников» — никогда.

Наперекорец всегда выигрывает войны, если не помешает Совет Безопасности. Полусонный, он ведет свой танк не в том направлении, берет в плен генеральный штаб вражеской армии и, все еще не совсем проснувшись, возвращается с победой. Не считая военных проблем, его интересуют еще только футбол и бармицва сына Авигдора. Самая большая радость — целый день валяться в шезлонге на морском берегу. Но, к сожалению, шезлонг сломан. Сколько раз он чинил его с помощью скотча, но ножки все равно не держатся. Придется их покрасить. Будьте благонадежны.

Наперекорец — приятный человек. Он создал для себя собственный жизненный стиль, к которому сначала, правда, надо привыкнуть. Тогда все идет нормально. Возможно, что этот жизненный стиль не лучший в мире. Но для юмориста он чрезвычайно продуктивен.

Принудительная защита

Сигналы тревоги, которые то и дело звучат в нашей общественной жизни, привели наконец к тому, что администрация приняла контрмеры — резко сократила численность персонала полиции, которая теперь ограничивается ролью серого кардинала, остается в тени, снабжая нас многочисленными советами; охрана порядка и безопасности граждан предоставлена непосредственно действующим персонажам — возмутителям спокойствия. Эта система особенно эффективна, поскольку речь здесь идет, так сказать, о математическом процессе: плюс на минус, позитивные и негативные моменты взаимно уничтожаются. К тому же этот процесс способствует справедливому распределению национального дохода при помощи того, что можно было бы назвать налогом на прибавочную стоимость.

Как-то на днях я мирно шел домой, когда передо мной вдруг возник парень в черном свитере.

— Я рауди, — представился он, — бандит, гангстер. Как вам больше по вкусу. Это все равно. Мой недельный гонорар, если вы не хотите иметь проблем, составляет девяносто девять фунтов пятьдесят.

Поскольку я не знаю, как обычно реагируют на подобного рода неожиданности, то спросил его для начала, является ли он членом какой-нибудь определенной банды. Он ответил утвердительно, мы начали болтать о том о сем и дошли тем временем до перекрестка, вблизи которого находится мой дом. Там он остановился и с такой силой ударил меня по лицу, что я приземлился в декоративном кустарнике палисадника господина Гельбштейна. Господин Гельбштейн выскочил из дома и начал кричать: что вы сделали с моими рододендронами, это неслыханно, что это значит и так далее.

Пока я объяснял ему, что это значит, мой спутник ударил меня еще раз и заодно предупредил, что отныне каждый день на этом самом месте я буду получать одну или несколько оплеух до тех пор, пока не заплачу. Он подчеркнул при этом, что лично против меня ничего не имеет, но надо же как-то жить.

Затем рассказал, что у него было несчастливое детство, что мать его была алкоголичкой и с горя ежедневно избивала не желавшего работать отца. Вот теперь он и вынужден зарабатывать в нашем квартале, стремясь заполучить как можно больше недельных гонораров в размере 99,50.

— Необязательно сразу давать ответ, — подытожил он. — Посоветуйтесь с женой, заявите в полицию, сделайте все, что полагается в подобных случаях. До свидания завтра, после полудня, на этом самом углу.

Я последовал его совету и поговорил с лучшей из жен. Она против того, чтобы я платил, и уверяет, что от нескольких пощечин еще никто не умер.

Потом я отправился в ближайший полицейский участок и рассказал дежурному сержанту о том, что со мной случилось. Судя по всему, он в курсе дела, он знает даже, что мой знакомец носит в уголовном мире кличку Олень. Это, собственно, сокращение от Охотник За Оленями. Олень приобрел известность только в прошлом месяце, когда проник в культурный центр Нахарии во время концерта и, подойдя к дирижеру сзади, ударил его по голове. Концерт пришлось прервать, дирижер лежит в больнице. Олень

легко отделался, получив всего-навсего месяц условно.

Так как сержант пустился в подробности и многое мне порассказал, прошло почти три часа, прежде чем мы закончили составление протокола. Потом я спросил, что же мне делать.

— Торговаться, — посоветовал сержант, — постарайтесь снизить цену. Я бы на вашем месте не стал платить больше семидесяти пяти фунтов. Шалом, желаю вам удачи, сэр.

По-видимому, в последнее время поступает так много жалоб подобного рода, что полиция ограничивает свою роль исключительно консультативной деятельностью. Когда я уже выходил, сержант посоветовал мне вдогонку требовать от Оленя расписку в получении денег и сообщать о его доходах налоговой инспекции.

На следующий день на условленном месте Олень выдал мне обещанные пощечины, сопроводив свои действия ободряющим замечанием:

— Торопиться не нужно. Поразмыслите хорошенько, будете ли вы платить, а потом сообщите мне о своем решении.

Между тем среди моих соседей распространился слух, что я не отдаю долги, и все стали меня избегать. Только Гельбштейн при моем приближении выходит в палисадник, чтобы защитить свой куст рододендрона. Гельбштейн — бывший боксер. Он очень сильный.

— Никаких драк около моего дома! — кричит он, едва завидев меня.

В субботу дело приняло несколько более благоприятный оборот. В полдень в нашем доме появился громадный детина в полосатой тельняшке и сообщил, что желает поговорить со мной с глазу на глаз.

— Я вас не понимаю, — начал он. — Как это вы допускаете, чтобы вас каждый день колотили. Вам необходим защитник. За девяносто девять пятьдесят в неделю я берусь сделать так, чтобы Олень оставил вас в покое.

Когда в ходе нашего разговора выяснилось, что мой гость — член той же организации, что и Олень, я сказал ему, что не вижу разницы, платить ли мне ему или Оленю. Разница огромная, пояснил он мне, потому что Олень — это примитивный драчун, в то время как он предлагает мне официальную защиту.

— Поразмыслите и решите, что вам больше подходит. Торопиться не нужно, завтра в полдень я снова вас навещу.

Чтобы убедить меня в честности своих намерений, он ударом ноги разрушил платяной шкаф, сломал стул, заорал во все горло: «Снимайте ботинки! Оба!»— и захватил их с собой, видимо, в качестве заложников. В дверях он остановился, вырвал дверную ручку и воскликнул:

— За счастливое и долгое сотрудничество!

Во второй половине дня я вновь отправился к сержанту. Оказалось, что моего нового защитника он тоже знает, знает даже его прозвище — Кози, от «Cosi fan tutti»[1]. Музыкальный парень. Любимый композитор — Моцарт. Вообще же он вполне надежен. И лучше всего было бы с ним договориться.

Я как-то не очень понимаю, что происходит. Рассказываю сержанту о том, как Кози громил мою мебель и как он крикнул мне: «Снимайте ботинки! Оба!»

К моему удивлению, сержант пытается снять ботинки. Я объясняю, что просто процитировал слова своего защитника. Сержант приходит в бешенство. У полиции, говорит он, есть дела поважнее, чем мои платежные проблемы, и он просит в дальнейшем его не беспокоить.

Кози уже приступил к работе, потому что Олень больше не приходит на рандеву. Я, со своей стороны, стараюсь избежать свидания с Кози и отправляюсь с женой в ресторан, расположенный на другом конце города. Мы беседуем о будущем, особенно его финансовых аспектах.

Выйдя из-за стола, я нечаянно спотыкаюсь о ресторанную кошку, хочу удержаться на ногах, уцепившись за скатерть, в результате все, что есть на столе, летит на пол, к тому же со страшным грохотом.

Хозяин ресторана бежит ко мне со всех ног.

— Я заплачу́, — шепчет он, трясясь от страха, — назовите сумму, и я заплачу. Но, ради Бога, больше к нам не ходите!

Я стал объяснять, что он ошибается. Сориентировавшись в обстановке, он пнул меня с такой силой, что я отлетел к дверям. И упал в объятия крепкого молодца в голубой рубашке, который сообщил, что уже давно меня разыскивает.

— Кози ждет вас около вашего дома, — добавил он. — И очень раздосадован тем, что вы не разрешаете ему себя защищать. Если хотите, я могу вас защищать, но это обойдется

[1] «Так поступают все женщины» (*итал.*) — название оперы Моцарта.

вам в девяносто девять с половиной фунтов в неделю.

Мой новый защитник, который сразу сообщил свой псевдоним — Голубой Экспресс, конечно, член все той же организации. Он меньше ростом, чем двое других. На мое недоумение по этому поводу ответил, что дело не в росте. И продемонстрировал свои способности, раскрошив фары моего автомобиля.

— Все в порядке, — сказал я, протягивая ему один из своих ботинок, — позвоните завтра в первой половине дня, и мы придем к соглашению.

На обратном пути мы проходим мимо Гельбштейна, который как раз поливает в своем палисаднике. Я подхожу к нему.

— Послушайте, Гельбштейн, вы сильный мужчина. Ваши бицепсы пропадают зря. А что, если вы будете защищать меня от гангстеров, которые за мной охотятся?

Гельбштейн бурчит что-то про то, что нету времени, что он не нянька и вообще.

Я вхожу в его дом, пинком ноги пробиваю дверцу платяного шкафа и швыряю стул в закрытое окно.

— Это задаток, — говорю я на прощание. — Если завтра вы не согласитесь взять на себя мою защиту, то все стекла в окнах будут выбиты. Подумайте. И обратитесь за советом в полицейский участок тут за углом. Тамошний сержант разбирается в подобных делах.

Гельбштейна я оставил в состоянии задумчивости. Потом купил в ближайшем магазине молоток и красный свитер и известил сержанта о сложившейся ситуации.

Кто сказал, что в нашей стране нет порядка?

Как терроризируют террориста

Дело было дрянь. Угнанный самолет только что приземлился, террористы передали по радио свои требования и сообщили, что в случае невыполнения взорвут самолет. В диспетчерской аэродрома Лидда экстренно собрался штаб, чтобы обсудить положение.

— Выход один: банду надо взять на измор, вымотать им все нервы, тянуть время сколько можно и вывести из терпения.

— Да, но как?

— На это есть один ответ — Шультхайс.

Спустя десять минут в машине начальника генерального штаба с эскортом голубых огней прибыл Эцехиль Шультхайс, яркая звезда на небосклоне нашей бюрократии.

Прибыл прямо из больницы, где вел переговоры с лидерами профсоюза пекарей о двухпроцентной тарифной надбавке, которые длились без перерыва три дня и три ночи. В ходе переговоров все пекари один за другим были отправлены в больницу с симптомами крайнего переутомления, лишь Шультхайс оставался в прекрасной форме.

Лично министр обороны давал ему теперь инструкции:

— Если не будет иного способа освободить пассажиров, мы обменяем их на захваченных террористов. Вам, Шультхайс, в переговорах с угонщиками дается полная свобода действий. Применяйте к ним свои обычные методы. Обращайтесь с ними так, как с израильскими налогоплательщиками.

— О'кей! — сказал Шультхайс и попросил стакан чаю с лимоном и телефонистку из своего бюро.

После того как Илана уселась за пульт, с самолетом была установлена радиосвязь. Из кабины пилота раздался низкий мужской голос:

— Смерть евреям! Говорит организация «Черный сентябрь». Слушайте мои указания.

— Минутку, — прервал Шультхайс, — плохая слышимость. Черное — это что, организация или сентябрь?

— Молчать и слушать!

— Простите, а вы, собственно, кто?

— Как это, я кто?

— Откуда я знаю, террорист вы или нет. А может быть, вы пассажир.

— Стал бы я тогда с вами разговаривать!

— А если вы под дулом пистолета?

— Ну и что?

— Это полностью изменило бы ситуацию. Тогда бы речь шла не о прямом контакте, а о посредничестве.

— Ну и какая разница, черт вас возьми?

— Огромная, сэр. В случае посредничества я должен был бы подключить совсем другие инстанции. Я рад с вами сотрудничать, поверьте. Но вынужден считаться с действующими правилами. Ваше имя?

— Капитан Джамаль Рафат.

— В середине буква «ка»?

Послышалось хрипение, затем раздался голос командира корабля:

— Это главарь группы. Вы можете мне верить.

— Хорошо, я согласен считать вас временным свидетелем. Номер паспорта, пожалуйста!

— 75 103/97 381.

— Когда и кем выдан?

Тут микрофон опять схватил капитан Рафат:

— Если через двадцать секунд переговоры не начнутся, мы взорвем самолет!

— Двадцать секунд с какого момента?

— Как это понять?

— Я спрашиваю, когда начинаются двадцать секунд?

— Сейчас, немедленно, в этот самый момент!

— Сколько времени на ваших часах?

— Одиннадцать двадцать девять, будьте вы прокляты!

— У меня одиннадцать двадцать две. Сейчас попрошу проверить. При таких обстоятельствах каждая секунда имеет значение. Подождите.

— Алло! — заорал капитан Рафат. Но связь прервалась, причем на целых три минуты. Затем раздались какие-то звуки, но то, что теперь услыхал капитан Рафат, был голос Иланы:

— Кто вам сказал, что я флиртую с Хаимом? Дудик лжет. Вы же знаете Дудика... Капитан Рафат? Ну наконец-то. Мы ждем вас. Говорите!

И капитан Рафат заговорил:

— Мы требуем немедленно выпустить триста девяносто борцов за освобождение Палестины, которые сидят в ваших тюрьмах. Диктую имена.

— Только не по телефону, — возразил Шультхайс. — Кроме того, триста девяносто арестованных? Эта цифра значительно выше допустимой квоты. Для такого количества людей у нас и транспорта нет. Я думал, шесть или семь, ну максимум — восемь.

— Триста девяносто.

— Девять. И один из них заикается.

— Я не торгуюсь.

— Ну хорошо — десять. Шесть при вступлении в силу нашего соглашения, трое — тридцать первого октября и ...

— Сейчас, немедленно и все.

— Все десять?

— Триста.

— Одиннадцать, без подтверждения получения.

— Двести пятьдесят. И это мое последнее слово.

— Двенадцать, мне самому это дороже обойдется.

Связь между диспетчерской и кабиной пилота опять оборвалась. Когда же она установилась снова, в наушниках капитана Рафата звучали странные обрывки фраз: « Галилея... экспорт-импорт... Шехтер, Гуревич, Миорахи... все ушли... уже никого нет». Потом в разговор вступил взволнованный голос командира корабля:

— Внимание, диспетчерская. Угонщики готовятся взорвать самолет. Они поставили вам ультиматум. Срок — полчаса. Они говорят серьезно. Внимание, диспетчерская. Вы поняли? Ультиматум. Срок — полчаса.

— Понятно, — сказал Шультхайс. — Но это нужно письменно. Как же иначе я отчитаюсь перед вышестоящими инстанциями? Скажите этим людям, чтобы они на бланке «Сабены» написали примерно следующее: «Мы, нижеподписавшиеся, террористы, проживающие там-то и там-то, ставим в известность, что находящийся на аэродроме Лидда самолет авиакомпании «Сабена»... и т.д. и т.п. В трех вариантах — на еврейском, арабском и фламандском языках. Желательно фотографии размером, как на паспорт.

Командир корабля не ответил. Вместо него капитан Рафат потребовал санитарную машину Красного Креста.

— У нас это красная звезда Давида, — поправил Шультхайс.

Рафат не слушал.

— Пусть машина с белым флагом подойдет к самолету, — прохрипел он.

— Какого размера?

— Что — какого размера?

— Какого размера флаг?

— Мне наплевать на это. Болван! Маленький белый флаг.

— У нас есть два флага: семьдесят восемь на сорок пять и семьдесят пять на тридцать, но этот последний в стирке. Если тот для вас слишком велик, я могу выписать флаг из Хайфы.

У террориста вырвался глухой стон:

— Подъезжайте без флага.

— Я или санитарная машина? Пожалуйста, уточните. Иначе я не знаю, что писать в протокол. Алло! Алло!

На другом конце провода наступила тишина. Потом последовало сообщение угонщиков, что они готовы обменять заложников на двадцать пять арестованных палестинцев, при условии, что больше не придется разговаривать с Шультхайсом.

Шультхайс предложил смешанную комиссию в составе двух аккредитованных террористов из сектора Газа, беспартийного юриста и доктора Бар-Бицуа из министерства транспорта.

Капитан Рафат спросил, нельзя ли прислать врача. Голос его был едва слышен.

Его помощник, который взял микрофон, также находился, судя по всему, на грани нервного срыва.

— Группа угонщиков, — сообщил он, — согласна вылететь в другую страну, как только самолет будет заправлен.

— Соединяю со складом горючего, — сказала Илана и дала возможность присутствующим прослушать следующий диалог.

Цива, телефонистка на складе:

— К сожалению, начальник отдела вышел.

Рафат:

— Когда он вернется?

Цива:

— Понятия не имею. Наверное, пошел поесть.

Рафат:

— Отоприте склад. Иначе случится несчастье!

Цива:

— Ключи у Модже.

Рафат:

— Считаю до трех. Если нет, мои люди взорвут самолет. Раз, два...

Шехтер:

— Алло! Говорит Шехтер, «Галилея экспорт-импорт». Чем могу быть полезен?

Рафат (голосом умирающего):

— Говорит... черный... то есть «Черный сентябрь»... Мы хотим отсюда прочь... прочь... прочь...

В этот момент Шультхайс вступил в разговор еще раз:

— Капитан Рафат? Все в порядке. Машина с горючим сейчас подъедет.

Он кивнул министру обороны. Министр обороны кивнул начальнику группы захвата. Все прочее известно из газет, которые в вихре событий упустили только одно.

Они должны были добавить:

«После успешного завершения своей миссии на аэродроме Эцехиль Шультхайс возвратился в больницу, чтобы продолжить переговоры с пекарями».

Я делаю карьеру

— В Америке, — говорила тетя Труда, гуляя со мной в районе Бруклина, — в Америке без паблисити невозможно сделать карьеру.

— Знаете, — отвечал я неуверенно, — но с чего тут начать?

— Надо выступить по телевидению. Это было бы лучше всего. Ну или что-то в этом роде. К счастью, и на радио, и на телевидении у меня прекрасные личные связи. На радио будет проще, потому что на телевидении я никого не знаю.

Оставались пустяки. Время от времени моя тетя встречает у парикмахера госпожу Перл Траубман, которая вот уже сорок лет ведет в нью-йоркской студии на идиш популярную программу «Фанни-Свинг-шоу», более того: госпожа Траубман, она же Фанни Свинг, имеет как в Бруклине, так и в Бронксе массу почитателей, в основном в кругу домохозяек.

Через два дня тетя Труда вернулась от парикмахера. Лицо ее сияло в ореоле свежеуложенных локонов.

— Перл Траубман ждет тебя завтра в семь тридцать в студии двести три. Я сказала ей, что ты бит-лирик и полковник парашютно-десантных войск Израиля. Она под большим впечатлением. Начинается твоя карьера.

Мы обнялись со слезами.

Госпожа Траубман-Свинг — приветливая дама лет шестидесяти; она выглядит немногим старше, если не смотреть на волосы, ослепительные белокурые волосы, и ярко-красные накрашенные губы. В студии двести три я прождал полчаса. Она пришла ровно за две минуты до начала прямой передачи и тут же стала читать в микрофон различные сообщения, приготовленные заранее. Закончив, пожала мне руку и задала вопрос:

— В какой синагоге вы поете, господин Фридман?

Я пояснил, что давно уже отказался от литургической деятельности, и представился как полковник-лирик тети Труды из парикмахерской.

— Да-да. — Госпожа Траубман задумчиво перебирала лежавшие перед ней листки. — Кантор Фридман будет на следующей неделе. Хорошо, можно начинать.

Загорелась красная лампочка. В комнату тихо проскользнул мрачный мужчина с лысиной и, трижды крикнув в микрофон: «Фанни!» — сел с нами за стол. Голос госпожи Траубман, только что звучавший деловито-рассеянно, вдруг приобрел сладостный тембр, как у влюбленного соловья:

— Доброе утро, мои дорогие. Говорит ваша подруга Фанни Свинг из Нью- Йорка. На улице дождь, но хорошо, что хоть не сыро, а только холодно. Уже пришла зима? Кстати, раз уж мы заговорили о «приходе» — к нам в студию пришел сегодня очень интересный гость, добрый старый друг, имя которого всем известно, особенно тем, кто ходит в синагогу Ор-Кабуки... — Я сделал жест рукой, госпожа Траубман мгновенно поняла. — Но и остальные, конечно, знают известного израильского поэта, который как раз сейчас совершает небольшую инспекционную поездку по Соединенным Штатам. Он полковник израильской авиации, космонавт-дублер. Как дела, господин Китшен?

— Благодарю, — ответил я бегло по-английски, — очень хорошо!

— Прекрасно. Как вам нравится Нью-Йорк?

— Очень нравится, благодарю.

— Вы уже были в театре?

— Пока нет, но послезавтра иду на знаменитый мюзикл; что касается моей собственной пьесы...

— Растительное масло Якобовского закипает мгновенно! — приветливо сообщила госпожа Траубман. — Для легкого и сытного блюда, для сиропа и салата, для печенья и овощей только масло Якобовского! Как ты считаешь, Макс?

Это был не риторический вопрос. Он относился к тому самому мрачному мужчине с лысиной, который теперь с видимым неудовольствием отложил газету. Это был, как я узнал позднее, политический комментатор и театральный критик студии, он тоже участвовал в рекламной программе «Фанни-Свинг-шоу».

— Растительное масло Якобовского — лучшее кошерное масло в мире. Нет ничего вкуснее Якобовского, — подтвердил он.

Он звучно чмокнул губами и углубился в чтение газеты.

— Растительное масло Якобовского не содержит нитроглицерина! — Фанни Свинг подвела итог и вновь обратилась ко мне: — Свои стихи вы пишете один, господин Китшен?

— Да, — ответил я, — благодарю.

— А шейн гитн туг[1], — произнесла вслед за этим Фанни Свинг, — мой дедушка говорил только на идиш, если хотел, чтобы его поняли дети. Стихи он тоже писал, не на идиш, а по-русски. Царствие ему небесное.

Я прямо чувствовал, как слава моя с каждой минутой растет. Благодаря участию в этой грандиозной передаче она скоро достигнет Аляски. Это вовсе не пустяк — принять участие в «Фанни-Свинг-шоу». Кто-то дорого бы дал за это, а мне досталось даром! По мнению тети Труды, количество слушателей достигало не менее пятидесяти пяти градусов в тени. Этим не бросаются.

— Идиш и русский — прекрасные языки. Что касается меня, я пишу на иврите.

— Прекрасно!

— Да, благодарю.

— Лично у меня нет проблем с едой, — успокоила меня госпожа Траубман. — Масло Якобовского закипает мгновенно. Мясо или тесто, жаркое или гарнир, что может быть лучше масла Якобовского! Не так ли, дорогой?

— Я редко готовлю, — ответил я, — но вообще-то...

Фанни Свинг сделала нетерпеливый жест в сторону мрачного мужчины с лысиной, он сразу понял ситуацию:

— Масло Якобовского кошерно до последней капли. Для меня существуют только блюда, приготовленные с маслом Якобовского.

— Вкусно, легко и никакого нитроглицерина. Если уж с маслом, то от Якобовского, — подтвердила Фанни, и тут опять пришла моя очередь: — Господин Фридман, где вы будете петь на праздники?

— Еще не решил, — ответил я начистоту.

— Мы все придем в синагогу послушать вас.

— Очень приятно.

— Вы, конечно, будете иметь большой успех. Я уверена, господин Фридман.

---

[1] Доброе утро (*идиш*).

— А как же иначе? — спросил я. — С маслом Якобовского не может быть осечек.

— Совершенно верно. Ведь оно закипает мгновенно.

— Ничего нет лучше масла Якобовского, — закончил я с готовностью. — Не правда ли, Макс?

— Для меня только Якобовский, — импровизировал Макс.

— Легкое, кошерное и вкусное, — я чмокнул в микрофон.

Госпожа Траубман-Свинг взглянула на часы.

— Спасибо, господин Фридман. Приятно было видеть вас в гостях на нашей студии и наконец услышать из уст компетентного человека о синагогальном пении в Израиле. А гитн туг и шалом!

— Шалом и салат, — ответил я, — и сироп!

Мою американскую карьеру уже нельзя было остановить.

Промежуточный баланс

— Простите меня, господин профессор, если я неловко себя веду. Дело в том, что я впервые в кабинете психиатра. Да, я знаю. Мне, наверное, уже давно надо было к вам прийти. Но до сих пор я все уговаривал себя, что я здоров.

— Продолжайте.

— Первые признаки я заметил четыре или пять лет назад. Мне бросилось в глаза, что я день ото дня становлюсь все спокойнее и равнодушнее.

— Спокойнее?

— Да, раньше я был очень вспыльчивым. Не было спора, в котором я не принял бы участия, господин профессор. Малейшее несогласие с моими принципами могло привести меня в бешенство. А потом вдруг стало появляться это спокойствие и равнодушие. Я сделался удивительно уравновешенным.

— Что же привело к такой метаморфозе?

— Не знаю. Видимо, речь здесь идет о каком-то постепенном процессе, которого даже не замечаешь. Утром за завтраком открываешь газету и читаешь сообщение о фабриканте, который утаил сумму прибавочной стоимости.

«Вот бедняга, попался», — бормочешь про себя и листаешь дальше. А потом через пару минут тебе вдруг приходит в голову, что́ это ты сейчас подумал. «Господи, да почему же бедняга. Ведь он обманул государство, а значит, и тебя. И он же бедный?»

— В самом деле, почему?

— Не знаю. Вдруг он мне показался беднягой. Потому я и пришел к вам, господин профессор. С некоторых пор я совершенно не реагирую на нарушение законов. Мне совершенно безразлично. Если, скажем, в аэропорту поймали туриста, который хотел ввести контрабандой шесть транзисторов, я вдруг говорю себе: «Будь ост рожен, контроль!»

— Вы тоже возите контрабандой, сэр?

— Да нет. Вот это-то и непонятно. Я по-прежнему добропорядочный гражданин. Когда-то раньше я даже гордился этим, а теперь стыжусь признаться, теперь добропорядочные граждане стали просто подозрительны.

— Подозрительны?

— Хорошо, я скажу об этом по-другому. Если вы мне о ком-то скажете, что это честный человек, который не солгал ни разу в жизни, то я сделаю вид, что нахожусь под большим впечатлением, но в глубине души его скорее пожалею. Искренние, честные люди, как я теперь понимаю, — это слабохарактерные чудаки, у них нет фантазии, они боятся рисковать. Просто идут по линии наименьшего сопротивления. Скажите, профессор, это чудовищно?

— Необязательно.

— Господин профессор, я постоянно ловлю себя на том, что отказываюсь от всех своих прежних привычек. Если я, например, договорился с кем-то о встрече, жду час, еще полчаса, а его все нет, я ухожу со странным чувством удовлетворения. Как будто все в полном порядке. Или если бы вы, господин профессор, обещали мне, что завтра мне позвоните, и действительно бы позвонили, то я не знал бы, как это понимать, и наверняка только заикался бы по телефону. Если кто-то действует в соответствии с договоренностью, выполняет условия соглашения, вовремя расплачивается, у меня возникает чувство неуверенности. Вдруг появляется такое ощущение, что он задумал в отношении меня какую-то подлость. Я знаю, что это не очень логично, но что мне делать? С некоторых пор я реагирую только таким образом. Скажите, господин профессор, это болезнь?

— Сейчас мы выясним. Я буду называть вам некоторые понятия, а вы сразу, без подготовки ответите словом, которое придет вам в голову по ассоциации. Готовы?

— Да!

— Итак, независимость?

— Нефтедоллар.
— Свобода?
— Порно.
— Экономика?
— Долги.
— Молодость?
— Гашиш.
— Отпуск?
— Пробка.
— Искусство?
— Хлам.
— Родина?
— Таможня.
— Религия?
— Кружка для пожертвований.
— Будущее?
— Видео.
— Планирование?
— Противозачаточная пилюля.
— Спасибо, совершенно нормальные реакции. Вы когда-нибудь видите сны?
— Да. У меня есть один сон, который повторяется. Вдруг я вижу себя снова в школе...
— За партой?
— Нет, я — учитель. В классе передо мной сидят совершенно незнакомые люди со всего света. Целые народности сидят с открытым ртом и ждут моего слова. Передо мной лежат Библия, Талмуд и «Капитал». Я встаю, поднимаю руку... мир смотрит на меня как зачарованный... и я говорю...
— Ну, что же вы говорите?
— Официант, еще одну порцию филе, полупрожаренного.
— Этого я не понимаю.
— Я тоже. К тому же я совсем не люблю филе. С гораздо большим удовольствием ем бананы. Почему же я говорю «филе»? Объясните мне, пожалуйста, господин профессор.
— Возможно, в глубине души вы мечтаете о смене кабинета.
— Я? О смене кабинета? Десять лет назад, пожалуй. А теперь я вообще не хочу никаких перемен. Теперь, я уже говорил, я равнодушен и спокоен. То, что наше правительство обещало перед выборами золотые горы и ничего не сделало, я считаю в порядке вещей.
— В самом деле?
— Да, это же вполне понятно, что перед выборами они должны нам морочить голову, иначе мы не проголосуем за них, поэтому я вообще не могу возмущаться правительством. Я не хочу никаких перемен. Единственное, что мне нужно, — давайте в обоюдном недоверии оставим друг друга в покое. Я все могу понять, господин профессор. Так что, я нормален?
— Безусловно.
— Тогда объясните мне хотя бы, почему я в такой тоске? Иногда я ухожу в себя и начинаю думать. Например, об этой маленькой стране. Стараюсь вспомнить что-то из добрых старых времен, когда я был еще горяч и вспыльчив, и ничего не нахожу. Все в какой-то консолидации. Пионеры превратились в граждан, бурные гении стали ретроградами, а наша славная армия означает теперь просто три года военной службы. Позавчера я слышал, что какой-то человек вернул социальной инстанции свою досрочную пенсию, дав патриотическое объяснение, что нужно экономить. Мне так хотелось бы им восхищаться, но я не в состоянии. В состоянии только заподозрить, что он свихнулся. Господин профессор, я боюсь самого себя. Я душевнобольной.
— Да нет. Вы совершенно здоровы. Вы просто приспособились к нашему времени.
— Это опасно?
— Нет, это единственный способ выжить.

Кто есть кто (на экране)?

— Кто это? — спросил я. — Это тот, кто украл книги у мужа Флер?
— Глупый, — возразила лучшая из жен, — это же кузен Уинифрид, супруги Мони.
— Той, что упала с лошади?
— Это была Фрэнсис, мать Джун. Помолчи.

Каждую пятницу мы садимся у экрана телевизора, чтобы опять оказаться во власти Форсайтов, в том числе Амир, а ведь ему давно пора уже быть в постели, и каждую пятницу я безнадежно запутываюсь в ветвях их родословного древа. Прошлый раз, например, я был уверен, что художник, автор последней модели, сын этой... ну, как ее звали... ну, в общем,

сын, а потом Амир мне объяснил, что вовсе нет, что это кузен старого Джолиона. Короче — помолчи!

Они должны время от времени давать титры с именами.

Внимание! Муж Флер произносит речь в нижней палате, а я пытаюсь понять, верно ли, что это сын Ирэн, которую полтора месяца назад изнасиловал Сомс. Сверх того, из комнаты нашей дочурки, малышки Ренаны, слышны подозрительные звуки и громкие вздохи. Кошмарный сон! Может быть, ребенок встал в своей кроватке и делает акробатические номера. Только бы не упала! Страшная мысль. У меня на лбу выступает холодный пот. С женой творится то же самое.

— Кто это? — снова спрашиваю я. — Кто этот молодой человек, неравнодушный к Флер?

В глубине темной квартиры резкий телефонный звонок. Никто не трогается с места. Естественно. Тот, кто звонит во время «Саги о Форсайтах», не может считаться членом цивилизованного общества. Три недели назад, когда начался сериал, мне принесли телеграмму. Посыльный звонил десять минут. Ровно столько времени продолжался разговор Сомса с Ирэн. Речь шла, кажется, о помолвке Джун.

— Тихо! — закричал я, повернувшись к двери, из-за которой послышался шум. — Тихо, «Форсайты»!

И снова сосредоточился на экране. Бум! Из комнаты Ренаны раздается зловещий звук падающего тела, сопровождаемый громким плачем. Все ясно, Ренана выпала из кроватки.

— Амир! — Мой голос дрожит от отеческого волнения . — Ради Бога, посмотри, что там случилось!

— Зачем? — спокойно отвечает сын. — Она ведь все равно уже упала.

Позор! Этот идиотский телевизор для него важнее родной сестры. Мать тоже ограничилась только тем, что в отчаянии сжала руки. А на экране идет спор между Сомсом и молодым адвокатом, я его не знаю.

— А это еще кто? Какой-то родственник Элен?

— Помолчи!

Шум, который мы слышим теперь, доносится из нашей супружеской спальни. Похоже на то, что там бьют стекло и передвигают тяжелую мебель.

Молодой адвокат, конечно, не может быть сыном Элен. Тот ведь попал под машину три серии назад. Хотя нет, ведь это был не он. Машина переехала тогда архитектора Босини.

— Но кто это такой? Скажите мне в конце концов! Может быть, это брат Марджори?

— У нее вообще нет брата, — прошипела мать моих детей. — Посмотри направо!

Я жду, пока сменится кадр, и бросаю быстрый взгляд в указанном направлении. Там стоит мужчина, стоит совершенно спокойно, на лице маска, за плечами — рюкзак, который — это видно — наполнен разнообразными предметами.

В одном из коридоров парламента Майклу Монту, мужу Флер, только что дали пару пощечин.

— Это кто его ударил? — спрашивает мужчина с рюкзаком. — Не муж Уинифрид?

— Не говорите глупостей, — отвечаю ему. — Муж Уинифрид давно уже удрал в Америку с этой актрисой. Не мешайте.

Тем временем Сомс снова встретился с молодым адвокатом, который сообщил ему что-то неприятное.

— Чего только не приходится выносить этому человеку! — Моя жена вздыхает в темноте, и мне становится ее очень жалко. — Все кому не лень его шпыняют.

— Не стоит ему сочувствовать, — говорит мужской голос, — вспомните, как он тогда обращался с Ирэн. А это кто?

— Не мешайте!

В комнате уже двое мужчин с рюкзаками.

— Садитесь, — кричу я, — нам ничего не видно.

Оба садятся на ковер. Спутница моей жизни вообще и телевизионной в частности наклонились ко мне.

— Что здесь происходит? — шепчет она. — Кто это?

— Брат Энн, — отвечает один из мужчин. — Вторая жена Джона. Тише!

Теперь они разговаривают друг с другом, это тоже мешает. Нервным жестом руки жена показывает мне, что я обязан что-то предпринять, но, исходя из обстоятельств, сложившихся на экране, в данный момент об этом не может быть и речи. Лишь когда появилась экономка кузины сестры Сомса, пожилая, малопривлекательная женщина, которая совершенно меня не интересует, я тихо прокрался на кухню, чтобы позвонить в полицию. Жду несколько минут. Наконец трубку сняли, и раздраженный голос говорит:

— Мы заняты. Звоните через час.

— Но в моей квартире двое взломщиков.

— Их что, поймал Форсайт?

— Да, приезжайте немедленно!

— Терпение! — говорит дежурный вахмистр. — А это кто?

Сообщаю свою фамилию и адрес.

— Я не вас имел в виду. Сохраняйте спокойствие до нашего прибытия.

Бросаюсь назад, к «Саге».

— Много я пропустил? Это Джолли, брат Холли?

— Болван, —обрывает меня тот из взломщиков, что выше ростом. — Джолли еще во второй серии умер от тифа.

— Тогда это может быть только Вик, кузен обнаженной модели.

— Вик, Вик, Вик...

Это верещит наша маленькая Ренана, которая выползла на четвереньках из своей комнаты и теперь пытается взобраться на мое кресло. С улицы слышится полицейская сирена. Один из взломщиков пытается встать, но тут в госпитале появилась Марджори и сразу оказалась лицом к лицу с Флер у постели пациента, который, без сомнения, является членом семьи, но я никак не пойму, кем же именно. Напряжение становится невыносимым. Кто-то ломится к нам в дверь как сумасшедший.

— Это кто? — спрашиваю я. — Тот, кого они хотели отправить в Австралию?

— Это отчим Ирэн. Помолчи.

Дверь взломали. У меня смутное ощущение, что в комнату вошли полицейские и выстроились сзади у стены.

— Кто это? — спросил один из них. — Муж Холли и жена Вулса?

— Тише, господа!

После некоторой заминки Флер отказалась от примирения, предложенного Марджори, и отправилась домой, чтобы выхаживать брата Энн. Продолжение на следующей неделе.

— Нет, Флер не права, — подал голос сержант полиции. — Марджори поступила по-человечески. Все-таки Флер могла бы примириться с ней, ведь брат на смертном одре!

Один из взломщиков возразил от двери:

— Со стороны Марджори это шантаж, если хотите знать. И потом, это вовсе не брат Марджори. Это Бикет, муж Вик. Это он нанял сыщиков.

— Бикет, — крикнул я вслед уходящим вместе блюстителям и нарушителям порядка, — уехал на Дальний Восток две недели назад.

— Если ты ничего не имеешь против, уехал Вильфред, — язвительно поправила меня лучшая из жен.

Ей ли говорить! Ей, которая две серии подряд ставила себя в смешное положение, утверждая, что молодой Джолион продавал на улице воздушные шары, прежде чем отправиться на бурскую войну. Пусть мне о Форсайтах никто ничего не рассказывает.

■

РЕНЕ ШАР
«Любовь моя и крах»

Перевод с французского СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

От переводчика

«Мысль изреченная есть ложь...» А что же есть правда? Неизреченное? Неизречимое? Или же нечто брезжущее в сумеречном свете *истинной* яви — той, что рождена не резким лучом отчетливой данности, а смутным трепетом чувства и мукой мысли, ищущей *наименований*?

Еще не изреченное, но все же изъяснимое в судорожном движении фразы, на ощупь обретающей форму истинно сущего, но вовсе не явственного:

Лжет рассвет, городам несущий
четко вызубренный пароль.
Все, что явственно, то не суще:
шерстью чувствую эту боль.

Стараясь запечатлеть в слове неочевидную и как бы невнятную *истину*, Рене Шар неизбежно оказывается трудным для чтения поэтом, и даже сквозные его афоризмы обнаруживают в себе пресловутую шаровскую *герметичность*, которой посвящено столько страниц литературоведческих изысканий.

Но герметичность эта не вычурна, а выстрадана и потому естественна как наикратчайший путь к запечатлеванию ускользающих линий.

Впрочем, «рудокопы невнятной речи» Рене Шара не столь уж и герметичны — надо лишь накренить под нужным углом грань магического кристалла, и в глубине его прояснится диалектическая даль.

Конечно, живая вода откровений боится ослепительного солнца и обнаруживает свое мерцание лишь в глубине ночного колодца — поэтому в его стихах так много Ночи и Недр.

Но эти ночные недра — вовсе не ледяное царство: в потаенном мире поэта «земля тепла, и милость нам явлена в корнях».

И смерть не противуречит жизни, и тень не противостоит свету — драматический надрыв их соития скорее исполнен умиротворения и тоже обнаруживает живое тепло: «станет тень и твоя *тепла*, словно этот сентябрьский клен».

Все мы побратимы, и все невозвратно и неостановимо ускользаем за горизонт под теплым грибным дождем, и всякая любовь обречена на крах, но эта неотвратимость не безысходна, а по-своему светла, ведь и рушась в бездну, оказываешься там, «где все, что было некогда любовью, как будто бы и не пресечено».

«Краткое совершенство», «чрезвычайное счастье» бытия и любви обречены и в то же время вечны, потому что зимняя трава дней наших, вытоптанная, но нагая, выше врагов и зеленее памяти.

Переводить Рене Шара отчаянно трудно и вместе с тем — по-своему просто. Трудно — потому что глубинный смысл каждого стихотворения *абсолютно* растворен у него в целостности текста и более того — в дыхании затекстового пространства, расплавлен в мерцающей амальгаме слов, речений и ритмов, а потому, чтобы добиться естественного *равнозначия,* переводчику здесь изначально приходится искать соответствий не на уровне слова или даже фразы, а в сфере едва ли не сверхтекстовых носителей поэтического смысла. Просто — ибо каждый (не скажем *удачный*, но хотя бы *приемлемый*) перевод его стихотворения буквально обречен быть не копией, а живым портретом оригинала, и, стало быть, переводчику нет нужды мучиться, выбирая между натужной близостью к подлиннику и творческой верностью его духу, — в этом слу-

чае как никогда справедливо замечание Ницше: «Бывает, что добросовестно выполненный перевод оборачивается чуть ли не фальсификацией оригинала, хотя бы уже потому, что не удалось сохранить его энергии...»

В жизни не переводил стихов, не написанных на испанском языке. Но боец французского Сопротивления Рене Шар показался мне самым испанским из всех европейских поэтов:

Гнездилось, трепетало и звучало
умолкшее, и сумеречный миг
плыл в бесконечность, где опять начало
венчало путь, упершийся в тупик...

□□□

Окно

Текучее стекло, стекающий кристалл
стеклянного дождя, оконный переплет...
Какой калейдоскоп любви перелистал
восторги и печаль, прозрачный лист и лед?
Две створки-близнецы. Ваш тайный монолит
давно в себя вдохнул мою траву и сон...
Я вас люблю. Я весь... Я до краев налит
свинцовой мукой, но — я все же невесом.

Пиренеи

Зарвавшейся земли отчаянный рывок
окаменел, взметнув гранитный жар и бред.
На этой высоте, сверкая, изнемог,
сам от себя устав, слепящий белый цвет.
На эту высоту мы смотрим лишь вприщур.
Ведь эта высота — не только бред и жар.
Она — из той страны, что каждый трубадур,
отвергнутый в любви, в ночи воображал.
Неумолимый снег слезинки не прольет.
Скули у ног его! Он жаждет свысока,
чтоб вымерзли дотла и обратились в лед
все, кто горел в огне зыбучего песка.

Виадук

Проходи.
Проходи. Роса
тяжким заступом пала ниц.
Нынче радовались голоса
перелетных ночных птиц.
Взмахом каменного крыла
трепет явственного сметен.
Станет тень и твоя тепла,
словно этот сентябрьский клен.
Взвившись вихрем, сущего суть
обнажила и жар, и раж.
Вот и вывел меня Путь
на Раскрестье моих Жажд.
Об корявый кремень руд
сколько душу себе ни рань,
притирает живой корунд
ко святящейся грани грань.

Ускользаем, не прекословь,
под грибным дождем, побратим...
Взрыв в реторте твоей, любовь,
был и вправду неотвратим.

Дедал

Кайло канючило: «Рой!»
«Коли!» — подначивал нож.
Мол, память мне всю смой.
Хаос мой, мол, стреножь.
Все, кто мне как родной,
все, кто меня клял,
сгорбились надо мной,
глядя мне в рот — в кляп.
Шорох моих шагов —
в зимней траве дней.
Выше она врагов.
Памяти — зеленей.

Ночь истины

Не будет звезд в зените,
а ветер будет лют,
и скажет ночь: входите,
вот вам и ваш приют.
И мы поймем, что это
в действительности так,
когда остаток света
совсем поглотит мрак.
Мигнет и станет слепо
фонарное стекло...
Ах, боже мой, у неба
лицо белым-бело!
Земля тепла, и милость
нам явлена в корнях,
в которых отразилась
любовь моя и крах.

Полной мерой

Когда костьми в земле нащупал лето
я сквозь осколки своего лица
и твоего — то все-таки все это,
любовь, еще не значило конца.
Врасплох захваченные странной новью,
мы под ногами ощутили дно,
где все, что было некогда любовью,
как будто бы и не пресечено.
Гнездилось, трепетало и звучало
умолкшее, и сумеречный миг
плыл в бесконечность, где опять начало
венчало путь, упершийся в тупик.
Ворсинки шерсти — щупальцами спрута,
но смерть не прорастала напоказ,
и два зрачка, мерцая в недрах смуты,
в самих себе соединили нас.
А счастье не сбывалось, ибо следом
— о нас живых — за нами шла молва.
Наперекор всем радостям и бедам —
нагая вытоптанная трава.

*К ****

Ты — мое головокруженье
столько лет у судьбы на сгибе,
что любви нашей не остудит,
не погубит и наша гибель.
Не смогло нанести урона
даже то нам, что лезло в щели,
ядом медленным приручая
к исчезаньям и возвращеньям.
Как за ставнями из самшита,
монолитом горного кряжа
наше краткое совершенство,
чрезвычайное счастье наше.
Счастье — ты, на меня однажды
осужденная на столетья.
Наши тайны поймут друг друга,
только их не постигнет третий.
И любой отголосок боли
изнутри ли, извне ли, свыше ль,
в теле нашего единенья
постепенно обрящет нишу.
И любая полоска света
в нашем облаке сыщет сердце,
разорвет его и вернет нам,
ставши нашим единоверцем.
Говорю, как чувствую: счастье.
Эти горы и эти ставни
я терпеньем преодолею,
когда завтра уже не станет.

***

Рудокопы невнятной речи,
не дает вам покоя мой
каждый жест, и вы каждый вечер
все воюете с немотой.
Вам неймется и в стужу злую,
и от солнца медовых сот,
и когда я ее целую
в непорочно безмолвный рот.
Странно зреют во мгле и брезжат
звуки тьмы, не срываясь с уст:
на мучительном побережье
шевелится невнятный куст.
Лжет рассвет, городам несущий
четко вызубренный пароль.
Все, что явственно, то не суще:
шерстью чувствую эту боль.

■

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

Дж.Д.СЭЛИНДЖЕР

Раз в неделю - тебя не убудет

РАССКАЗ

Перевод с английского И.БЕРНШТЕЙН

Он укладывал чемодан, не выпуская сигареты изо рта, и щурился, когда дым попадал в глаза, так что по его выражению нельзя было сказать, скучно ему, или страшно, или горько, или уже все равно. На лицо красивой молодой женщине, сидящей, как гостья, в глубоком темном кресле, упал луч утреннего света — но красота ее от этого не пострадала. Хотя всего красивее были, пожалуй, ее голые руки: загорелые, округлые и прекрасные.

— Миленький, — говорила она, — почему все это не мог сделать Билли, я просто не понимаю. Нет, правда.

— Что? — спросил молодой человек. У него был сипловатый голос заядлого курильщика.

— Я не понимаю, почему этого не мог сделать Билли.

— Он старый. Может, включишь радио? В это время дают неплохие записи. Попробуй на волне тысяча десять.

Молодая женщина отвела назад ту руку, на которой у нее было золотое обручальное кольцо, а рядом на мизинце — невероятный изумруд, что-то нажала, что-то повернула. И стала ждать, откинувшись на спинку кресла, но вдруг ни с того ни с сего зевнула. Молодой человек на минуту поднял на нее глаза.

— Нет, правда. Надо же им было назначить отправление на такое ужасно неудобное время.

— Я передам, — ответил молодой человек, перебирая стопку носовых платков, — что моя жена находит такое время отправления неудобным.

— Миленький, я правда буду по тебе ужасно скучать.

— И я тоже. У меня где-то должны быть еще белые носовые платки.

— Нет, правда. Просто возмутительно. Честное слово.

— Ну, ладно. Все, — молодой человек закрыл чемодан. Он прикурил новую сигарету, посмотрел на кровать и лег поверх одеяла...

И как раз когда он растянулся на кровати, лампы в приемнике разогрелись и в комнату хлынули победные трубные звуки — марш Сузы для необъятного духового оркестра. Его жена снова отвела за спину одну из своих роскошных рук и выключила радио.

— Я думал, передадут что-нибудь другое.

— Ну, не в такую безумную рань.

Молодой человек пустил к потолку кривое дымное колечко.

— Тебе необязательно было вставать, — сказал он ей.

— Но я сама хотела! — За три года она не отучилась разговаривать восклицаниями. — Не встать! Подумать только!

— Попробуй на пятистах семидесяти, — сказал он. — Может, там есть что-нибудь.

Его жена снова включила радио, и они оба стали ждать, он — с закрытыми глазами. Через минуту послышался какой-то вполне надежный джаз.

— Нет, правда, разве у тебя столько время, что ты можешь лежать?

— Столько времени. Да. Еще рано.

Его жене вдруг пришла в голову серьезная мысль.

— Я надеюсь, ты попадешь в кавалеры и получишь крест. Ты ведь так любишь ездить верхом! Ты непременно должен быть кавалером. Нет, правда.

— Кавалеристом, — поправил молодой человек с закрытыми глазами. — Вряд ли. Сейчас всех берут в пехоту.

— Вот ужас, миленький! Ну почему ты не хочешь позвонить тому человеку, знаешь, у него еще на лице такая штука? Полковнику. Мы с ним на той неделе были вместе у Фила и Кенни. Из разведки, помнишь? Нет, правда, ты ведь знаешь французский и даже немецкий и все такое. Во всяком случае, он бы тебе устроил производство в офицеры. Ты подумай, как тебе тяжело будет служить, ну, этим, рядовым! Ты ведь даже разговаривать с людьми не любишь. Честное слово.

— Пожалуйста, — сказал он, — не надо об этом. Я тебе все уже объяснял. Насчет производства в офицеры.

— Ну, по крайней мере, я надеюсь, что тебя отправят в Лондон. Нет, правда, там хоть есть культурные люди. У тебя записан номер полевой почты Бабби?

— Да, — солгал он.

У его жены возникла еще одна важная мысль.

— Мне бы какой-нибудь английский отрез. Твид, может быть, или еще там что-нибудь.

Но тут же она вдруг снова зевнула и сказала то, что ей не нужно было говорить:

— Ты попрощался с тетей?

Ее муж открыл глаза и резко, одним махом, сел, спустив ноги на пол.

— Вирджиния. Послушай. Я вчера не успел все сказать. Я хочу, чтобы ты раз в неделю водила ее в кино.

— В кино?

— Тебя не убудет, — сказал он. — Один раз в неделю — это не смертельно.

— Ну конечно, миленький, но...

— Без но, — сказал он. — Раз в неделю — тебя не убудет.

— Ну конечно же, глупый! Я только хотела сказать...

— От тебя не так много требуется. Она уже немолода, и вообще, сама знаешь.

— Но, миленький, ведь ей опять стало хуже. Нет, правда. Она такая... чокнутая, даже не смешно. Честное слово, ведь ты же не сидишь с ней дома целые дни.

— Ты тоже не сидишь, — сказал он. — А она совсем не выходит, если я ее куда-нибудь не поведу, не вытащу. — Он наклонился к самому ее лицу и едва не упал с кровати. — Вирджиния, раз в неделю — тебя не убудет. Я не шучу.

— Ну конечно же, миленький! Нет, правда, раз ты этого хочешь...

Молодой человек вдруг встал.

— Скажи, пожалуйста, на кухне, что можно подавать завтрак, — попросил он, направляясь к двери.

— Эй, служивенький, может, поцелуешь меня? — остановила его жена.

Он пригнулся, поцеловал ее дивный рот и вышел из комнаты.

Он поднялся на один пролет по широкой, покрытой толстым ковром лестнице и, на площадке повернув влево, дважды постучался во вторые двери. К створке была приколота гербовая карточка старого нью-йоркского отеля «Уолдорф-Астория» с типографской надписью: «Просьба не беспокоить», а сбоку приписка выцветшими чернилами: «Ушла подписываться на Заем Свободы. Скоро буду. Встреть вместо меня Тома — в шесть в вестибюле. Он держит левое плечо выше правого и курит прелестную короткую трубочку. Целую. Я». Записка предназначалась матери молодого человека, в первый раз он прочел ее, когда был еще маленьким, и с тех пор перечитывал раз сто. Перечитал он ее и теперь, в марте 1944 года.

— Войдите! — раздался деловой голос. И молодой человек вошел.

У окна за ломберным столиком сидела красивая дама лет пятидесяти с лишним в изящном кремовом пеньюаре и очень грязных белых спортивных тапочках.

— Ну-с, Дикки Кэмсон, — сказала она. — Что это ты поднялся в такую рань, лентяй ты этакий?

— Так, дела кое-какие, — ответил молодой человек, улыбаясь с облегчением. Он поцеловал ее в щеку и, держа одну руку на спинке ее кресла, скользнул взглядом по большому альбому в кожаном переплете, который был открыт перед нею.

— Как поживает коллекция?

— Чудесно. Просто чудесно. Этот альбом — ты его даже не видел еще, бессовестный ты мальчик, — я только что начала. Билли и кухарка будут отдавать мне все, что получают, и ты тоже мог бы сохранять для меня свои.

— Обыкновенные погашенные американские марки по два цента? Здорово придумано! — Он обвел взглядом комнату. — А как работает приемник?

Приемник был настроен на ту же станцию, что и у него внизу.

— Чудесно. Я сегодня утром делала гимнастику.

— Послушай, тетя Рена, я ведь тебя просил не делать больше эту дурацкую гимнастику. Честное слово, тебе же не под силу. Ну какой в этом смысл?

— Мне нравится, — твердо ответила его тетка и перевернула страницу альбома. — Мне нравится музыка, под которую их надо делать. Все старые мотивы... И уж конечно, было бы нечестно слушать музыку и не делать упражнений.

— Вполне честно, уверяю тебя. Ну, пожалуйста, не надо. Чуть поменьше принципиальности, — сказал молодой человек. Он походил немного по комнате, потом понуро уселся на подоконник. Внизу был парк, и он глядел туда, словно высматривал между деревьями, каким путем лучше подойти к сообщению о своем отъезде. Он мечтал, что вот будет хоть одна женщина в 1944 году, у которой перед глазами не высыпаются песочные часы чьей-то жизни. А теперь ему приходится и перед нею поставить такие часы — свои. Его подарок женщине в грязных спортивных тапочках. Женщине, собирающей погашенные двухцентовые американские марки. Женщине, которая была сестрой его матери и писала ей записки на карточках «Уолдорф-Астории»... Обязательно ли ей говорить? Обязательно ли ставить перед нею эти его дурацкие, быстро иссякающие блестящие песочные часы?

— Ты становишься в точности похож на свою мать, когда делаешь вот так лоб. Да, совершенно, как она. Ты ее хоть немного помнишь, Ричард?

— Помню. — Он задумался. — Она никогда не ходила по дому нормально, всегда бегом, а потом вдруг с разбегу остановится. И еще она насвистывала сквозь зубы, когда задергивала занавески у меня в комнате. Почти всегда один и тот же мотив. Я его помнил, пока был маленький, а вырос и забыл. Потом уже, в колледже, у меня был сосед по комнате из Мемфиса, он однажды заводил старые пластинки — Бесси Смит, — и там была одна песня, я чуть не умер: та самая, что любила насвистывать мама. Я сразу узнал. Называется, оказалось: «Не могу быть паинькой в воскресенье, раз я всю неделю сорвиголова». Но под конец семестра один тип, Альтриеви его фамилия, наступил на нее пьяный, я с тех пор так ее больше и не слышал. — Он примолк. — А больше я ничего не помню. Одна только чушь какая-то.

— А как она выглядела, помнишь?

— Нет.

— О, она была чудо как хороша, — тетя подперла подбородок худой изящной рукой. — Твой отец на месте усидеть не мог, когда мама выходила из комнаты. Кивал, как дурачок, если к нему обращались, а сам не сводил своих маленьких глазок с двери, за которой она скрылась. Странный он был человек и довольно-таки нелюбезный. Ничем не интересовался, только бы ему делать деньги да смотреть на твою мать. Да еще катать ее на этой своей жуткой яхте, которую он вздумал купить. У него была такая смешная английская матросская шапочка, от отца, он говорил, ему досталась. Мама всегда старалась ее спрятать, когда они собирались кататься.

— И это было все, что тогда нашли, да? — сказал молодой человек. — Эту шапочку?

Но глаза тетки уже упали на раскрытый альбом.

— Нет, ты только посмотри, что за прелесть! — воскликнула она, поднимая к свету одну из своих марок. — У него такое волевое лицо с перебитой переносицей, у Вашингтона.

Молодой человек встал и отвернулся от окна.

— Вирджиния сказала на кухне, чтобы подавали завтрак. Мне пора идти вниз, — проговорил он, но вместо того чтобы уходить, подсел к ломберному столику рядом с ней. — Тетя Рена, — сказал он, — послушай меня минутку.

Она подняла к нему умное, внимательное лицо.

— Тетя... э-э-э... понимаешь, сейчас война. Я... ты ведь видела киножурналы, верно? Ну, и там, по радио слышала...

— Разумеется.

— Ну и вот, я иду на войну. Я должен. Уезжаю сегодня, сейчас.

— Я так и знала, что ты должен будешь ехать, — сказала тетя просто, без паники, без горестных восклицаний: «Последний!» Замечательная женщина, подумал он. Самая умная, нормальная женщина на свете.

Молодой человек встал, оставляя перед нею свои песочные часы словно бы невзначай — единственный верный путь.

— Вирджиния будет часто навещать тебя, детка, — сказал он ей. — И водить тебя в кино. В «Саттоне» на той неделе пойдет старая картина Филдса. Ты ведь любишь его фильмы.

Тетка тоже поднялась, но шагнула не к нему, а мимо.

— У меня есть для тебя рекомендательное письмо, — деловито сказала она на ходу. — К одному моему близкому другу.

Она подошла к письменному столу, не раздумывая, выдвинула левый верхний ящик и вынула белый конверт. Потом вернулась к столику, где лежал ее альбом с марками, а конверт сунула в руку племяннику.

— Оно не запечатано, — сказала она. — Можешь прочесть, если захочешь.

Молодой человек рассмотрел белый конверт. Он был адресован некоему лейтенанту Томасу Э. Кливу-младшему. Почерк — тетин, волевой и четкий.

— Том — замечательный юноша, — сказала она. — Служит в шестьдесят девятой дивизии. Он за тобой присмотрит, я совершенно спокойна. — И добавила многозначительно: — Я еще два года назад знала, что так будет, и сразу же подумала про Томми. Он отнесется к тебе исключительно участливо. — Она снова обернулась, на этот раз немного растерянно, и уже не такой решительной походкой возвратилась к письменному столу. Выдвинула еще какой-то ящик, вынула большую застекленную фотографию молодого человека в лейтенантской форме образца 1917 года, с высоким стоячим воротником.

Неверными шагами подошла к племяннику и протянула ему фотографию.

— Вот его портрет, — пояснила она. — Вот портрет Тома Клива.

— Мне уже пора, тетя, — сказал молодой человек. — До свидания. У тебя ни в чем не будет нужды. Ни в чем, увидишь. Я напишу тебе.

— До свидания, мой милый, милый мальчик, — сказала тетка и поцеловала его. — Смотри непременно разыщи Тома Клива. Он за тобой присмотрит, пока ты устроишься и все такое.

— Да, да. До свидания.

— До свидания, дитя мое, — рассеянно повторила его тетка.

— До свидания.

Он вышел за дверь и, едва держась на ногах, спустился по лестнице. На нижней площадке он вынул из кармана конверт и разорвал его пополам, потом еще пополам и еще пополам. И, не зная, что делать с комком бумажек, сунул в карман брюк.

— Миленький. Завтрак совершенно остыл! Яичница твоя и вообще все.

— Ты вполне можешь водить ее раз в неделю в кино, — сказал он. — Тебя не убудет.

— А я разве что говорю? Разве я отказываюсь?

— Нет.

И он прошел к столу.

■

ТИМОТИ ФИНДЛИ
Камни

РАССКАЗ

Перевод с английского КСЕНИИ СОКОЛОВОЙ

Мы жили на самой окраине Росдейла, с худшей стороны Йонг-стрит. По крайней мере, именно так нам тогда казалось. Стоило пересечь трамвайные пути, как вы оказывались совсем в другом мире.

Однажды в сентябре Рита, моя сестра, пригласила девочку из центра Росдейла зайти к нам после школы. Девочку звали Эллисон Притчард, она жила на Клюни-драйв. Когда моя мать спросила по телефону миссис Притчард, может ли Эллисон остаться на ужин, та ответила, что, на ее взгляд, этого делать не подобает. Так обычно говорили в Росдейле: очень вежливо, холодно и обиняками.

На нашей стороне — западной стороне Йонг-стрит, — обосновались торговцы, и именно в этом состояла разница между нами и остальными жителями Росдейла. Люди из общества не хотели жить среди лавочников.

Наш дом стоял на Гибсон авеню, в тупике, через дорогу от парка. Перед окном моей спальни зимой была хоккейная площадка, а летом футбольное поле. Мой брат Сай был там звездой. Я не был. Зато я хорошо управлялся с трехколесным велосипедом.

На углу располагалась антикварная лавка, а напротив — магазин, торгующий разными мелочами. Здесь можно было потратить карманные деньги на грошовые сласти, эскимо и апельсиновый напиток, который я называл «стабби». «Стабби» подавали в коротких пузатых бутылках, и, не говоря уже обо всем остальном — тонком запахе апельсина и оранжевых пузырьках воздуха, — было удивительно приятно двумя руками поднести напиток к губам и выпить его залпом.

Дальше по Йонг-стрит, за антикварной лавкой, следовали «Женская пекарня», «Бакалейная торговля Адама», «Оскар Шикель, мясник» и за ним — «Цветочный магазин Макса». Наш магазин. Отец и мать, повязав зеленые фартуки, стояли за прилавком или, сидя в холодной задней комнате, делали венки для похорон, свадебные букеты и букетики для корсажа, которые девушки прикалывали на танцах в отеле «Король Эдуард». Отставной полковник Мэтисон заходил к нам каждое утро, по дороге в город, выбрать себе бутоньерку из красных гвоздик: вазу с гвоздиками моя мать держала на прилавке, возле кассы. Однажды, когда мне было четыре года, я привел родителей в неописуемое смущение, показав на большой красный нарост, украшавший кончик носа полковника Мэтисона. «Нарост» являл собой не что иное, как следствие чрезмерного пристрастия полковника к джину.

Из предвоенных лет моя память сохранила несколько настоящих зим. Холодных, со снегом и запахом дыма от угля и дров, мешавшегося с запахом хлеба и домашнего печенья из «Женской пекарни». Дым от угля поднимался из наших печей, а дым от дров, в основном кленовых и березовых, плыл к нам из труб Росдейла, где камины были, кажется, в каждой комнате.

Лето всегда пахло скошенной в парке травой и горячим гудроном, которым дорожные бригады без конца заделывали колдобины на Йонг-стрит. В те годы жара летом стояла фантастическая, о ней потом рассказывали легенды. Раз мистер Шикель, мясник, я помню, поджарил яйцо на тротуаре перед собственной лавкой. Мой отец, который хорошо относился к мистеру Шикелю, поспорил на букет роз, что у того ничего не выйдет. Со своей стороны, мистер Шикель, помнится, поставил свиные отбивные с тонко обрезанной каемочкой жира. Когда яйцо начало шипеть, отец хлопнул себя по бедру, присвистнул и послал мою сестру Риту за цветами. Мистер Шикель, однако, был человеком благородным и, поместив выигрыш в окне мясной, присовокупил карточку с надписью: «Благодарю «Цветочный магазин Макса» за дюжину роз».

«Великая депрессия» отразилась на всех нас, но на тех, кто привык жить в относительной бедности, как обитатели западной стороны Йонг-стрит, она не оказала столь обескураживающего действия, как на жителей Росдейла. Там люди привыкли иметь деньги и не тратить усилий, чтобы их заработать, поэтому они гораздо труднее приспосабливались к лишениям, с которыми столкнулись впервые в жизни.

©Pebble Productions Inc., 1988.

Я также вспоминаю бродяг, которые в те годы, кажется, все время стояли под дверью и спрашивали, нет ли для них какой-нибудь работы — вынести золу, подмести перед лавкой или сложить корзины и ведра, в которых отец носил цветы с рынка и из теплицы, — за обед или за цену обеда. Так проходила наша жизнь до августа 1939 года, когда мне исполнилось пять лет. Я думаю, в жизни каждого человека есть свои «демаркационные линии», свои широты и долготы, разделяющие время. Иные из них отмечают события, имеющие значение для всех, другие относятся к внутренней, сокровенной жизни человека. Но конец лета 1939 года — это линия, оставшаяся в памяти каждого из живших тогда. Нас всех вместе словно бы швырнули в кипящий котел насилия, из которого выбраться невредимыми суждено было лишь немногим. Остальные погибли.

Отец ушел в армию еще до начала войны. Однажды он поехал в город и не вернулся к ужину. Я заметил, что он не взял наш грузовичок, а уехал на трамвае. Я спросил у мамы, почему отец в будний день надел костюм, и она ответила: «Потому что сегодня особенный день». Больше она ничего не сказала.

За столом мой брат Сай, которому было в то лето девять, поглощая суфле и салат, говорил о нью-йоркской Всемирной ярмарке и картинках будущего, которые он видел в журналах. Большая всемирная ярмарка поражала наше воображение новейшими приборами, самолетами и машинами. Все это было «обтекаемым» в тридцать девятом; линии дизайна были такими, словно все мы вдруг собрались лететь в космос. В начале того лета в Канаду приезжали король и королева Англии. Их вез такой вот обтекаемых линий поезд, локомотив которого был столь изящным и гладким, что казалось, будто он затянут в серебряную перчатку. По дороге в Торонто король с королевой проезжали прямо по Йонг-стрит. С позволения семьи Дарроу, жившей над нашим цветочным магазином, мы прямо с крыши смотрели на парад: на Королевскую конную полицию и оркестр «Черной стражи», на короля и королеву, одетых во все бело-голубое и сидящих в открытом бьюике «маклоклин», собранном, по словам Сая, «прямо у нас, в Канаде!». На один краткий миг, пока эти символы, олицетворявшие всех нас, шествовали перед нами, два сообщества людей, живущих по разные стороны Йонг-стрит, вдруг объединились, захлестнутые волной приветственных криков и аплодисментов. Но как только король с королевой уехали, лента Йонг-стрит опять разделила нас. Пошел дождь.

Так вот, за столом Сай и Рита делили то, что осталось на блюде с суфле. Сай придерживался классических представлений о том, что все содержимое блюда должно принадлежать ему, как старшему. Также он полагал, что девчонки — существа во всех отношениях второстепенные. Рита, которой вечно хотелось есть, но мало что доставалось, подобных представлений не разделяла и готова была бороться с Саем до конца, когда за столом не было родителей. Но сейчас мама прервала их спор, сказав, что суфле со всеми вкусными кусочками сыра и яйца останется папе.

Спустя некоторое время отец все-таки вернулся, но сказал, что не голоден и что хотел бы остаться наедине с мамой.

Через полчаса нас позвали в гостиную из кухни, где мы мыли посуду и собирали остатки еды. Я, которого в детстве мама называла «кроликом», опорожнял салатницу, набивая рот латуком, помидорами и дольками лука так, что едва не задохнулся. Мы все, с крошками еды на губах и полотенцами в руках, вошли в гостиную: трое маленьких папиных детишек — Сай, Рита и Бен. Он оглядел нас с гордостью, которую никогда не умел скрывать, его глаза улыбались, но твердо сжатые губы изображали безразличие. Теперь я почти с тревогой понимаю, что моему отцу тогда было всего двадцать семь лет. Мне сейчас уже вдвое больше.

— Дети, я иду в армию, — сказал он, по обыкновению чинно, так, словно обращался к покупателям. — Я буду солдатом.

Перед тем как мы вошли, мама плакала, но вытерла слезы — она никогда не позволяла себе плакать в нашем присутствии. Она просто молча улыбалась. Минуту спустя мама вышла из комнаты и через кухню прошла в сумеречный сад, где опустилась в свой любимый шезлонг, поставленный среди цветов.

Сай вопил от удовольствия. Его интересовало, продлится ли война до того, как он станет взрослым и отправится к папе на фронт.

Отец, я помню, говорил ему, что война еще не началась и что его, отца, сейчас забирают в армию именно затем, чтобы нам с Саем не пришлось воевать.

— В этом не будет необходимости, — сказал он.

Сай был ужасно разочарован. Он умолял отца сделать что-нибудь, чтобы война продлилась до 1948 года, когда ему исполнится восемнадцать.

Отец только смеялся в ответ.

— Война, — сказал он, — кончится в сороковом.

Я вышел в сад к маме.

— Что будет с нами, когда он уйдет? — спросил я.

— Ничего, — сказала она. И добавила: — Подойди ко мне.

Я подошел и прижался к ней. Она обняла меня за плечи, и я почувствовал, как пахнут розы в саду. Темнело.

— Посмотри, сколько звезд на небе, — сказала она. — Может быть, ты их сосчитаешь?

Так она обычно старалась отвлечь мое внимание, если не хотела отвечать на мои вопросы. Она предлагала мне сосчитать звезды или прорыть тоннель до Китая. «Лопата в сарае, — говорила она тогда. — Ты начинай, а я потом присоединюсь». Как будто мы должны были побывать в Китае и вернуться обратно к ужину.

Но той августовской ночью 1939 года я не хотел попадаться на эту приманку. Я не хотел копать землю, чтобы добраться до Китая, и я не хотел считать звезды. Я пытался докопаться до Китая столько раз и сделал столько ям во дворе, что понял: мне никогда не попасть в Китай; это очень, очень далеко. Мама каким-то образом дурачила меня. То же самое и со звездами.

— Я уже считал их вчера, — сказал я. — И позавчера.

— Да? — сказала она, и я почувствовал, как она вся напряглась, хотя старалась говорить непринужденно. — Тогда скажи мне, сколько же их?

— Двенадцать, — ответил я.

— Ах, — произнесла она и вздохнула. — Всего двенадцать. А я думала, их гораздо больше.

— Я хотел сказать — двенадцать зиллионов, — авторитетно заявил я.

— А-а, я понимаю, — сказала она, — и что же, ты сосчитал их все?

— Ага.

Она помолчала. А потом сказала:

— А ты не забыл вон ту?

Через неделю началась война. Но мой отец тогда уже был в армии.

14 февраля 1943 года отец вернулся. Он пришел домой с войны. Это произошло в воскресенье, и я помню, в нашем доме стояла такая тишина, что казалось, будто она окутывает весь город. Слышно было только, как щебечут воробьи в кронах деревьев.

Мы отправились встречать отца в центр, туда, где обычно бывали выставки. Дорога на трамвае заняла бы у нас всего час. Но мама, не скупясь на расходы, наняла машину с шофером, на которой мы все вместе должны были вернуться домой. Машина, я помню, смущала меня. Я боялся, что кто-нибудь из моих друзей увидит, как я еду в этом автомобиле.

Нас известили о том, что члены семей возвращающихся солдат будут иметь возможность присутствовать на церемонии их встречи. Мне кажется, это происходило в том здании, которое сейчас используется для Зимней королевской ярмарки и конных выставок. Я не помню, как называлось это сооружение, и не намерен наводить справки. Достаточно того, что я был там тогда. Хватит и одного раза.

Мы сидели на трибуне вместе со всеми — Сай, Рита, мама и я. Там тогда находилось более тысячи людей, которые мечтали хотя бы краем глаза увидеть тех, кого любили. Это были родители, дети или жены возвращавшихся с войны солдат. Мне было восемь лет, почти девять в феврале того года, и мне казалось, что это никогда не кончится. Время было словно болото, которое другие дети преодолевали одним прыжком, тогда как я увяз в нем настолько, что едва мог вытащить ногу. Я ненавидел свои восемь лет и терпеть не мог девять. Я хотел, чтобы мне было десять, потому что десять лет казались мне единственно достойным детским возрастом. Саю в десять лет было присуще то немногословие, которое тогда приводило меня в восторг. Рита, которой было десять и скоро должно было исполниться одиннадцать, также обрела свой отдельный и таинственный мир и уединялась там — иной раз за закрытыми дверями. Молчание было знаком доблести.

Едва ли в тот день была причина для всеобщего ликования. Так или иначе война искалечила всех, кто теперь возвращался. Их раны, как нас уже предупредили, будут еще долго причинять им страдания, а их дух, о чем мы также были предупреждены, совершенно сломлен за долгие месяцы тяжелого выздоровления. Итак, нашей задачей было поднять их дух и облегчить физические страдания. Но главное, им нельзя было дать почувствовать, что теперь они навсегда отторгнуты от общества. Не нужно глазеть на человека, у которого нет лица.

Раны нашего отца оказались гораздо серьезнее, чем мы предполагали. Нет, на его теле не было ни царапины, но глубоко внутри он был совершенно уничтожен. У него были признаки частичного умственного расстройства, и он был совершенно подавлен психически. Никто не сказал мне тогда, что именно с ним произошло. Никто не сказал

мне: «Больше никогда он не будет добрым». Никто не сказал мне: «Он никогда уже не сможет заснуть без дозы спиртного». Никто не сказал мне: «Он попытается убить твою мать». Никто не сказал мне: «Ты будешь смотреть на него и не узнавать его». Позже оказалось, что все обстоит именно так.

Я никогда не видел военных парадов без оркестра. Это выглядело потрясающе, почти жутко. Два или три офицера вышли вперед, в центр овала. Кто-то начал выкрикивать команды, и мы услышали, как старший сержант, которого еще не было видно, отсчитывает шаги.

Я ждал барабанов. Я думал, что затрубят горны. Конечно же, этот нездешний, неумолимый звук марширующих по глухому песку ног — всего лишь вступление к тому моменту, когда все встанут, закричат «ура» и вовсю грянет музыка. Но нет. Мы все встали — это правда — в ту минуту, когда первая колонна, обогнув деревянный угол трибун, появилась перед нами. Один или, может быть, двое зажали руками рот, так, словно хотели сдержать крик, но большинство людей просто молча стояли, смотрели и не верили своим глазам.

Некоторых мужчин поддерживали медицинские сестры. Все они были мертвенно-бледны, а краски их ран и кровоподтеков казались ослепительно яркими и как будто ненастоящими. Это была смесь желтой плоти и коричневых шрамов, багровых рубцов и чернеющих струпьев. Многие были в повязках, кое-кто в гипсе или с рукой на перевязи. Некоторые опирались на трость или костыли. Пострадавшие от огня были в круглых матерчатых шапочках и рубахах без воротника. Их лица и другие участки кожи, не закрытые бинтами, лоснились от мазей.

Понадобилось очень много времени для того, чтобы все эти мужчины и женщины — а их было более двухсот — вошли в здание и встали внутри овала. Они были построены в колонны — несколько длинных шеренг, в которых, как знаки препинания в строке, стояли медсестры. Голоса старшины и начальника строевой части, который принимал парад, терялись под крышей здания, а высоко над нашими головами голуби и воробьи носились между балками и стропилами. Я все еще не видел отца.

Наконец, не в силах больше сдерживать волнение, я стал теребить мамин локоть и зашептал, что не вижу отца.

— Вон он, там, — сказала она, глядя на меня сверху вниз, и рукой без перчатки повернула мою голову в нужном направлении. — Только не надо пока ничего говорить. Может быть, он не знает, что мы пришли.

Моего отца всегда можно было узнать по его необыкновенному росту. В нем было шесть футов и четыре дюйма [1], и он казался мне великаном. Но сейчас он выглядел ниже тех шести мужчин, которых мы видели рядом с ним. Отец стоял, опустив голову, хотя один или два раза он вскидывал подбородок, когда слышал команду. Раньше он всегда держался очень прямо, но теперь его плечи словно обмякли, он сильно сутулился. Его шея стала такой тощей, что мне показалось, будто кто-то отхватил от нее половину. Я посмотрел на отца очень внимательно, затем взглянул на маму.

Ее лицо было обращено к нему, но глаза закрыты — она не могла смотреть.

Той ночью, когда мы все разошлись по своим комнатам, но ни один из нас не мог уснуть, я спросил у Сая:

— Что это было?

— Что?

— Ну, то, что случилось с папой...

Сай помедлил секунду, а потом сказал:

— Дьеп.

Я не понял. Я подумал, что это какая-нибудь новая болезнь.

На следующий день нам велели ничего не рассказывать в школе о том, что отец вернулся. Никто не объяснил нам причин подобной таинственности. Надо сказать, мы были крайне разочарованы. Другие дети, чьи отцы возвращались из-за океана, были всегда в центре всеобщего внимания. Учителя, сияя улыбками и одобрительно покачивая головами, поздравляли их так, словно они выиграли какой-нибудь приз. Одноклассники засыпали вопросами: «А как он выглядит? Ты видел его раны? А сколько немцев он убил?» Но нам никто не задал никаких вопросов. Спросили только, что мы делали в выходные.

— Ничего.

В понедельник отец целый день оставался наверху. Спальня наших родителей находилась на втором этаже, прямо над гостиной. Комната, в которой жили мы с Саем,

[1] 6 футов 4 дюйма = 190,16 см. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

также располагалась непосредственно под спальней родителей. До поздней ночи мы слышали, как мама, пытаясь успокоить отца, снова и снова повторяла, что все будет хорошо.

Мы не могли до конца разобрать слов, но этот ее тон мы прекрасно знали. Именно так она говорила с нами, когда утешала кого-нибудь из нас, уверяя, что все боли, горести и страдания в конце концов пройдут.

Так как мы не могли пренебречь выручкой от продажи хотя бы одного цветка — будь это та единственная роза, которую раз в неделю покупала Эдна Холмс своей больной сестре, или бутоньерка полковника Мэтисона, — мама уговорила жену бакалейщика, миссис Адамс, присмотреть за лавкой, поскольку она сама примерно каждый час будет отлучаться домой, «только туда и обратно», посмотреть, не требуется ли чего отцу. Лишь позднее мы, дети, узнали, что в действительности «требовалось отцу». Он пил, более или менее непрерывно, все время, пока бодрствовал; и маминой задачей было, во-первых, попытаться накормить его, так как от еды он отказывался, и, во-вторых, убедиться, что от его сигареты или спички еще не загорелся дом.

В среду, около двух часов пополудни, отец впервые покинул свое укрытие. Мы все, как обычно, были в школе, поэтому я рассказываю о том, что произошло, с маминых слов. Придя домой в два часа, она обнаружила, что отец спустился вниз и стоял в коридоре, полностью одетый в гражданский костюм. Когда мама вошла, он уже надевал шинель. Она рассказывала мне, что прежде всего ей бросилось в глаза то, что отец был абсолютно трезв. Он сказал, что хочет пройтись по улице и посмотреть магазин.

— Но тебе нельзя надевать шинель, Дэвид, — сказала мама.

— Почему?

— Потому что ты в гражданской одежде. Так ходить не разрешается. На прошлой неделе за это арестовали человека.

— Меня не было здесь на прошлой неделе, — сказал отец.

— Однако, — продолжала мама, — его арестовали потому, что так ходить запрещено.

— Но я солдат! — закричал отец.

Все время, пока продолжалась эта сцена, моя мать вела себя со всей осторожностью и тактом, на какие только была способна. Человек, которого арестовали, был дезертиром. В ту зиму дезертиров становилось все больше и больше. Начались демонстрации протеста. Люди кричали: «Долой короля!»— и освистывали флаг Соединенного Королевства. У здания масонской ложи на Йонг-стрит и у Королевского дворца в Саннисайде собирались группы молодых людей, именовавших себя «зомби». Некоторые из них носили форму, так как были членами местного ополчения, то есть резервистами, которым при поступлении на службу было обещано, что их не отправят за океан. Может, войну они и не одобряли, но драться им нравилось точно. Слоняясь возле танцзалов и не находя другого случая выказать свое мужество, они приставали к танцевавшим там военным, предлагая им выйти и «продемонстрировать, чего те стоят в драке». Во время этих стычек, случалось, убивали людей. И количество подобных случаев все время росло. Правительство было полно решимости прекратить эти инциденты до того, как они распространятся по всей стране. Это были тяжелейшие дни войны, и моральное состояние людей, как в армии, так и среди мирного населения, находилось в самом глубоком упадке. И если бы тогда мой отец появился на улице в военной шинели поверх гражданского костюма, то был бы немедленно арестован как «зомби» или дезертир. Наши соседи тут же сдали бы его властям, независимо от того, кто он. Вот до чего доходил наш патриотизм.

— У меня нет пальто, — сказал отец. — И не предлагай мне надеть форму, потому что я ее не надену. Она провоняла потом, я ненавижу ее.

— Да, но так ты не пойдешь, — сказала мама. — Об этом и речи быть не может. Лучше пойдем-ка на кухню, я приготовлю тебе сандвич...

— Да не нужен мне твой сандвич! — заорал отец. — Я хочу увидеть магазин!

С этими словами он сорвал с себя шинель и швырнул на ступеньки. И прежде чем мать успела остановить его, он выскочил за дверь и сбежал вниз по лестнице.

Мама, как была, в зеленом фартуке, без пальто, бросилась вслед за ним.

Что подумают соседи? Что они скажут? Как она объяснит им все это?

Когда мама добежала до тротуара, отец был уже почти на углу. Но, выйдя на Йонг-стрит, она немного успокоилась, так как увидела, что отец еще не вошел в магазин. В нерешительности стоя перед дверью, он пристально разглядывал витрину мясника.

— Что это такое? — спросил он, когда мама наконец догнала его.

Сначала она не поняла, что он имеет в виду.

— Где мистер Шикель, Лилли? — спросил отец.

Она уже совсем забыла об этом.

— Мистер Шикель уехал, — ответила она, стараясь, чтобы голос не изменил ей. При этом она пыталась увести отца подальше от витрины мясника к их собственному крыльцу.

— Уехал?! — вскричал отец. — Но он ведь только что заплатил по закладной! А что это за чертов самозванец, Рейли?

— Рейли?

— Да, Артур Рейли, чертов мясник! — отец указал на новую вывеску, которая теперь заменила прежнюю, «Оскар Шикель, мясник».

— Мистер Рейли здесь уже с начала зимы, Дэвид. Разве я не писала тебе?

Она отлично знала, что не писала ничего подобного.

Прищурившись, отец рассматривал тонко нарезанные куски мяса, разложенные за стеклом витрины.

— Что случилось с Оскаром, Лилли? Расскажи мне.

И тогда ей пришлось рассказать ему обо всем.

Фамилия мистера Шикеля долго мозолила глаза жившим напротив обитателям Росдейла. И вот однажды кто-то с Парк-роуд бросил камень в его витрину.

Вот и все.

— Но ведь Оскар не немец, — прошептал отец. — Он — канадец!

— Да, Дэвид, но у него немецкая фамилия.

Отец стоял, приложив пальцы к стеклу, и молчал.

Наконец она потянула его за руку:

— Пойдем домой, Дэвид. Ты увидишь магазин завтра.

Но отец с очень сосредоточенным выражением лица водил пальцем по пыльному стеклу витрины лавки Оскара Шикеля.

— Дэвид, что ты делаешь? — спросила мама.

— Ничего, — был ответ. — Просто называю вещи своими именами.

Затем он отступил на шаг и сказал:

— Теперь мы можем идти.

Вот что мой отец написал на стекле мясной лавки: «Оскар Шикель — отсутствующий владелец».

Мама рассказывала, что, как только они с отцом повернули за угол, миссис Рейли выбежала на улицу и вымыла стекло.

Это был, пожалуй, единственный достойный поступок моего отца вплоть до самой его смерти. Все остальное — сплошной кошмар.

Я никогда не бывал в Дьепе. Я видел этот город на фотографиях. Я читал все книги о нем и слышал все рассказы. Сражение, в котором пострадал мой отец, произошло в августе 1942 года, то есть примерно за шесть месяцев до его возвращения. Много позже, уже в зрелые годы, мне приходилось видеть дьепское сражение в документальных фильмах и кадрах кинохроники, которые, однако, я мог смотреть лишь после того, как Сай и Рита просматривали их. Дело в том, что я все время боялся внезапно увидеть отца, боялся, что в какой-нибудь самый страшный момент он вдруг в упор взглянет на меня с экрана. Я не хотел видеть того, что с ним произошло. Итак, я видел все фотографии, книги и фильмы, но я никогда не видел город Дьеп, до того самого майского дня 1987 года, когда привез туда прах моего отца.

Перед тем как перейти к окончанию этого рассказа, я должен оговориться, что меньше всего моей целью сейчас является сентиментальное описание ветреных просторов скалистого побережья и горстки пепла, на секунду радугой вспыхнувшего над камнями, прежде чем ветер развеял его над морем. Если же вы хотите услышать что-либо подобное, то я могу сообщить, что именно так все выглядело в тот день, когда мы: мой брат Сай, моя сестра Рита и я — пришли к океану и, войдя в него, развеяли прах нашей матери над Атлантикой. Это происходило в Новой Шотландии, к югу от Луненберга, где родилась мама. Тогда вокруг нас словно бы звучала музыка и мы радовались тому, что наша мать наконец обретала свободу, ибо жизнь стала для нее невыносимой. Но в Дьепе, когда я высыпал из конверта прах моего отца, я не чувствовал радости. Никакой.

У меня было такое ощущение, словно я принес тело отступника в святое место и положил его среди истинно верующих. Но все же ведь именно этого хотел мой отец, и как бы я смог отказать ему? Ни Рита, ни Сай не сделали бы этого для него. «Умер, — сказали они мне, — и слава Богу».

Итак, это должен был сделать я.

Я всегда знал меньше других. Я всегда был самым любопытным. Пока я был ребенком, мне ничего не говорили о том, что произошло с отцом, кроме, пожалуй, самого слова «Дьеп». И вот, возможно, потому, что я знал меньше, чем знали все остальные, и, кроме того, будучи младшим в семье, казался отцу самым наивным и послушным, я чаще других привлекал его внимание.

Он начинал свои тирады после долгого молчания — молчания, о котором нас предупредили еще в день его возвращения. Отец сидел за столом, ел рыбу и пил пиво из стакана. Пиво было цвета темного золота.

Окно нашей столовой выходило на запад. Поэтому зимой лучи заходящего солнца попадали отцу прямо в глаза.

— Занавеска, — говорил он себе в тарелку и тыкал вилкой в мою сторону. Если я не понимал его из-за того, что рот у него был набит, мать тянула меня за рукав.

— Занавеска, Бен, — говорила она, — папины глаза.

— Сейчас, мам. — Я бросался задергивать занавеску.

Затем, не успевал я вновь сесть за стол, как отец, опять обращаясь к тарелке, бормотал:

— Свет...

И я снова вставал и включал свет. Потом, когда я наконец усаживался, он поднимал на меня глаза и говорил без всякой злобы в голосе:

— Слушай, почему ты не пошлешь меня в задницу с этой занавеской?

Легко понять, почему я ничего не отвечал отцу, если вспомнить, что раньше, до его отъезда, наиболее сильным выражением его чувств в нашем присутствии были восклицания вроде «Боже мой!» или «О, господи!». Лишь однажды он воскликнул: «Черт подери!», когда чуть было не отрезал себе ножом палец. Но тогда он не знал, что его кто-то слышит. От слов, которые он говорил теперь, и особенно за столом, на меня просто нападал столбняк.

Иногда Сай или мама пытались вмешаться; он обрывал их еще более грубо. И снова переключал свое внимание на меня. Он призывал меня не повиноваться ему, хамить, даже открыто его поносить, обзывая самыми оскорбительными словами, каким сам же меня учил. И хотя я, конечно, не делал ничего подобного, тем не менее он продолжал настаивать на своем, уговаривая, почти умоляя меня.

Однажды ночью он пришел в спальню, где я занимал верхнюю койку нашей с братом двухъярусной кровати. Он подошел ко мне и заорал: «Будешь ты защищаться или нет?!» Затем, сорвав с меня одеяло, он сбросил меня с кровати на пол — так что, упав, я ударился о комод. Все произошло в полной темноте; и только в отделении экстренной помощи больницы Уэллзли, куда мама привезла меня на грузовичке, врачи сказали, что у меня сломана ключица. Я слышал, как мама ответила: «Да, он упал с кровати».

Мы все, даже я, готовы были защищать отца. Но, увы, сам он вовсе не хотел защищаться. По крайней мере, именно так нам казалось до тех пор, пока однажды в нашем магазине не появился другой ветеран Дьепа, на которого отец набросился с садовыми ножницами, пытаясь выставить его за дверь. Но, судя по всему, поведение отца нисколько не испугало этого человека. Скинув куртку, он швырнул ее отцу прямо в лицо, крича при этом:

— Трус! Трус! Трусливый негодяй!

Потом он повернулся и ушел. Победителем.

Мама, которая была уверена в том, что приедет полиция, опустила шторы и закрыла магазин до конца дня.

Но это было еще не все. Собрав нас на веранде, мама велела Саю открыть банку свинины с фасолью и приготовить то, что она называла «домашней запеканкой». Когда мы поужинали на кухне, она вручила Саю долларовую бумажку, взятую из кассы, чтобы он повел нас в городской театр, где показывали фильм с Эбботом и Костелло [1]. Во всем этом не было ничего необычного. Но мы уже знали — наш отец сошел с ума.

Было лето, и я помню, что, когда кино кончилось и мы вышли на улицу, от тротуаров поднимался горячий воздух, а вокруг стоял запах жареного арахиса и кукурузы. Сай сказал:

— Наверное, пока что не стоит идти домой.

Почти час мы бродили по Йонг-стрит, обсуждая, что будем делать дальше; и наконец решили, что подойдем к дому и послушаем, не кричат ли внутри.

На Гибсон авеню было всего около двадцати домов, большинство из которых соединялись попарно общей стеной. Все они выходили фасадом на южную сторону, в парк. В тот вечер на верандах и балконах сидели наши соседи. Они пили пиво из кофейных чашек, обмахиваясь бумажными тарелочками и сложенными вчетверо листами «Дейли стар». Они пили из чашек, хотя явно пахло пивом — в те времена публичное распитие алкоголя было строжайше запрещено законом. Но то, что удалось скрыть, как бы перестает существовать.

Проходя мимо соседей, мы чувствовали, что все они: Мэтлоки и Уиллеры, Конрады и Болты — смотрят на нас; и мы знали, что они думают: «Вот идут дети Максов, а их отец Дэвид Макс сегодня пытался зарезать человека садовыми ножницами у себя в магазине».

[1] Эббот и Костелло — знаменитая в 30-х годах пара американских комических киноактеров.

— Здравствуй, Сай.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, Бен и Рита.
— Привет.
— Спокойной ночи.

Мы подошли к дому и встали напротив. Казалось, что внутри все тихо и спокойно. На первом этаже, как всегда, горел свет. Играло радио. Чей-то голос пел: «Восславьте Господа и раздайте патроны!»

Сай поднялся по ступенькам и повернул ручку двери. Он был смелый, я всегда это знал. Нам с Ритой он велел ждать на веранде.

Прошло две минуты, а может быть, пять или десять. Наконец Сай вернулся. Лицо его было совсем белым, голос охрип. Однако Сай не дрожал. Он сказал:

— Можете войти. Я позвоню в полицию.

Отец пытался убить мать молотком. Когда мы вошли, она лежала на диване. Кисти ее рук были все разбиты: она защищалась от ударов.

Отец исчез. На следующий день он сам явился с повинной, потому что, как он объяснил врачам, пришел в себя. Его поместили на полтора года, то есть почти до конца войны, в психиатрическую лечебницу на Куин-стрит. Нам, детям, не разрешалось приходить туда, но мама была у него спустя полгода после описанных событий. Она рассказывала мне потом, как они сидели в длинной серой комнате с решетками на окнах. На отце был больничный халат, лицо давно не брито. Мама говорила мне, что он не мог поднять на нее глаза. Она сказала отцу, что все ему простила. Но сам он никогда себе не простил. С тех пор она никогда больше не видела его глаз.

Спустя две недели после того, как мой отец пытался убить мою мать, в окно «Цветочного магазина Макса» влетел кирпич, на котором желтой краской было выведено одно слово: «Убийца».

Мама сказала:

— Дальше так продолжаться не может. Я должна вам все рассказать.

Так мы узнали, что произошло с отцом в Дьепе.

Мать знала все с самого начала. И я сильно подозреваю, что Сай или Рита тоже узнали это отнюдь не в тот день, когда мама усадила нас рядом с собой и «официально» обо всем рассказала. Может быть, они думали, что я маленький и не пойму. Может быть, Сай, а может быть, Рита действительно ничего не знали. Как бы то ни было, у меня такое чувство, что я был единственным, кого этот рассказ поверг в состояние шока.

Отца призвали в армию в 1939 году. С тех пор он прошел весь путь от младшего унтер-офицера до капитана. В армии его любили все без исключения. Он был, что называется, прирожденным командиром. Солдаты, которые служили под его началом, просто обожали его и готовы были идти за ним в огонь и воду. Потом был Дьеп. Воинское соединение, принявшее участие в сражении, почти полностью было сформировано из канадцев. Дьеп стал нашим Ватерлоо. Нашим Геттисбергом [1].

Нет такой исторической книги, такого участника сражения, такого клочка бумаги в архивах, которые не свидетельствовали бы, что Дьеп стал подлинной, ужасающей катастрофой. Чаще всего его именуют «кровавой мясорубкой».

Дьеп — это торговый порт на нормандском берегу в северной Франции. В 1942 году Британское Верховное командование начало подготовку широкомасштабного вторжения в Европу. Дьеп был избран в качестве плацдарма для первой пробной высадки десанта на континент. В тот момент положение союзных войск на всех фронтах было весьма неопределенным. Нужна была хотя бы небольшая победа.

Итак, 19 августа 1942 года произошла высадка в Дьепе. Эта кровавая бойня стоила жизни более чем тысяче канадцев. Более двух тысяч было ранено и попало в плен. Всего в сражении приняло участие пять тысяч человек; домой вернулось немногим более тысячи.

Мой отец так и не покинул своего десантного судна.

Он должен был вести своих людей на штурм во второй волне десанта, вслед за танками. Но он увидел, что танки встали, потому что берег был каменистый и камни набились между траками. Еще он увидел, что первую волну десантников попросту расстреляли из пулеметов с высот над городом. И тогда отец словно прирос к своему месту, не в силах пошевелиться. Его люди оказались неподвижной мишенью и не знали, что им делать. Они не получали приказа наступать; но и оставаясь на месте, они были видны отовсюду как на ладони.

[1] Геттисберг — город в США, где в 1863 г. во время Гражданской войны в сражении между армиями Севера и Юга обе стороны понесли тяжелые потери.

Немногие из них спаслись, попрыгав в воду, остальных просто разнесло на куски, когда их судно накрыло снарядами. Тем временем отец уже достаточно овладел собой, чтобы доползти до кормы. Он сорвал с себя форму и поплыл в открытое море, где его подобрал британский эсминец, стоявший на некотором расстоянии от берега.

Когда эсминец «Беркли» ВМС Его Величества был подбит, всех, кто находился на борту, в том числе и отца, так никем и не узнанного, эвакуировали на другое судно, прежде чем сам «Беркли» пошел ко дну. На этом судне отец добрался до Англии, где ему перевязали раны и где он решил было, воспользовавшись всеобщим хаосом, скрыться, в надежде на то, что его сочтут погибшим.

Но на его беду, у него была еще совесть. Он остался, и в результате лицом к лицу столкнулся с теми, кто уцелел под Дьепом. Его узнали. Отец был уволен и отправлен домой. Дети не понимают таких вещей. Для них трусы — это всего лишь фигурки из смешных детских книжек или персонажи фильмов.

Отец не может быть трусом.

Так не бывает.

Мучения и горе, о которых отец так и не смог забыть, в конце концов свели его в могилу. Он ушел от матери, хотя она совсем не желала этого, и провел остаток дней в маленьких барах и захолустных пивных, ища утешения в обществе шлюх и таких же изгоев, чьи истории, возможно, походили на его собственную. Мы боялись телефонных звонков. Иногда звонил он сам, и тогда в трубке слышалась его пьяная речь; а если звонил кто-то еще, то лишь затем, чтобы сообщить нам название тюрьмы, в которую отец попал на этот раз.

Отец умер в больнице Уэлсли. В той самой, где я родился. Перед смертью он сказал, что хочет видеть детей. С Ритой и Саем «не смогли связаться», но я пришел к нему, чтобы, умирая, он мог найти меня там, где находил всегда — не далее чем на расстоянии крика. Я думаю, что меня поймут все дети, независимо от возраста, чьи родители — один или оба — слишком рано забыли о том, что их ребенок должен кого-то любить.

Я бы любил и камень.

Знал бы об этом отец!

Может быть, в конце он почувствовал это. Он назвал мне имена каждого из своих солдат. Он сказал, что прошел вместе с ними через ад после их смерти, чтобы оказать им достойные почести. Он надеялся, что теперь они поймут его.

Я сказал:

— Наверное, они поймут.

Он попросил положить его к ним.

«Почему бы и нет, — подумал я. — Камень к камням».

Панорама дьепского побережья потрясает воображение. Берега там уходят в воду очень круто, и поэтому во время прилива вы рискуете соскользнуть в волну и потерять равновесие, прежде чем вспомните, что умеете плавать. Камни коварны. Но и прекрасны.

Прах отца я вез контрабандой. Не положено вот так, среди бела дня, разгуливать с человеческими останками в чемодане, будь они в каком угодно виде.

На борт парома «Силинк» я пронес отца в конверте, на котором значилась моя фамилия. Это была мера предосторожности на случай досмотра. В конверте было не больше горстки пепла. Остальное я развеял над Ла-Маншем, когда показался берег Нормандии. Я испытал нечто большее, чем просто смущение, когда увидел, какой ажиотаж вызвал прах отца среди чаек и прочих морских птиц. Я все-таки надеялся расстаться с ним без свидетелей. Какая-то женщина с двумя маленькими детьми подошла и встала возле меня у перил. Я услышал ее слова: «Посмотрите на этого милого джентльмена — он заботится о наших пернатых друзьях!» Если б отец видел эту сцену, то, надеюсь, она позабавила бы его. Я отвернулся.

Паром пристал к берегу сразу после полудня. Сняв номер в отеле «Ля президанс», я тут же отправился на прогулку по набережной. Был май, и в теплом береговом бризе сквозил тонкий аромат цветущих яблонь.

Я не желал воскрешать в памяти то сражение. Я пришел сюда не для того, чтобы вызывать духов. Но их присутствие ощущалось здесь почти зримо, хотел ты того или нет. Достаточно было шума волн, откатывающихся по камням, чтобы вернуть тебя к тому летнему дню 1942 года. Я стоял, прислонившись к стене набережной, и думал о том, что наконец-то мой отец выбрался на берег.

На следующее утро я встал затемно, пока город еще спал, и пришел на набережную, когда из-за скал только поднималось солнце. На мне был тонкий шерстяной свитер, шорты и кроссовки. В кармане лежал конверт.

Консьерж, вероятно, принял меня за очередного американца, помешанного на оздоровительном беге по утрам. Он что-то проворчал мне вслед, но я сделал вид, что его не заметил. На набережной я перебирался через парапеты и выброшенный волной плавник, пока не оказался вне досягаемости любопытных взглядов.

Камни в Дьепе в основном кремневых пород и окрашены в белый, желтый, красный цвета. Красные камни выглядят так, будто их только что умыли кровью, и от этого зрелища сердце замирает в груди. Я склонился над ними, зажав в руке то, что осталось от моего отца. Он сам был словно толченый камень — разбитый, растертый.

Я разжал пальцы и почувствовал, как слежавшийся в моей ладони пепел сыплется сквозь них. Я видел, как он рассеивается и исчезает.

Отец умер. Ничего не осталось.

В выходные дни мы часто гуляли с родителями под деревьями на Кресент-роуд. Это с росдейлской стороны Йонг-стрит. Мой брат Сай и я обычно были одеты в темно-синие костюмчики; короткие штаны из голубой шерсти натирали бока. Наши гольфы, также темно-синие, были завернуты так, чтобы скрыть тонкие эластичные подвязки. Во всем ощущалось нетерпение, и пахло так, как пахнет только по воскресеньям. У Сая на подошвах были набиты подковки: походка у него была такая, что, по словам мамы, он сбивал каблуки «до костей», а это приводило к дополнительным расходам. При ходьбе подковки замечательно постукивали, и потому о приближении Сая мы узнавали раньше, чем видели его самого. Я тоже хотел подковки, но мне отказывали, потому что я не умел ходить как Сай, сколько ни старался.

Дома, словно кегли, стояли ровными рядами позади лужаек; с пустыми глазами окон и струйками дыма над трубами — гавани благополучия, хранители всех его секретов.

Отец обычно шел позади нас. Не знаю почему. Мама шла впереди вместе с Ритой. Риту неизменно одевали в красные или синие платья, поверх которых она носила короткое расклешенное пальто, а зимой — что-то вроде шерстяной накидки, которая стягивалась вязаным шнурком под подбородком. Ее лакированные туфельки с ремешками были совсем как у Шерли Темпл [1], что тогда очень нравилось Рите, а потом перестало. В ней всегда было чрезвычайно развито чувство собственного стиля.

Однажды в воскресенье — это было уже после возвращения отца, — когда мы шли по Кресент-роуд, Рита шепнула, что нас — ее, Сая и меня — назвали так, словно мы какие-то промышленные изделия. «Конторское оборудование Сай Макс», «Рита Макс, хозяйственные принадлежности» и «Часы Бен Макс». Вот почему, заключила она, отец всегда шел позади нас. Он с гордостью оценивал качество исполнения. Теперь он больше уже не шел за нами, а вела нас мама, одетая в черное.

Тик-так. Тик-так. Это я — «Часы Бен Макс».

Вот я и рассказал нашу историю. И все же я думаю, что будет лучше всего — и сам я хотел бы больше всего — закончить на том, как еще до войны мы всей семьей гуляем под деревьями. Мистер и миссис Дэвид Макс выводят своих детей на прогулку каждое воскресенье после полудня в любую погоду, если только не идет дождь.

Полковник Мэтисон, который шагает по тротуару, принужден остановиться и пробормотать какое-то приветствие в наш адрес. Он не может сделать вид, что не заметил семейства Максов, так как каждое утро, кроме воскресных, мы встречаем его в магазине, где он выбирает себе бутоньерку и покупает ее у нас.

■

[1] Ширли Темпл (род. в 1928г.). Очень популярная в 30-х годах американская девочка-киноактриса.

ИВО АНДРИЧ

Знаки вдоль дороги

Фрагменты книги и очерк

Перевод с сербскохорватского

АЛЕКСАНДРА Д. РОМАНЕНКО

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
1961 г.

От переводчика

О великих событиях мировой истории первой половины XX века невольно вспоминаешь, обращаясь к творчеству и судьбе югославского писателя Иво Андрича. В течение двух лет — с апреля 1939 по апрель 1941 года — он был посланником Югославии в Берлине и, следовательно, свидетелем и участником многих важнейших событий той поры.

Тогдашние руководители Югославии занимали устойчивую антисоветскую позицию. В целом проводя политику сближения с фашистским режимом в Германии, регент князь Павел заявлял, что любой ценой нужно воспрепятствовать приходу СССР на Балканы. Судя по сохранившимся немногим документам, Андрича тревожила эта направленность югославской политики, и летом 1940 года, как только наметились некоторые контакты между Югославией и СССР, он, как отмечает канадский историк профессор Ж.Б. Юричич, «играл важную роль в сближении Советского Союза и Югославии». (Берлинскому периоду жизни писателя и посвящена интересная, изобилующая новыми сведениями книга Юричича «Иво Андрич в Берлине в 1939-1941 гг.», вышедшая в Канаде и Югославии в 1989 г.)

Неудивительно, что последний югославский министр иностранных дел, предшественник Иво Андрича на посту в Берлине Александр Цинцар-Маркович недолюбливал Андрича и, по-видимому, не вполне доверял ему, отлично понимая несовместимость и даже противоположность их стратегии, тактики, их дипломатической этики.

И хотя мы не найдем каких-то точных свидетельств в опубликованных бумагах Андрича, два года службы в Берлине, видимо, были едва ли не самым тяжелым периодом его жизни.

В день нападения гитлеровцев на Югославию 6 апреля 1941 года Андрич со всем составом югославской дипломатической миссии покинул Берлин. В курортном местечке Бад-Шахен всю группу задержали. Андричу в порядке исключения был предложен выбор: остаться в Германии, поселиться в Швейцарии или перебраться в любую нейтральную страну. Он сделал свой выбор— и 1 июня вместе с коллегами вернулся в Белград, «застав город в развалинах, а народ в тяжком смятении и всяческих страданиях», как напишет он позже в одном из своих рассказов.

Так закончилась последняя дипломатическая миссия Иво Андрича, о которой у нас известно пока, к сожалению, лишь в самых общих чертах.

Годы второй мировой войны и освободительной борьбы югославских народов он провел в Белграде. Отвергнув сотрудничество с завоевателями и их пособниками, запретив переиздавать свои книги и отказавшись от предложенной пенсии, он поселился в скромной квартирке на одной из привокзальных улиц Белграда, где пережил все бомбардировки и обстрелы, особенно интенсивные возле железнодорожного узла.

«Там, удалившись от всякой общественной деятельности, я провел четыре года немецкой оккупации, — писал Андрич в 1955 году французскому коллеге Клоду Авлину. — Кто-то из иностранных журналистов назвал тогда Белград «самым несчастным городом Европы». Не знаю, соответствовало ли это истине, но несчастным он был. И я рад, что провел это время со своим народом. Для меня это был перелом во многих отношениях. Я прошел трудную и великую школу. Я спасался трудом».

В эти годы были написаны романы «Травницкая хроника», «Мост на Дрине», «Барышня», которые впоследствии принесли писателю мировую известность. Они

были изданы в 1945 году сразу после освобождения страны и в числе первых произведений новой литературы югославских народов отмечены высшими государственными премиями.

В 1961 году Иво Андричу была присуждена Нобелевская премия по литературе.

В записных книжках Андрича, составивших изданную после его смерти книгу «Знаки вдоль дороги», фрагменты из которой неоднократно печатались на русском языке, в том числе и в «Иностранной литературе», в его дневнике сохранились, однако, заметки и наблюдения военных лет, до сих пор неизвестные русскому читателю.

Мы печатаем их здесь вместе с очерком, посвященным Боснии и ее народам, в котором продолжается военная тема.

Андрич видел фашизм при самом его зарождении — в Италии в середине 20-х годов и писал о нем и его развитии. Он видел вблизи немецких фашистов — в пору их триумфа, в пору знаменитых берлинских парадов повелителей Европы. Он видел их оккупантами, захватчиками, на борьбу с которыми поднялся его народ. Он видел их побежденными, а их страну поверженной. Он любил и высоко чтил немецкую культуру, и в его раздумьях о Германии военных лет отразились скорбь и боль европейской интеллигенции, которой пришлось защищать эту культуру от самих немцев. Он видел разгромленные Белград, Сталинград, Варшаву и... Берлин, ставшие символами того неизмеримого зла, которое принес человечеству фашизм, какое бы обличье он ни принимал в разных странах и как бы ни назывался. (Грозный и Вуковар увидеть довелось нам!) Свидетель и участник двух мировых войн, с молодых лет до последних дней своей жизни он боролся всем своим творчеством против войны, против насилия, против истребления и уничтожения одними людьми других, под какими бы звучными и «актуальными» лозунгами это не проводилось.

Завершается XX век, давший человечеству выдающихся художников, мыслителей-гуманистов, защитников «человека и человечества». Иво Андрич был одним из них, хотя прекрасно понимал, сколь тщетны любые заклинания и призывы к правительствам и «вождям».

***

В «Знаках вдоль дороги» есть и такая запись:

«Почему Балканские страны не могут войти в круг просвещенного человечества даже посредством своих лучших и самых талантливых представителей? Ответить на это не просто. Но думается мне, одна из причин заключается в отсутствии уважения к человеку, к его достоинству и его полной внутренней свободе, причем уважения безусловного и последовательного...

Мы повсюду носим с собой этот недостаток, некий восточный грех нашего происхождения и печать неполноценности, которую невозможно скрыть. Об этом следовало бы говорить и этим заниматься»...

В наши дни, когда на земле Югославии, а особенно в Боснии, на родине Андрича, вновь безудержно полыхает братоубийственная война, когда в развалины превращается все, что создавалось ее народами в течение веков и что вошло в сокровищницу мировой культуры, воинам и политикам, — увы, как невелика нынче между ними разница! — следовало бы задуматься над словами мудрого писателя, посвятившего свое творчество многострадальной Родине.

Ночной разговор в 1941 году

Почему наши горы окутаны пеленою тумана, который закрывает людям горизонт и с малых лет отравляет страхом души детей?

Потому что нет любви и товарищества между единокровными и единоязычными братьями.

Почему над нашими городами и селами постоянно, точно проклятая туча, стоит атмосфера страха и недоверия, злобная, пугающая тишина?

Потому что между нашими согражданами разных вероисповеданий отсутствуют братство и искреннее сотрудничество и царят предательство и ядовитая ненависть.

Почему сумерки у нас опускаются столь стремительно и болезненно, так потрясая душу, почему ночи у нас столь неестественно долги и мрачны, словно в Судный день, а дни исполнены стыда и гнева и пятна крови видны на стенах и тротуарах?

Потому что мы служим и злобному чужеземцу, и своим злобным инстинктам и заблуждениям, всем и всякому, только не великим принципам Свободы, Братства и Единства.

Почему иностранцы опускают глаза и переводят разговор на другую тему, говоря о нас, почему нашу страну называют первой, когда речь заходит о братоубийственном безумии и тяжких непонятных катастрофах?

Потому что мы вовремя не воспротивились злу, потому что мы не послушали лучших из нас и все без различия не объединились в сопротивлении чужеземным завоевателям и отечественным нелюдям.

Почему же, несмотря на все это и вопреки всему этому, светит нечто похожее на надежду из-за каждой, даже самой черной нашей горы, и все люди, сохранившие еще душу, живут и чувствуют, что должно прийти освобождение от позора, и, как могут и умеют, готовятся помочь этому освобождению?

Потому что Зло, Насилие и Обман не могут долго господствовать в мире, потому что в самых дремучих лесах страны лучшие ее сыновья готовятся зажечь пламя Сопротивления и, не щадя своей собственной жизни, спасти народ от рабства и позора; со временем к ним присоединится весь народ, и после Победы под одним знаменем он пойдет вместе с ними, по новому пути Согласия, Труда и Обновления.

***

С наступлением ночи в мою душу вкралась мысль о близости какой-то беды и несчастья. Мысль эта потонула во сне, победившем меня ночью, но не исчезла в нем. На рассвете нового дня, с первым предрассветным лучом увидел я воплощение этой мысли: на горизонте, гадко опершись на локоть, точно жаждущий крови насильник, проступало мрачное лицо войны. Слепая, бесчеловечная, разрушительная, несущая гибель война. Я сразу ее узнал, ибо помню ее и знаю, думается мне, испокон веку, с тех пор, как знаю и помню себя.

***

Nach dem Schlachtengewimmel
Ziehen wir in den Himmel.
Die Engel warten schon
Auf unser Batallion[1],—

пели немецкие солдаты на белградских улицах в 1942 году.

***

Во время войны люди всаживали крючки в плоды инжира, солдаты-оккупанты мимоходом срывали их, и некоторые поранили себе языки этими крючками.

***

В 1941 году, после бомбардировки Белграда, многие его жители уходили по дороге на Авалу. Один из них просил крестьянина взять его на телегу и подвезти, предлагал деньги. Крестьянин отказывался. Тот продолжал упрашивать, в телеге, мол, хватит места и на троих. «Верно, — отвечал крестьянин, — да я тебя сажать не хочу. Я хочу видеть, как ты пешком идешь».

***

В сараевской окружной тюрьме в 1942 году одна из арестованных коммунисток-подпольщиц родила здоровую девочку. И когда пришло время давать ей имя, ее «окрестили» Лейлой, потому что одна из женщин утверждала, будто в арабском языке это слово означает «свет», а именно этого им так не хватало в темной камере. И это имя, и этот ребенок долгое время были истинным источником света в тюрьме. Лишь много лет спустя, когда война окончилась и они вышли на свободу, они узнали, что ошиблись, ибо слово «лейла» вовсе не обозначает у арабов «свет», но, наоборот, — «тьма» или «самая темная ночь».

---

[1] После сумятицы боя
Мы уходим на небо.
Ангелы уже поджидают
Наш батальон (*нем.*).

***

Слыша частые разговоры о молодых людях, погибших в последних войнах с Германией, я подумал вот о чем. Все, что выдумали религии и что создано веками обществом в связи со смертью и исчезновением тех, кого мы любим и чтим, столь мало и столь недостаточно, чтобы засыпать или преодолеть огромную и жуткую бездну, зияющую между смертью и жизнью.

Я думаю о том, что все погибшие юноши не оплаканы как должно и что из-за них смерть в неоплатном долгу перед жизнью, а неведомые миры — перед этим нашим миром, в котором мы по необходимости живем.

***

Война, даже самая длительная, лишь обостряет проблемы, из-за которых она началась, а решение их остается временам, наступающим после заключения мира.

***

Вернер Кэги в номере «Neue Züricher Zeitung» от 22.X.1966 г. в статье «Erasmus als Erzieher»[1] рассказывает, что курьер городской библиотеки Роттердама во время самой страшной немецкой бомбардировки поднялся на крышу здания, под огнем поливал ее водой и таким образом спас здание и хранившиеся там книги.

***

Май 1944 года. Ни весна, ни лето, но та жаркая погода, полная зноя и света, бьющего с неба, от воды или от земли, та самая погода, из-за которой говорят, будто в Белграде весны не бывает. Однако весна приходит сюда ночью, подобно тайному любовнику, и по ночам бывают действительно чистое весеннее небо, белградское небо, просторное, как на картинках в географическом атласе, прохладная свежесть под деревьями, на которых распускаются листья и только появляются завязи плодов. В этом году, однако, в прекрасном обрамлении происходят тяжелые, скверные и необычные дела; жизни нет, но есть лишь страдание и ошибки.

Всего десять часов вечера, но прохожих на улицах уже мало — в девять начинается комендантский час, и город после него вымирает; большинство жителей запираются в своих домах, точно заживо погребенные, а меньшинство, то есть немцы и те из наших, у кого есть германский аусвайс, бродят по улицам, точно злые и нечистые духи, громко звучат их шаги, и в наглости этой поступи ощущаешь растерянность и потаенный страх. А кроме этих шагов, слышны еще гудки паровозов.

Когда стоишь у окна или выходишь на балкон, кажется, будто в этой ночи живут одни паровозы. Их гудки не прекращаются. Паровозы разных размеров и всевозможных конструкций, из всех краев, которые захватили и грабят оккупанты, гудят тонко и тягуче, всхлипывают, завывают, стонут протяжно и хрипло, будто призывают на помощь. Вокзал, который, как и весь город, затемнен из-за угрозы воздушного нападения, похож на укрытый тьмою зоопарк. И люди, внимающие у своих занавешенных окон этим гудкам, вкладывают в них, кто больше, кто меньше, нечто от своих мыслей и чувств (а в эти дни куда больше горьких мыслей и тяжелых чувств!) и видят в них отражение своей судьбы.

***

Немцы и Германия! Это самое большое страдание в моей жизни, разлом, который в судьбе человека может означать или переворот, или смерть. Это проблема, от которой Европа будет страдать еще сто пятьдесят лет. Но и тогда я не вижу ее решения.

Вчера случайно я слышал, как один немец разговаривал с нашим солдатом. Понадобилось бы много страниц, чтобы описать этот *тон*. Я и не пытаюсь. Но мне знаком этот тон, я знаю, что́ он означает и что́ таится за ним. И без всякой ненависти, без тени какой-либо мстительности за все, что мне лично довелось выстрадать от немцев и из-за немцев, я с тревогой спрашиваю, не ради себя, не ради немцев, но ради Европы, ради человечества: как эти немцы сумеют найти свое место среди людей и в «людских делах»? И когда? Когда исчезнет в них то нечеловеческое и противное всякой логике, которая существует в человеческих отношениях? С рождения благодаря воспитанию они пребывают в заблуждении; им бы хотелось, чтобы все остальные люди и любили, и уважали их, но в то же время повиновались им и их боялись. Они все изучают и все хотели бы знать, но они не понимают, что тот, кто не поступает с другими людьми как с людьми, сам перестает быть человеком. И без осознания этой простой человеческой истины все их огромные знание и умение являются лишь грузом, который тем легче и стремительнее увлекает их в бездну. И многих из нас вместе с ними.

3.XI.1946 г.

[1] "Эразм (Роттердамский) как воспитатель" (*нем.*).

***

В этом городе редко кто из прохожих не оскорблен, не унижен, не ранен душевно или не ограблен. Но никогда это не делалось открыто и громко, во время ссоры, с криками, под бряцанье оружия, но шепотом и обиняком, с помощью пустых, двусмысленных, на первый взгляд невинных, но ядовитых слов:

— Смотри ты! Ну и ну! Надо же! С чего бы это? Ах, Боже мой! Ты так считаешь? Кто б мог подумать?!

***

Они хотели расколоть мир на куски и проглотить его с кружкой пива. Они хотели извлечь из всего питательного живые частицы и съесть их, а неорганическую оболочку оставить нам, как скотине оставляют солому после того, как для человека отделяют зерна. Они хотели этого и сделали для этого все что могли.

Вы обкрадывали своих рабов, а чтобы вам не пришлось краснеть перед самими собою и перед ними, провозглашали их низшей расой и недочеловеками.

Вы не насиловали женщин на дорогах, но планомерно, по списку доставляли их в свои солдатские бордели.

Вы презирали нас, а мы, запершись в своих холодных квартирах, читали Гёте, а на улице, когда вы нам встречались и просили указать дорогу, мы по-немецки отвечали вам: «Не понимаю!»

***

Во время бомбежек Белграда, в 1944 году, седой и пьяненький нищий побирался на Сараевской улице:

— Дай монету, брат! Поделись в эти тяжкие времена!

А тем, кто проходил мимо, ничего не подав, он кричал вслед:

— Дай деньги, завтра умрешь!

***

На доме, в котором я живу, много шрамов от бомбардировок 1941 и 1944 годов, а также от шестидневных уличных боев 1944 года. Над моим окном есть углубление размером в мужской кулак — это след немецкого противотанкового 20-мм снаряда. В маленькой круглой нише в этом году воробьи устроили себе гнездо. Я наблюдал, как они улетали, прилетали, всякий раз то с соломинкой, то с какой-то тряпицей в клюве, пока не «выстелили» эту нишу мягким и теплым ковриком, края которого торчали наружу. А они продолжают возиться внутри.

Вот так снаряд небольшой противотанковой немецкой пушки создал квартиру для этой воробьиной четы.

11.X.1946. Белград.

На еврейском кладбище в Сараеве

Петар Кочич, который обладал острым взглядом и пониманием боснийской земли и который как настоящий художник мимоходом умел делать умные и точные наблюдения, обратил внимание на то, какое место в этих краях занимают кладбища, и сумел сказать об этом в одной своей статье: «Словно крупные и белые горные волы, лежат груды огромных четырехугольных камней и, открытые взглядам со всех сторон, спокойно сверкают на солнце и отдыхают, словно в глубоком сне».

Об этом мимолетном замечании Кочича вспоминал я всегда, когда, как и этим летом, несколько дней подряд проводил на старинном еврейском кладбище, что лежит на левом берегу Миляцки, под полотном железной дороги Сараево-Ужице. Я говорю «лежит», хотя на самом деле оно настолько круто, что кажется, будто оно все время сползает и разрушается.

На крутых откосах Сараева и по сей день полно мусульманских кладбищ с белыми надгробными камнями — «нишанами». Словно белые солдаты, постоянно шагающие вперед, или лавины вечного снега, эти кладбища издавна спускаются по этим откосам. С течением лет и столетий это войско становится все более редким, а лавина все более

тонкой. Ибо кладбища тоже умирают. Не один белый и некогда прямо стоявший нишан упал или накренился и собирается лечь в могилу рядом со своим покойником. На некоторых кладбищах, как, например, на самом красивом, на Алифаковце, частые тонкие нишаны полегли, словно перепутавшиеся белые колосья. В этих кладбищах есть что-то не только живописное, но и волнующее, поэтическое, как при их возникновении, так и при их исчезновении, в их контрасте с новой жизнью, что закипает и переливается ныне внизу, в городе. В них нет ничего, что пугает и отталкивает, но, напротив, нечто мирное и чистое, полное достоинства, что лишь отражает разумное и героическое отношение к смерти тех, кто здесь покоится.

Белые мусульманские кладбища на крутых склонах Сараева! Это одна из тех немногих тем, перед которыми я испытываю тревогу и вдохновение, чувствуя себя полным образов и замыслов, но неспособным дать всему этому хотя бы приблизительно верное выражение. Однако поэзия этих кладбищ найдет своих поэтов, и они не будут поэтами смерти, но поэтами жизни. Потому что всегда остается справедливой древняя истина, что смерть не поэтичнее жизни. А кладбища имеют значение лишь постольку, поскольку они говорят о жизни мира, которому принадлежали те, кто лежит на них, и история кладбищ имеет свой смысл и свое оправдание, лишь поскольку она освещает дорогу нынешним или грядущим поколениям.

Но сейчас, здесь, я не говорю обо всех этих кладбищах вокруг Сараева, но о старом кладбище евреев-сефардов, которое со своими белыми мраморными памятниками теряется между ними и издали ничем не отличается от них.

***

Взбираясь по короткой, но отвесной круче, что ведет от Миляцки к кладбищу сараевских евреев-сефардов, я всегда думаю о четырех веках их истории.

Когда в конце XV века евреев изгнали из Испании, они искали пристанища в разных странах, где преследования евреев не превратились в систему и где их по крайней мере терпели. Одной из таких стран была тогдашняя Турция. В XVI веке изгнанные испанские евреи-сефарды появляются и в самых важных торговых центрах Балкан, в том числе и в Сараеве. Их общественное положение здесь по сути своей не отличается от положения остальной «райи»[1]; оно лишь постольку тяжелее, поскольку они более малочисленные и полностью изолированные чужеземцы, без религиозной, языковой связи и связи по крови с прочей «райей». Чтобы уцелеть в таких условиях, эти пришельцы евреи должны были приспосабливаться и кланяться еще больше и ниже, чем это приходилось делать христианам. Согнанные в своеобразное гетто, так называемый Большой двор, окруженные предрассудками и суевериями своих сограждан иных вероисповеданий, они, повинуясь необходимости и инстинкту самозащиты, уходили в себя и окружали себя стеной своих собственных традиций, верований и предрассудков, словно укрываясь в крепости. Запасы богатств культуры, которые они принесли с собою со своей старой родины — Испании, со временем тускнели и уменьшались, но даже в неблагоприятных условиях они с редкостной любовью лелеяли их и в значительной мере сохранили вплоть до самых недавних времен. Вообще же их духовная жизнь, как и у народов других конфессий, в основном ограничивалась изучением религиозных текстов и механическим повторением обрядов. Дома и между собой они разговаривали по-испански (на том языке, какой они унесли с собою в XV веке, сдобренном нашими и турецкими словами), в синагоге и при отправлении религиозных обрядов пользовались древнееврейским, с народом говорили «по-боснийски», а с представителями власти — по-турецки. Они жили, не имея настоящих школ и больших возможностей для культурной жизни. И при турецкой власти и позже, во время австро-венгерской оккупации, существующее законодательство практически делало для них невозможным доступ на какие-то посты в общественной жизни и государственном управлении и заставляло их заниматься физической работой, ограниченным числом ремесел и особенно розничной и оптовой торговлей.

Это было маленькое, в силу обстоятельств и привычек, герметически закупоренное общество, где имелось с трудом приобретенное, бережно хранившееся и всегда находившееся под угрозой богатство и значительно больше горькой нужды. Все это должно было отрицательно влиять на их развитие. И тем не менее все это не могло привести их к дегенерации как целое, полностью раздробить их духовно и уничтожить физически. А когда с наступлением XIX века условия жизни стали и для них в какой-то мере, лишь в какой-то мере, более благоприятными и более современными, они, несмотря на навязанную отсталость, которая была у них общей с людьми прочих вероисповеданий, обнаруживали несомненные признаки своей энергии и одаренности, своего понимания нового, своего врожденного стремления к прогрессу. (В наше время они дали Боснии

[1] "Райя" (*букв.* :"стадо") — так османы называли всех немусульман. (*Здесь и далее — прим.перев.*).

одного из лучших ее писателей, гармоничного и глубоко человечного Исака Самоковлию.) Лишь во время второй мировой войны мрачному и смертоносному нашествию расизма удалось рассеять и уничтожить их, не готовых и не привыкших к такому методу борьбы. Они всегда хотели жить, и всегда в течение их тяжелой истории у них что-то отнимали от жизни. Эти отняли у них самое жизнь. Их история, которую лишь предстоит написать, поскольку книгу Морица Леви о боснийских сефардах нынче трудно найти и она несколько устарела, покажет не только судьбу сефардов, но и все разнообразие и сложность нашей общественной жизни в прошлом. Поскольку, как бы ни были они замкнуты в себе, они в то же время являлись и живой составной частью нашего сообщества.

С такими мыслями и чувствами входит человек сквозь металлические ворота на кладбище сараевских сефардов на суровой крутизне над Миляцкой.

Это кладбище на склоне по форме камней и по надписям на них разделяется на две довольно ясно различимые части. Где-то до начала нашего столетия надгробные камни типично еврейские — неуклюжие, грубо обтесанные, больше в передней своей плоскости, чем сзади (в глыбах этого камня по его контурам и основным слоям есть нечто от льва, сидящего в классической позе на задних лапах, выпрямив передние и подняв голову). На передней, большей поверх-ности — надпись еврейскими буквами.

В конце прошлого века эти могильные камни изменяют форму, приближаясь к обычным «памятникам» христианских кладбищ, а надписи на испанском языке все чаще появляются наряду с еврейскими, а часто и без них. Как это бывало в других странах, так и здесь, еврейские надгробья стали приспосабливаться к стилю и вкусу времени и страны, где они есть. Это были могилы людей, живших обычной жизнью граждан той поры, и на них памятники, которые своей формой и своими надписями об этом именно сообщают.

И тем не менее эти камни — во многом особенные и говорят нечто не только о мертвых, но и о живых. Те старинные знаки только с еврейскими надписями стоят в сторонке, необычные по форме, недоступные по письму, которое они несут на себе, словно примирившись с тем, что издавна лишь самое малое меньшинство могло прочитать и понять их, а нынче нету и его. И они гордятся своим положением. Некоторые уже превратились в простой камень. Буквы черной, мелко вырубленной еврейской надписи давно уже стали расширяться, переходить одна в другую, стираться и исчезать. Они еще не целиком стерты, но уже похожи на орнамент, который ни о чем не говорит.

За всеми этими нам непонятными еврейскими словами, точно за тонкой, но крепче всякой стены завесой, прячется та часть жизни сефардов, которую они поддерживали в течение долгих веков. Вторая такая завеса — это их испанский язык. Более чем четыре столетия они хранили и берегли этот чудесный материнско-мачехин язык, хотя не могли его ни развить, ни предохранить от окаменения и порчи. На нем они пели свадебные и любовные песни и романсы из родной Андалусии, им пользовались в интимной и деловой жизни.

Эти два далеких чуждых письма и два чуждых языка были для них средствами сохранения и необходимого выделения, словно двумя шифрами в длительной борьбе их существования.

С приходом нового времени сербскохорватская письменность развивается и между сефардами, но помимо того они начинают употреблять свой сефардский испанский говор и публично, особенно когда речь идет о традициях и фольклоре. Так он появляется и на надгробных камнях. Странная письменность и часто убогие стихи. Как на стольких кладбищах мира, чаще всего это общие слова, долг по отношению к репутации и богатству покойника. На одном тяжелом камне из черного мрамора золотыми буквами выведено в наивных стихах, что покойник был человеком уважаемым и разумным, что он был «ombre prejado y entelegente», что он был

vicepresidente de la Komidad,
Presidente de sosjedades,
Lavrador publico dija i tarde[1]

И эти общие места и холодные, неловкие вирши перемежаются надписями, в которых, пусть косвенно и наивно, звучит подлинное чувство и теплое слово, живая и вечная потребность что-то еще сказать о том, кого мы навсегда теряем.

[1] Вице-председатель общины, председатель разных обществ, общественный труженик днем и ночью (*исп.*).

На могиле одной матери стоит следующая надпись: «Madre que non conoce otra justicia que el perdon ni mas ley que el amor»[1]. На памятнике Донцеллы Клары Алтарац, умершей «во цвете юности», она сожалеет, что в первые весенние дни она покрыта землею и что эта холодная земля «спрятала от нее лицо отца-солнца» — «Cubriome la vista del padre sol». А рядом с девочкой лежит ее мать, умершая позже, и на ее могиле написано: «Clara, no lloras hija mia, no temes la fosa fria»[2].

Наряду с испанским все чаще надписи, да и стихи на сербском. И они, разумеется, в пределах обыкновенного, такие же, что стоят на могилах людей всех религий и народов. На могиле матери написано:

Чудесной ты была — с рожденья,
любимая наша мама — до свидания.

Лишь иногда они тоже говорят нечто большее, чем обычное выражение печали. На одном из них, под еврейской надписью, стоит: «Рахелла И.Израэль «Госпожа». Мне так и кажется, будто я вижу эту дородную седую матрону, которую родственники и сограждане, обладающие врожденным чувством юмора и умением точной психологической характеристики, прозвали «Госпожой». И я словно слышу, как звучит это наше слово в их испанском выговоре и то долгое трепещущее ударение, с которым они его произносят.

На одном памятнике читаем: «Здесь покоится мой милый и незабвенный супруг и наш милый отец Лео Э.Папо, родился в 1871 году, умер 12 июля 1915, девять лет болел». Что-то от древнебоснийских надгробных надписей, с этими деталями из личной жизни, имевшими значение для родственников, а ныне, спустя столько лет, звучащими необычно.

Леону Леви, очевидно уже вполне современному человеку, его товарищи-альпинисты разных вероисповеданий сообщают в неловких, но сердечных стихах, что в горах без него пусто и что они его не забудут.

На могиле Элиаса Кабилья написано: «Так мы одни — живые и мертвые — одно и то же», словно далекая ассоциация с испанским стихом: «Dios, como solos se quedan los muertos!»[3]

Я пробираюсь сквозь густые ряды могил, вглядываюсь в обыкновенные слова и в знакомые фамилии. Абинун, Альбахари, Алтарац, Атияс, Барух, Данити, Данон, Ашкенази, Финци, Гаон, Кабилья, Каён, Кальдерон, Камхи, Катан, Конфорти, Кунорти, Леви, Маэстро, Монтилья, Овадия, Озмо, Пардо, Песах, Пинто, Салом. А имена их жен часто таят в себе что-то от музыки и поэзии далеких солнечных стран: Анулла, Гентилла, Джоя, Рика, Массальта, Луна, Буэна, Паломба, Симха, Оро.

За этими словами и буквами я вижу маленький и живой мир сефардов нашего детства. Купцы с высокими фесками на головах, сгорбленные носильщики, мелкие торговцы, ремесленники на чепенаках[4], их старые жены еще в восточной сефардской одежде, их дети, хорошо одетые, зажиточные, и бедные, худые, убогие. Я ощущаю запах их дворов и слышу их живые, гортанные восклицания вперемешку с нашими словами. Мир, которого больше нет. А о том, что его нет, говорит и это кладбище живыми знаками и очевидными следами великой драмы одного народа.

Первое, что замечаешь, — это нечастые, но бросающиеся в глаза следы на некоторых из этих памятников. Кое-где повреждена шестиконечная звезда Соломона, кое-где грубо разбита фотография умершего. Это следы посетителей-оккупантов или усташей, их болезненной ненависти и мрачной глупости, их прикладов или сапог.

Я подхожу к ряду однообразных отметин из искусственного камня, на них имена сефардов, мужчин и женщин, и возле них, словно произнесенное стиснутыми омертвелыми губами, стоит лишь: «Сконч. 24.V.1941, 12.V.1941, 2.V1.1941, 12.V1.1941»... Вот так подряд и ровно столько. А мир знает и помнит эти весенние и летние месяцы 1941 года. А это лишь те редкие люди, могилы которых известны.

На памятнике Симона Катана, который родился в 1871 году и имел счастье умереть уже в 1933, под надписью о нем на черной доске вырезано дополнительно, недавно: «1882 — 1942. Неизвестна могила Доны Катан. Она погибла в фашистском лагере, а память ее связана с этой могилой ее супруга».

У тысяч других нет и этого знака. Об их судьбе говорит большая пирамида из белого камня в конце кладбища. На ней написано: «Евреям — павшим бойцам и жертвам фашизма. Ясеновац — Стара Градишка — Джаково — Ядовно — Лоборград — Аушвиц — Берген-Бельзен».

---

[1] Мать, которая не знала иной справедливости, кроме прощения, и иного закона, кроме любви (*искаж.исп.*).
[2] Не плачь, Клара, дочь моя, и не бойся холодной могилы (*искаж.исп.*).
[3] Боже, какими одинокими остаются мертвые (*исп.*).
[4] Откидная доска, которая днем служила витриной и сиденьем и которой ночью, поднятой, запирали лавку или мастерскую.

Эта трагическая география людей, большинство из которых не желали знать многим больше, чем свой город, свой дом и свою мастерскую. Это символическая гробница уничтоженных и вырванных с корнем наших сефардов. Стоя положив ладонь на этот камень, как многие и многие, что здесь будут стоять, я полон живой скорби и мыслей о совместной защите, которую человечество, если оно хочет с правом носить это название, должно организовать от всех международных преступлений и таким образом воздвигнуть в отмщение надежную плотину против всех убийц людей и народов.

1953.

ЭРИХ КЕСТНЕР

Notabene 45

Фрагменты дневника

Перевод с немецкого Г. КОСАРИК

От переводчика

Эрих Кестнер (1899 — 1974) — немецкий писатель. Лирик, сатирик, прозаик, автор книг для детей. В день поджога рейхстага находился в Швейцарии, добровольно вернулся в Германию, чтобы увидеть скорый крах третьего рейха своими глазами. Он ждал его 12 лет. Книги его были сожжены. Два раза его арестовывало гестапо. В январе 1946 г. Кестнер писал в Мюнхене: «Все американцы, общавшиеся со мной по долгу службы, задавали мне вопрос, почему я остался в Германии, где двенадцать лет был запрещен, хотя мог, если бы эмигрировал, вести в Лондоне, Голливуде или Цюрихе безопасную и приятную жизнь... Долг писателя — пережить то, что вынужден переживать народ, частицей которого он является, делить с ним его судьбу в тяжелые времена. Профессия обязывает его идти на любой риск, тогда он станет подлинным свидетелем и сможет однажды дать письменные показания. Так в течение двенадцати лет я был непосредственным очевидцем...»

Кестнер расценивал первоначально свои стенографические записи как наброски к большому роману. «Но я его не написал... Тысячелетний рейх не дает материала для большого романа», — делает он более позднюю запись. Тогда он расшифровал свои «закорючки», добавил к ним послесловие и предисловие и опубликовал их весной 1961 года как дневник писателя. Его друг и современник, другой немецкий писатель — Герман Кестен, — написал: «Кестнер анализирует в дневнике свою страну и себя. Он делает только краткие записи. Ходит внутри этой мышеловки — Берлин 45 — и говорит себе: Nota bene! Он записывает только то, что видит и слышит, и это превращается в памфлет против всех диктатур и всех войн». Дневник Кестнера переведен и издан в Дании, Финляндии, Греции, Италии, Японии, Испании и Латинской Америке.

Вместо предисловия

На книжной полке моей библиотеки в Берлине стояла во времена третьего рейха неприметная среди других корешков тетрадочка в твердом синеньком переплете, с пустыми страницами. Постепенно они стали заполняться крошечными стенографическими значками. Я трижды начинал вести дневник — в 1941, 1943 и 1945 годах. Почему я трижды бросал это занятие, сказать сегодня не могу, но, помимо всего прочего, еще и потому, что будни, даже в войну и при террористическом режиме, несмотря на «черные» сенсации, — скучное дело. Трудно мириться с ними и переживать их, а быть еще из года в год их скрупулезным счетоводом — это уже выше моих сил. С меня хватало кратких стенографических записей.

До конца ноября 1943 года синяя тетрадочка стояла, надежно припрятанная, среди четырех тысяч других книг на полках. Потом, когда начались нешуточные налеты на Берлин, я перепрятал ее вместе с карманным фонариком, сберегательной книжкой и другими самыми необходимыми вещами в папку, которую практически не выпускал из рук. Так она избежала огня, в котором сгорели в феврале 1944 года все четыре тысячи

книг. И осталась цела и сегодня, как, впрочем, и сберегательная книжка. И то и другое — документ. Правда, записи в сберегательной книжке утратили за это время свою ценность, записи же в дневнике, надеюсь, нет.

В нем собрано все за первую половину 1945 года. Как известно из ВЕЛИКОЙ ХРОНИКИ ВРЕМЕНИ, это были бурные месяцы: третий рейх рухнул, Германию разделили на четыре оккупационные зоны. В суматохе этого полугодия я перебрался из Берлина, через Тироль, в Баварию. Страна была похожа на развороченный муравейник, а я на одного из муравьев среди миллионов других, беспорядочно суетившихся и двигавшихся зигзагообразно. Я был тем муравьем, который вел дневник. Записывал, что видел и слышал на бегу. Записывал, на что надеялся и чего опасался, притворяясь мертвым. Я записал не все, что пережил тогда. Это понятно. Но все, что я тогда записал, я пережил.

Поэтому эта книга — документ. Он содержит все заблуждения, ошибки, ложные слухи того времени и даже фальшивые прогнозы. Я не знал тогда того, что знаю теперь.

Нам необходимо оглянуться, но не обратиться при этом, подобно жене Лотовой, в соляной столп. Мы должны взглянуть прошлому в лицо. У него лик Медузы, а мы — забывчивый народ. Искусство? Но Медуз не приукрашивают.

Нация должна преодолеть свое прошлое, говорят сегодня. Мы должны преодолеть то, что уже забыли? Это звучит как пустая проповедь. Историки, конечно, не бездействуют. Они собирают документы, изучают, оценивают их. Вскоре прошлое станет обозримым. И для сегодняшних школьников тоже. Но статистические данные — это еще не ВЕЛИКАЯ ХРОНИКА ВРЕМЕНИ.

Разве жили и умирали цифры? Людей записали, словно многозначные числа, колонками на черных досках, записали и забыли. В ВЕЛИКОЙ ХРОНИКЕ ВРЕМЕНИ для них нашлось место, но только для всех скопом. Отдельного человека там не увидать. Он — в других книгах. В них он становится видимым. То прошлое, еще не преодоленное, похоже на беспокойное привидение, блуждающее сквозь наши дни и сны и ожидающее, по старому обычаю всех привидений, что мы взглянем на него, заговорим с ним и выслушаем его. У нас нет иного выбора, кроме как взглянуть ему в лицо и сказать: «Говори!» Прошлое должно говорить, а мы обязаны слушать. Иначе ни мы, ни оно не будем знать покоя.

Весна 1961 года.

Берлин, 7 февраля 1945 г.

На самых оживленных перекрестках, таких, как угол Вильмерсдорферштрассе и Курфюрстендамм, соорудили противотанковые заграждения. Притащили отслужившие фургончики и разбитые машины, перевернули их и забросали металлоломом и покореженным железом. Неужели они серьезно думают задержать хоть на минуту этим хламом и свалкой русские танки?

Тот, кто рассматривает эти мусорные кучи старой жести как противотанковые заграждения, да еще и «заказывает» их, видимо, страдает слабоумием. А тот, кто считает, лучше уж так, чем вообще ничего, тому следует постоять несколько секунд на этом перекрестке и посмотреть на лица берлинцев! Им кажется, что их принимают за малых детей. Они уже свыклись, что днем и ночью на них падает дождь, но только из бомб, и нет никакой противовоздушной обороны, и что чужие эскадрильи проносятся по голубому небу, средь бела дня, в парадном построении, над городом. Им остается только обмениваться «кровавыми» шуточками. Рузвельт и Гитлер, говорят они, заключили на конец войны соглашение, по которому один поставляет самолеты, а другой предоставляет в его распоряжение воздушное пространство. Но при виде противотанковых заграждений им отказывает даже черный юмор.

Берлин, 14 февраля 1945 г.

Вчера вечером и ночью — массированные налеты на Дрезден!

Телефонная связь прервана. Поездки запрещены. Как же я узнаю, как там родители? Дьявольская ситуация. Она становится просто невыносимой, когда во время такого налета сам сидишь в ста восьмидесяти километрах в берлинском подвале. Слушаешь сухие сообщения по радио, изучаешь по карте район бомбардировок, берлинцы называют его «квадрат Эльза», и замечаешь все отчетливее и явственнее, что «лавина бомбардировщиков» планомерно приближается к квадрату «Марта-Генрих», потом «разворачивается и делает на него заход». И этот самый квадрат, обозначенный для конспирации дурацким двойным именем «Марта-Генрих», — твоя родина, твой родной город,

твои родители! Целый час, целый битый час летали они, одна эскадрилья за другой, над Дрезденом. Мне казалось, что это никогда не кончится. После целого часа— целая вечность — они повернули наконец на юго-запад. Когда я теперь узнаю, что там с ними?

Повсюду проверяют военные документы. И тут же арестовывают дезертиров. Теперь уже находят нерациональным вешать их всех на деревьях. Солдаты теперь на вес золота. Было бы халатной расточительностью такое разбазаривание военного добра. Их теперь отправляют под строгим конвоем опять на фронт. Благо, это недалеко. Дезертиры падут там рядом и вместе с героями, одни с честью, другие — покрытые позором, но место гибели будет для них общим.

Берлин, 15 февраля 1945 г.

Сегодня вечером исполняется год, как сгорела моя квартира на Рошерштрассе. На следующий день, весьма некстати, приехала моя мать, она привезла мне чистое белье, почта отказалась принять у нее посылку. Дрезденский поезд стоял из-за воздушной тревоги далеко на путях. Мой план был — удержать мать где-нибудь там, чтобы она не увидела разрушенной Рошерштрассе и вообще руин города. Незачем ей знать, как выглядит Берлин. Пусть она и дальше думает, что все еще не так уж плохо. Она и без того слишком беспокоится за меня.

Мой план провалился. Она непременно хотела взглянуть на мою квартиру, хотя я пытался ей объяснить, что нет больше ни квартиры, ни дома. «И рояль?» — спросила она. Я кивнул. «И ковры?» — спросила она опять. Она никак не могла взять этого в толк и настаивала упрямо, как ребенок, на том, что хочет увидеть все своими глазами. Мои опасения, что все это напугает ее, оказались излишними. Она смотрела и ничего не видела и не слышала, когда через два часа изнурительного пути по разрушенному городу наконец стояла в том дворе, который так хорошо знала. Она смотрела на груды кирпичей и обломков и в пустоту над ними без всякого выражения на лице. Потом повернулась и стала карабкаться на метровую кучу мусора, выбираясь на улицу. За два часа обратной дороги она не сказала ни слова. Когда поезд дернулся и я замахал вслед, она только один раз подняла и тут же опустила руку.

В письме она написала, что плакала днями и ночами. А что теперь? Через год? Может, и она сегодня в Дрездене смотрит в такую же пустоту?

Берлин, 27 февраля 1945 г.

Утром 23 февраля, в день моего рождения, наконец пришла весточка! Два письма и две открытки, грязные и мятые, все сразу! Вот подарок так подарок! Они живы и здоровы, и даже квартира еще цела. В окнах лопнули стекла, и в комнатах полно гари, стоит ледяной холод, родители спят в коридоре.

Но вчера вечером газета принесла чудовищные вести. Дрезден стерт с лица земли. Огненный смерч засасывал бегущих по улице людей, разрывал их в огненные клочья и носил по воздуху, словно мотыльков или ночных бабочек. Кое-кто, чтобы спастись, попрыгал в пруды, но вода в них закипела, и люди сварились, как раки. Десятки тысяч трупов погребены под обломками. А родители живы! Печаль, гнев и благодарность бьются в одном сердце. Третий рейх вершит самоубийство чужими руками. Но имя трупа — Германия.

Берлин, 1 марта 1945 г.

Геббельс тоже высказывает мысли об историческом развитии, еще и на весь мир, посредством эфира. Так, вчера он заявил: если мы проиграем войну, значит, богиня истории — шлюха. Хотел ли он косвенно доказать, что мы, если бы означенная богиня не была шлюхой, выиграли бы войну? Или он в щадящей форме пытался подготовить нас к известию о быстром падении нравов среди богов?

Берлин, 2 марта 1945 г.

Два часа дня. С десяти часов утра над Германией — от четырех до пяти тысяч самолетов. И среди них истребители, которые за отсутствием противовоздушной обороны атакуют на бреющем полете железнодорожные пути и вокзалы. Кровавый забой беззащитного противника, который не хочет сдаваться, — малоприятное зрелище. У меня никак не выходит из головы картина: боксер уже не может поднять кулаки, он то падает, то опять встает, его вновь бьют и укладывают, а он смотрит стеклянным невидящим взглядом в угол — на тренера. Но тот все не бросает на ринг полотенце, а лишь рычит: «Давай вставай! Удар левой!»

То, что я на сей раз легко отделался, так это только благодаря штабному врачу, который меня осматривал. Он спросил у меня, когда я голый стоял перед ним навытяжку, мою фамилию и профессию и потом сказал: «Так, так, значит, вы *mom* Кестнер!» Это замечание не сулило мне ничего хорошего. Но когда я после узнал от дряхлого майора призывной комиссии, с моноклем в глазу, что признан негодным и уволен с военной службы, то понял, что врач, наоборот, очень благоволил ко мне. В противном случае, он по меньшей мере отправил бы меня писарем в штаб или определил бы реквизировать в парадном военном мундире картофельные очистки. Как есть друзья, которые тебя и знать не хотят, так есть и такие, для равновесия, которых ты не знаешь сам.

Берлин, 7 марта 1945 г.

Гудериан, начальник Генерального штаба, собрав журналистов, обратился к мировой общественности. Неслыханный натиск русских частей объясняется приказами Верховного Главнокомандующего, один из которых он читал. Но он, Гудериан, не заметил в период немецкого вторжения в Россию ни «дьявольских печей, ни газовых камер, ни тому подобных плодов больного воображения». Под конец он заговорил о той сумасшедшей работе, которая ведется, чтобы перейти на Восточном фронте от обороны к наступлению. Вот мировая общественность поразится! Да только тому, как у этого большого военачальника язык поворачивается говорить такое, нет бы взять и откусить его себе!

Когда-нибудь напишут историю немецкого генералитета, начиная с 1933 года, неприглядная получится история, в высшей степени малоутешительная и совсем не прусская. В ней будет рассказано, как генералы молчали и подчинялись. Как об их головы ломали маршальские жезлы и раздавали им пощечины, а они лишь стояли по стойке «смирно». Как они вели не нашу, не свою, а «его» войну. Как, за малым исключением, хранили верность своему вероломству вплоть до могилы. Только до чьей могилы?

Берлин, 9 марта 1945 г.

Сегодняшнюю передовую в «Фёлькишер беобахтер» состряпал лейтенант по имени Карл-Хайнц Штокхаузен. Однако это не его рук преступление. Он всего лишь вымаранный кровью инструмент. И не умеет ни писать, ни думать, но и это не его вина. Возможно, он юный герой. Наверняка зеленый юнец. Для подстрекателей, которые давно уже собрались бежать, годится все, чтобы выдвинуть последний, решительный довод.

Статья называется «Юные солдаты». Карл-Хайнц пишет: «Вы, юные солдаты, — знайте, что вам нечего терять! Или, может, кто-то из вас думает, что жизнь под градом бомб и в паническом страхе перед жестокостью врага чего-то да стоит, чтобы любой ценой пытаться сохранить ее? Враг ведет войну безжалостно! И по ту линию фронта в войсках тоже находятся совсем молодые солдаты. Но они с юных лет отупели от большевизма, и разве это быдло, превратившееся в стадо, может быть лучше и храбрее вас — лихих, подтянутых членов гитлерюгенда!»

Натравливают молокососов на молокососов. Воистину невозможно более жестоко глумиться над «цветом нации»! Семнадцатилетним солдатам напоминают, что они были в гитлерюгенде. Но при этом помалкивают про дивизию «Гитлерюгенд» и про то, что ее больше нет. Она была вооружена противотанковыми минами, которым положено прилипать к русским танкам. Но они никуда не годились и не прилипали. И тогда этим детям в униформе приходилось бежать рядом с движущимися чудовищами и до тех пор прижимать подрывной заряд к борту танка, пока их самих не разрывало вместе с ним.

Вчера меня предупредили: СС, а это известно предупредившему из надежного источника, планирует перед приходом русских прощальную кровавую тризну — «ночь длинных ножей». Мое имя тоже в списке. Не очень-то окрыляющая весть. Ведь я лишен права покидать Берлин. А я-то прилип тут прочно, как муха в банке с клеем.

Майрхофен, Циллерталь, 22 марта 1945 г.

Муха больше не сидит прилипшей в банке. Ей помогли выбраться. Высвободить дергающуюся муху даже диктатура не запрещает, но помочь такому человеку, как я, сойти с берлинского асфальта — рискованное дело. И этот риск, на который пошел один «друг животных», кончится только вместе с войной. Так когда же? Этого я пока не знаю, и меня это беспокоит. И он не знает и посмеивается.

Последняя берлинская запись в дневнике датирована 9 марта. Вот уже целую неделю мы в Тироле. Есть что записать задним числом.

Все началось с того, что Лотта встретилась с Эберхардом на территории УФА, и тот удивленно спросил ее: «А почему вы, собственно, еще здесь?» Она ответила: «Потому что Эрих не имеет права уехать». Тогда он сказал: «Мы это устроим. Послезавтра я уезжаю на натурные съемки. Если он хочет, я могу взять его с собой. Приходите сегодня вечером ко мне. Мы все обсудим».

Вечером мы все обсудили. Он сел за пишущую машинку и заполнил на мое имя чистые бланки, подписанные государственным советником Хансом Хинкелем. Эберхард написал, что я якобы автор сценария, по которому в Майрхофене снимается фильм, и скрепил легальность документа собственной подписью.

Весь следующий день я провел в государственных конторах. Ходил в полицию, в управление по выдаче продовольственных карточек и в штаб «фольксштурма». И везде получал на основании предъявляемого документа дальнейшие необходимые бумажки. Все шло как по маслу. Занервничал я в банке на Оливаерплац. Потому что именно здесь меня в первый раз арестовало гестапо. Здесь же, год спустя, был наложен арест на мой счет. Всем тут было известно, что государство меня не жалует. Я не решался снять наличными все мои деньги, а только попросил сделать для меня дорожный чек. Когда служащий вернулся и объявил, что выдать мне дорожный чек не может, я замер не дыша. Но тут он добавил, что у них в банке нет нужной для этого формы, и у меня отлегло от сердца. Он поинтересовался, не устроит ли меня та же сумма наличными. Я милостиво изъявил согласие, милостиво проследовал к кассе, получил всю сумму сполна и размеренным шагом удалился.

Майрхофен, 8 апреля 1945 г.

Еще в XVIII столетии войны велись только летом. А в суровое время года войска отправлялись на «зимние квартиры», и продолжение войны откладывалось до весны. То были сезонные войны. В XIX веке уже не взирали на времена года. Территориальное ограничение военных действий взяло верх. Войны на уничтожение, включая и первую мировую, ограничивались линией фронта и не затрагивали тылов. Но теперь и эти ограничения сняты. Авиация и дальнобойные орудия стерли с лица земли понятие «фронт».

Сегодняшняя война ведется всегда и повсюду. Нет больше гражданских лиц. Разве только грудной младенец сойдет за невооруженного солдата. А бесчисленные отпускники, находясь в увольнительной, беспомощно сидят во время мощной бомбежки вместе с женами и детьми в подвалах больших городов, тревожно ожидая, на кого в этой лотерее над их головами выпадет роковой жребий, и охвачены только одним желанием: скорее выбраться отсюда и назад — в армию! На фронт! Современная война — это последнее достижение XX века — стала тотальной.

Майрхофен, 21 апреля 1945 г.

Освобожден концентрационный лагерь Бухенвальд, и американский генерал заставил членов нацистской партии Веймара, города Гёте, посетить лагерь. При виде истощенных голодных лиц заключенных, газовых печей и сложенных штабелями скелетов многие «экскурсанты» попадали в обморок.

Майрхофен, 1 мая 1945 г.

Первое мая, и такой толстый слой снега! Словно ночью невидимый великан-волшебник укрыл склоны гор и спящие деревья в садах белыми пуховыми перинами. А на заснеженных улицах и дорогах стоят люди и рассказывают друг другу: Гитлер лежит на смертном одре.

Вчера выдали продовольственные карточки на май. А сегодня уже нет никаких продуктов: ни хлеба, ни масла, ни мучных изделий. Магазины пусты. И ежедневная молитва «Хлеб наш насущный дай нам на сей день!» вряд ли будет услышана в ближайшие четыре недели даже от набожных людей.

Майрхофен, 2 мая 1945 г.

По новой версии, Гитлер не лежит на смертном одре, а «пал в Берлине»! Умереть можно по-всякому, а «пасть» — только сражаясь, что явно и хотят показать и что, однако, маловероятно. Он мог рассчитывать лишь на худший вариант — взятие в плен, но этот спектакль не по нем. Отсюда вывод — он «не пал».

Сегодня утром снежные сугробы еще выше вчерашних, теперь они тают и опускаются сантиметр за сантиметром. Из-под белых пуховых перин уже высунули свои го-

ловки первые примулы и одуванчики. А труп Муссолини все еще лежит или висит на площади в Милане.

Майрхофен, 3 мая 1945 г.

Новый слух: Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством. На сегодняшний день это самая разумная версия. Перед этим по радио передали приказ: приспустить в память о фюрере флаги. А потом распорядились флаги на ночь убрать. Зачем? Опасаются, что их украдут на память как сувениры? Люди интересуются по ночам не флагами со свастикой, а лондонским радио. Из всех домов, как только стемнеет, слышны его позывные, уже никто не церемонится, так и кажется, что кругом колют дрова.

Майрхофен, 4 мая 1945 г.

Агония... Клио вынесла смертный приговор. Режим, который был нежизнеспособен, но не хотел умирать, больше не существует. С сегодняшнего утра веют красно-бело-красные знамена свободы — какое великолепие!

Майрхофен, 5 мая 1945 г.

Радио «Голос немецкого народа» — нововведение советских оккупационных властей — сообщило, что Берлин получит достаточно хлеба. Уже по одному этому можно судить, какова цена клевете, когда утверждают, что русские — недочеловеки или низшая раса. Кроме того, самолетами из Москвы прибыли инженеры и техники, чтобы восстановить частично рухнувшую в подземные туннели метро Фридрихштрассе и открыть по ней движение.

Майрхофен, 6 мая 1945 г.

Я начинаю вновь проявлять интерес к своей пьесе «Школа диктаторов». В течение долгих лет не доставляло никакого удовольствия писать сцены и диалоги, которые в случае домашнего обыска стоили бы мне головы. Необходимо время, чтобы привыкнуть к мысли, что такой опасности больше нет.

Майрхофен, 8 мая 1945 г.

Йодль подписал безоговорочную капитуляцию. В Реймсе [1]. Радио передает, как там празднуют победу и какое ликование царит там. Все вместе гордятся друг другом — сколько побед одержали они за пять лет войны. И у них есть все основания гордиться и прославлять себя. Но они упрекают нас, что это потребовало усилий с их стороны, и то, что сделали они, было нашим делом. Мы, немецкое меньшинство, оказались недееспособными. Сомнительный упрек. И содержит только одну половину правды. О второй они умалчивают. Игнорируют собственную долю вины. И, умалчивая о ней, превращают то, что уже высказали, во фразу, а мы за прошедшие годы стали очень чувствительны к фразам. И к тем, что звучат из-за океана, — тоже. Победители, которые указывают нам на скамью подсудимых, должны сесть рядом с нами. Там еще есть место.

Кто же заключал соглашения и пакты с Гитлером, когда палач уже давно орудовал у нас в открытую? Ведь не мы же. Кто шел на конкордаты? Подписывал торговые договоры? Посылал дипломатов с поздравлениями по случаю торжественного приема и атлетов — на Олимпийские игры в Берлин? Кто пожимал руку преступникам, а не их жертвам? Ведь не мы же, дорогие господа фарисеи!

Вы называете нас «другая» Германия. Это должно звучать как похвала. Но вы хвалите нас, только чтобы еще больше ругать. Вам угодно забыть, что эта «другая» Германия была той истязаемой страной, которую Гитлер захватил самой первой и на самое долгое время? Разве вам не известно, каков расклад в тоталитарном государстве между властью и отсутствием оной? Вы упрекаете нас в неспособности совершить покушение? И что только самые удачливые из нас были дилетантами-одиночками, попытавшимися расправиться с непревзойденными убийцами масс? Вы правы. Но права бросить в нас первый камень у вас нет! Его должна держать не ваша рука. Вы не знаете, куда его деть? Место ему под стеклом в Музее Истории, с занесением в каталог. Рядом с четко выведенным числом немцев, убитых немцами.

---

[1] Предварительная капитуляция вермахта на Западном фронте 7 мая 1945 г. (*Прим. перев.*)

Майрхофен, 15 мая 1945 г.

Третий рейх кончился, и теперь начнут делать книги. Жалкие, сенсационные и лживые, но я надеюсь хотя бы на парочку искренних и нужных среди них. И без психологического исследования... о поведении среднего немца тоже не обойдется. Оно, возможно, будет даже называться «Переменчивость человека в условиях диктатуры». Без такого анализа все сторонние мстители, копатели, миссионеры и заезжие гости «комнаты ужасов» почувствуют себя потерянными в этом лабиринте, не зная, как туда войти и как выйти. И даже нам, топчущимся на месте в том самом лабиринте, который еще не стал музеем и все еще живой, как Минотавр и его жертвы, — даже нам нужна такая книга.

Однако тому, кто не захочет быть слепым судьей, мало только знать, что произошло. Ему придется исследовать, как это могло произойти. И придется переучиваться, иначе он уподобится невежде, рассуждающему о свойствах воды, не знающему, однако, как она себя ведет при нуле градусов и выше точки кипения.

Человек тоже способен менять свое агрегатное состояние. Вода изменяет его при сильном холоде или жаре, а человек — под непомерным давлением. То, что он изменился до неузнаваемости, не сразу бросается в глаза, поскольку он еще сохраняет вертикальное положение тела и привычные черты лица. И его интеллигентность и инстинкт продолжения рода тоже не исчезают. Лишь сон да аппетит нарушаются на время, и прежде всего в первой фазе превращения под растущим нажимом. Потому что он еще не утратил страха и боится обнищания, тюрьмы, побоев, пинков, ударов кнута, голода и хворей, боится за жизнь своих близких, собственной смерти и испытывает страх, как бы не солгать и не предать из-за страха.

Потом им овладевает один-единственный страх: как бы не сказать чего другого в сравнении с тем, чего от него ждут. А под конец у него вообще не остается страхов. Опыт удался. Он изменил свое агрегатное состояние.

Совесть ведь способна на ротацию. Кому же хочется быть плохим? Да еще на каждом шагу и во всех отношениях? Вот тут верноподданный и заключает договор между своей душой и господствующей моралью, какой бы аморальной она ни была. Внутренний голос подчиняется кодексу данного времени, а верноподданный — своему внутреннему голосу. Стрелки колеблются. Как из набожных людоедов можно сделать набожных христиан, так и набожных христиан можно превратить в набожных людоедов. Одно не сложнее другого, разве лишь не происходит за одну ночь. Совесть сжигает то, чему поклонялась сегодня, примерно за неделю. Она способна признать несправедливость справедливостью, инквизицию — угодной Богу, а убийство — целесообразным с точки зрения государственной политики. Совесть способна повернуться на 180 градусов. Ей только нужно дать для этого немножко времени. Правда, никто не застрахован от рецидивов. И в третьем рейхе были герои и мученики, другими словами — верноподданные, которые не хотели шагать в ногу со временем, а предпочитали пойти на гибель.

Колесо истории, с которым ротируемая совесть связана через трансмиссию, не маховое, а зубчатое колесо. Оно двигается надежно, но медленно, зубец за зубцом, шаг за шагом. Кто форсирует темп, тот рискует загубить весь механизм. И даже диктаторам приходится набираться терпения, дожидаясь, пока общественное мнение созреет. Гитлер вначале не верил в это, поэтому бойкот евреев в 1933 году оказался ошибкой. Население больших городов бойкотировало этот бойкот. У совести, готовой на любую ротацию, была сорвана при резком повороте резьба. Лишь через пять лет, в 1938 году, это получилось. В «хрустальную ночь» уже стало возможным поупражняться в погромах и обвинить в этом обыкновенных обывателей, а не СС и полицию. Уже никто не ждал возражений, и тем более — сопротивления.

В ту ночь я ехал на такси домой, по Тауэнтциенштрассе и Курфюрстендамм. По обеим сторонам этих улиц стояли мужчины и били железными прутами витрины. Повсюду слышался хруст и звон разбитого стекла. Это были эсэсовцы в черных бриджах и высоких сапогах, но в гражданских куртках и шляпах. Они спокойно и размеренно делали свое дело. Ударяли несколько раз прутом и переходили к следующей витрине. Прохожих не было видно. (Позднее, как я услышал на следующий день, появились женщины из ночных баров, кельнеры и проститутки и разграбили витрины.)

Я останавливал такси трижды. Трижды я пытался выйти. Трижды из-за дерева выходил сотрудник уголовной полиции и категорически требовал от меня остаться в машине и ехать дальше. Трижды я заявлял, что имею право выйти, когда хочу, и уж тем более в такой момент, когда на глазах у всех происходят, мягко говоря, неподобающие вещи. Трижды я слышал резко в ответ: «Уголовная полиция!» И трижды захлопывалась дверца такси. Трижды мы ехали дальше. Когда я захотел остановиться в четвертый раз, шофер отказался. «Нет никакого смысла, — сказал он, — и кроме того, это сопротивление государственным властям!» Он затормозил только перед домом, в котором я жил.

Вот теперь все удалось. Перевернутый мир господствовал отныне официально,

никто не смел даже пикнуть. Партия совершала на улицах, в открытую, пусть ночью и в шутовской одежде, действия, которые раньше назвали бы преступными, а теперь немецкая уголовная полиция покрывала преступников. И даже угрожала — в самом Берлине, на Курфюрстендамм — прохожим. В ту же ночь теми же преступниками и под охраной полиции были подожжены синагоги. А на следующее утро немецкая пресса объявила, что это дело рук населения, давшего спонтанный выход своему накопившемуся недовольству. В один и тот же час по всей Германии — и это называется спонтанность! А вот ведь посмели так сказать, и — никаких возражений. Вот теперь ротированную совесть приобщили к господствующей идеологии. На сей раз расчет Гитлера оказался точен. И оставался таким, пока через несколько лет не запылали города.

Postskriptum 1960

«И вдруг однажды, — читаю я спустя годы в своих записях, — перед крестьянским домом остановилась разбитая машина. Нас на несколько дней забрали в Мюнхен. Актеры решили открыть там кабаре...»

А больше ничего не случилось в августе 1945? Жидкий суп из харчевни, слова прощания, разбитая машина... Частная хроника не зафиксировала ничего существенного.

Но оно записано в ВЕЛИКОЙ ХРОНИКЕ ВРЕМЕНИ. И запись эта гласит: «6 августа 1945 года сброшена первая атомная бомба. 10 августа — капитуляция Японии».

То, что американский майор Клод Изерли страдает с тех пор неизлечимым чувством вины и что сейчас, в январе 1961 года, объявлен судом присяжных душевнобольным и в десятый раз помещен в психиатрическую лечебницу, причисляется к мелочам жизни, которым нет места в ВЕЛИКОЙ ХРОНИКЕ ВРЕМЕНИ. И что другой пилот другого бомбардировщика совершил самоубийство, тоже не найдет там отражения. Гораздо проще официально подтвердить, что все человечество решилось на самоубийство. Да только кто же из чиновников останется тогда в живых, чтобы засвидетельствовать на бумаге это тотальное харакири? Разве что Высшее существо, в которое так многие веруют? Неважно, что называют Его по-разному.

Нет. В мире существуют миллиарды звезд. Засвидетельствованное самоубийство нашей планеты стало бы не важнее неподтвержденного самоубийства пилота. Добровольной гибели жителей земного шара не место в ХРОНИКЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. Что такое наш вращающийся по эллипсу шарик, если люди перестали быть людьми? Да просто мелочи жизни. Не стоит взывать: «О Боже! О небо!» Скажите лучше вместе со мной: «Земля наша родимая!»

■

РОАЛД ДАЛ

Генезис и катастрофа

Правдивая история

РАССКАЗ

Перевод с английского Л.КУРБАТОВА

— Все в порядке, — говорил доктор. — Ложитесь и постарайтесь расслабиться. — Голос его доносился откуда-то издалека, и ей казалось, что он кричит. — У вас сын.

— Что?

— У вас прекрасный сын. Понимаете? Прекрасный сын. Вы слышали, как он кричал?

— Он здоровый, доктор?

— Конечно, здоровый.

— Дайте посмотреть на него, пожалуйста.

— Вы сейчас его увидите.

— Вы уверены, что он здоровый?

— Совершенно уверен.

— Он все еще кричит?

— Постарайтесь отдохнуть. Вам не о чем беспокоиться.

— Почему он перестал кричать, доктор? Что случилось?

— Не волнуйтесь, пожалуйста. Все в порядке.

— Я хочу посмотреть на него. Дайте мне посмотреть на него, пожалуйста.

— Послушайте, милая! — сказал доктор, похлопывая ее по руке. — У вас прекрасный, сильный, здоровый ребенок. Почему вы мне не верите?

— А что там женщина с ним делает?

— Ребенка прихорашивают для вас, — сказал доктор. — Мы его немножко вымоем, вот и все. Для этого вы должны дать нам несколько минут.

— Вы клянетесь, что он здоровый?

— Клянусь. Теперь ложитесь и постарайтесь расслабиться. Закройте глаза. Ну же, закройте глаза. Вот. Так-то лучше. Умница...

— Я молилась, я все время молилась, чтобы он жил, доктор.

— Конечно, он будет жить. О чем вы говорите?

— Другие не выжили.

— Что?

— Никто из моих детей не выжил, доктор.

Доктор стоял возле кровати, глядя на бледное изможденное лицо молодой женщины. Он раньше ее не видел. Она и ее муж недавно приехали в город. Жена владельца гостиницы, которая пришла помочь при родах, сказала ему, что муж пациентки работал в местной таможне на границе и что оба они прибыли в гостиницу совершенно неожиданно с одним кофром и одним чемоданом — около трех месяцев назад. Муж был пьяницей, как сказала жена владельца гостиницы, заносчивым, властным и задиристым коротышкой-пьяницей, а молодая женщина была кроткая и набожная. И очень печальная. Она никогда не улыбалась. За несколько недель, что она жила здесь, жена хозяина гостиницы ни разу не видела ее улыбки. Ходил также слух, будто у мужа это был третий брак, будто одна жена у него умерла, а другая развелась с ним по каким-то сомнительным причинам. Но это был только слух.

Доктор наклонился и подтянул простыню, чтобы повыше закрыть грудь своей пациентке.

— Вам не о чем беспокоиться, — сказал он мягко. — Это совершенно нормальный ребенок.

— О других детях мне говорили то же самое. Но я потеряла их всех, доктор. За последние восемнадцать месяцев я потеряла всех троих детей, поэтому вы не должны ругать меня за то, что я так беспокоюсь.

— Троих?

— Это мой четвертый... за четыре года.

Доктор смущенно шаркнул ногой по голому полу.

— Вы вряд ли знаете, доктор, что это такое, потерять всех, всех троих, постепенно, одного за другим. Я и сейчас их вижу. Вижу лицо Густава так же ясно, как будто он лежит здесь, рядом со мной, на кровати. Густав был красивым ребенком, доктор. Но они все время болеют, и ты не можешь ничем помочь им.

— Я знаю.

Женщина открыла глаза, пристально посмотрела на доктора, потом опять закрыла их.

— Мою маленькую девочку звали Ида. Она умерла за несколько дней до Рождества. Прошло всего четыре месяца. Как бы мне хотелось, чтобы вы увидели Иду, доктор.

— Теперь у вас новый ребенок.

— Но Ида была такой красавицей.

— Да, — сказал доктор. — Я знаю.

— Откуда вам знать? — крикнула она

— Я уверен, что она была прелестным ребенком. Но этот, новый ребенок тоже мил. — Доктор отошел от кровати, приблизился к окну и стал смотреть на улицу. Был мокрый серый апрельский день, и огромные капли дождя разбивалиєь на красной черепичной крыше дома напротив.

— Иде было два года, доктор... Она была такой красивой, что я не могла глаз от нее отвести с самого утра, когда одевала ее, и до вечера, когда укладывала ее спать. Я жила в ужасном страхе — как бы чего не случилось с этим ребенком. Густав умер, и мой маленький Отто тоже умер, только она у меня и осталась. Иногда я поднималась ночью, прижималась к ее кроватке и подносила ухо к ее ротику, просто чтобы убедиться, что она дышит.

— Попытайтесь, пожалуйста, попытайтесь отдохнуть, — сказал доктор, возвращаясь к кровати.

Лицо женщины, белое, бескровное, у носа и рта казалось синевато-серым. Несколько прядей потных волос прилипли ко лбу.

— Когда она умерла... Я была уже снова беременна, когда это случилось, доктор. Я была уже на четвертом месяце, когда умерла Ида. «Не хочу! — кричала я после похорон. — Хватит! Сколько можно хоронить детей!» А мой муж... он расхаживал среди пришедших с большой кружкой пива, быстро повернувшись ко мне, сказал: «У меня новость для тебя, Клара. Хорошая новость». Можете себе представить, доктор? Мы только что схоронили нашего третьего ребенка, а он стоит с кружкой пива и говорит, что у него хорошая новость. «Сегодня меня перевели в Браунау, — говорит. — Можешь сейчас же начинать собираться. Для тебя откроется новая жизнь, Клара, — говорит. — На новом месте у тебя будет новый доктор...»

— Пожалуйста, больше не разговаривайте.

— Вы и есть новый доктор? Да?

— Да.

— Я боюсь, доктор.

— Постарайтесь не бояться.

— Есть ли надежда, что мой четвертый ребенок выживет?

— Нельзя все время об этом думать.

— Я не могу иначе. Я уверена: дело в наследственности, из-за нее умирают мои дети. Должно быть, так.

— Это глупости.

— Вы знаете, что сказал мне мой муж, когда родился Отто, доктор? Он вошел в комнату, заглянул в колыбель, где лежал Отто, и сказал: « Почему это все мои дети должны быть такими маленькими и слабыми?»

— Я уверен, что он так не говорил.

— Он склонился над колыбелькой Отто, как будто изучал крохотное насекомое, и сказал: «Я все-таки хочу знать, почему они не могут быть получше? Вот и все». И через три дня Отто умер. Мы окрестили его быстро, на третий день, и в тот же вечер он умер. А затем умер Густав, а потом умерла Ида. Все они умерли, доктор... и мой дом вдруг опустел.

— Не думайте об этом сейчас.

— Этот ребенок очень маленький?

— Нормальный ребенок.

— Но маленький?

— Возможно, он маловат. Но маленькие часто бывают крепче больших... Только представьте себе, фрау Гитлер, через год в это время он будет уже учиться ходить. Разве это не приятная мысль?

Она не ответила.

— А через два года он будет болтать без умолку и сводить вас с ума своим щебетом. Вы уже решили, какое имя ему дать?

— Имя?

— Да.

— Не знаю. Кажется, муж сказал, что, если родится мальчик, мы назовем его Адольфус.

— Значит, его будут звать Адольф.

— Да. Мой муж любит имя Адольф за некоторое сходство с именем Алоис. Моего мужа зовут Алоис.

— Прекрасно.

— О нет! — крикнула она, неожиданно приподнявшись. — То же самое меня спрашивали, когда родился Отто! Это значит, что ребенок умрет! Поскорее окрестите его!

— Ну, ну! — Доктор нежно дотронулся до ее плеча. — Вы ошибаетесь. Уверяю вас, ошибаетесь. Я просто любопытный старикашка. Вот и все. Люблю говорить об именах. Я думаю, Адольфус — прекрасное имя. Одно из моих любимых имен. Посмотрите, вот и он.

Жена владельца гостиницы проплыла через комнату к кровати, неся ребенка на своей высоченной груди.

— Вот он, красавчик! — воскликнула она сияя. — Хотите подержать его, дорогая? Положить его рядом с вами?

— Он хорошо завернут? — спросил доктор. — Здесь очень холодно.

— Конечно, хорошо.

Ребенок был туго запеленут в белую шерстяную шаль, из нее высовывалась только маленькая розовая головка. Жена владельца гостиницы осторожно положила его на кровать рядам с матерью.

— Ну вот, — сказала она. — Теперь вы можете лежать и смотреть на него сколько душе угодно.

— Я думаю, он понравится вам, — улыбаясь, сказал доктор. — Это прекрасный малыш.

—.У него прелестные руки! — воскликнула жена владельца гостиницы. — Такие длинные, изящные пальцы!

Мать не пошевелилась. Даже не повернула головы, чтобы посмотреть на ребенка.

— Ну же! — крикнула жена владельца гостиницы. — Он вас не укусит!

— Я боюсь посмотреть. Не смею верить, что у меня еще один ребенок и что он здоров.

— Не глупите.

Мать медленно повернула голову, посмотрела на маленькое совершенно безмятежное лицо ребенка, лежавшего рядом с ней на подушке.

— Это мой ребенок?

— Конечно.

— О..... О... Но он такой красивый.

Доктор повернулся, подошел к столу и начал укладывать свои вещи в сумку. Мать лежала на кровати, пристально глядя на ребенка, она улыбалась, дотрагивалась до него и радостно ворковала:

— Здравствуй, Адольфус! Здравствуй, мой маленький Адольф...

— Ш-ш-ш! — прошептала жена владельца гостиницы. — Слышите? Кажется, сюда идет ваш муж.

Доктор подошел к двери, открыл ее и выглянул в коридор.

— Господин Гитлер!

— Да.

— Входите, пожалуйста.

Маленький человечек в темно-зеленой униформе осторожно ступил в комнату и огляделся.

— Поздравляю, — сказал доктор. — У вас родился сын.

У человека были тщательно ухоженные, внушительные бакенбарды на манер императора Франца Иосифа, и от него разило пивом.

— Сын?

— Да.

— И как он?

— Прекрасно. И ваша жена тоже.

— Хорошо. — Человек повернулся и пошел к кровати, где лежала его жена, маленькими шажками, какой-то странной подпрыгивающей походкой.

— Ну, Клара, — сказал он, улыбаясь из своих бакенбард. — Как все прошло? — И наклонился, чтобы посмотреть на ребенка. Затем нагнулся ниже. Быстрыми резкими движениями он нагибался все ниже и ниже, пока его лицо не оказалось в двенадцати

дюймах от малыша. Жена лежала на боку, глядя на мужа каким-то просящим взглядом.

— У него просто удивительные легкие, — объявила жена владельца гостиницы. — Вы бы послушали, как он орал, когда только появился на свет.

— Но, Боже мой, Клара...

— Что такое, дорогой?

— Этот еще меньше Отто!

Доктор быстро шагнул вперед.

— Это нормальный ребенок, — сказал он.

Муж медленно выпрямился, отвернулся от кровати и посмотрел на доктора. Казалось, он смущен, поражен.

— Нехорошо врать, доктор, — сказал он. — Я знаю, что это значит. Будет опять то же самое.

— Да послушайте вы меня, — настаивал доктор.

— А вы знаете, что случилось с другими детьми, доктор?

— Забудьте о других, господин Гитлер. Почему этому ребенку не жить?

— Но он такой маленький и слабый!

— Поймите, он же только что родился.

— Пусть так, но...

— Чего вы хотите? — закричала жена владельца гостиницы. — Свести его в могилу своими разговорами?

— Довольно! — оборвал их доктор.

Мать плакала. Рыдания сотрясали ее тело.

Доктор подошел к мужу и положил руку ему на плечо.

— Не огорчайте ее, — прошептал он. — Пожалуйста. Это очень важно. — И, сжав плечо мужа, стал незаметно подталкивать его к кровати. Муж колебался. Доктор настойчиво сжимал его плечо все сильнее и сильнее. Наконец муж неохотно наклонился и слегка поцеловал жену в щеку.

— Ладно, Клара, — сказал он. — Перестань плакать.

— Я так молилась, чтобы он жил, Алоис.

— Хорошо.

— Я ежедневно ходила в церковь и несколько месяцев молилась на коленях, чтобы этот ребенок жил.

— Да, Клара, я знаю.

— Три ребенка умерли, больше я не вынесу, неужели ты не понимаешь?

— Конечно.

— Он должен жить, Алоис. Должен, должен... О Боже, будь к нему милостив...

■

БОГУСЛАВ ШНАЙДЕР

Два интервью о войне

Две беседы, предлагаемые вниманию читателей, взяты из еще не вышедшей книги чешского писателя и журналиста Богуслава Шнайдера (р.1940). В годы войны, после казни отца-антифашиста, четырехлетним ребенком он угодил в концлагерь. В юности сменил немало профессий, был типографским рабочим, бурильщиком, моряком, совершил кругосветное путешествие, о котором рассказал в своей первой книге «Бродяга на всех меридианах». Мы печатали главы из документального повествования Б.Шнайдера «Золотой треугольник» («ИЛ», 1987, № 3 — 5), в котором рассказывается о наркобаронах современного Индокитая. Новая книга, над которой наш чешский автор работал несколько лет, представляет собой обширное собрание интервью с американскими и советскими писателями, участниками Большой войны. Интервьюера в первую очередь интересовало то общее и различное, что несет в себе опыт творческого человека, волей судьбы увидевшего войну с западного или восточного ее фасада. Из нескольких десятков бесед мы выбрали две — с Джозефом Хеллером и Куртом Воннегутом, авторами самых популярных в нашей стране американских романов о войне — «Поправка-22» и «Бойня № 5, или Крестовый поход детей».

ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР

Б.Ш. Ваша самая известная книга «Поправка-22» завоевала международное признание и до сих пор находится в списке лучших американских книг о второй мировой войне. Литературные критики пытаются обнаружить связь между вашим личным военным прошлым и особенностями книги. Можете ли вы сказать, что ваш военный опыт — это горький опыт?

Дж.Х. Ни в коем случае. Война была для меня благословением. Она дала мне значительные преимущества перед другими в материальном, социальном и даже культурном плане. Мне необычайно повезло! В армию я пошел девятнадцати лет. До войны работал скромным регистратором. Для таких, как я, настоящей работы не было. У меня не было ни специального образования, ни какой-либо возможности его получить. На Кони-Айленде, где я вырос среди других детей иммигрантов, колледж никто не посещал. А в армии простым рядовым я сразу же начал зарабатывать больше, чем «на гражданке», не говоря уж о том, что вырвался к более интересной жизни. После того как я стал офицером корпуса военных бомбардировщиков и к тому же стал летать за границу, мой статус и заработок соответственно возросли. Военным платили за пребывание в армии само по себе, отдельно за офицерское звание, отдельно за каждый боевой вылет и дополнительно за заграничные полеты. Причем с последними мне тоже на удивление везло. Наша часть стояла на Корсике, летать доводилось на незначительные расстояния — в основном в Северную Италию и на юг Франции. Незадолго до моего прибытия на фронт на этом участке шли тяжелейшие бои, и сразу после моего ухода из армии ситуация вновь стала напряженной; но те десять месяцев, что я служил, обстановка была спокойной. Что до моих отношений с начальством, то за все время службы у меня не возникло ни одного конфликта. Кстати, насколько я знаю, все наши военные начальники выслужились из рядовых и начинали добровольцами. После возвращения из армии я, благодаря своему пребыванию на фронте, смог поступить в колледж. Мне было двадцать два — самый подходящий возраст для того, чтобы учиться всерьез. Учеба давалась мне легко, я настолько хорошо «пошел», что даже начал писать рассказы. Они были опубликованы, и я удостоился Фулбрайтовской стипендии[1] и отправился в Англию. Так что я был одним из многих, кому война пошла на пользу.

Б.Ш. Понятно. Но как насчет вашего тридцать седьмого боевого вылета, который, по мнению критиков, стал поворотным моментом вашей жизни и которому вы обязаны идеей «Поправки-22»?

Дж.Х. То, что случилось во время моего тридцать седьмого вылета, не столь уж драматично по сравнению с тем, что довелось испытать другим. До этого знаменатель-

[1] Фулбрайтовская стипендия учреждена сенатором Уильямом Фулбрайтом для финансирования высшего образования и студенческих обменов в 1946г. (*Здесь и далее прим. перев.*).

©Bohuslav Šnajder

ного боевого задания ни в Италии, ни в Южной Франции не было немецких военно-воздушных сил; во время полетов нам не приходилось сталкиваться с такой штукой, как противовоздушная оборона. Вылететь на задание было все равно что в кино сходить или самому стать звездой экрана на час... Но день моего тридцать седьмого вылета стал и днем вторжения в Южную Францию, а летели мы в Авиньон. Обстрел был мощным. Я видел, как у летевшего впереди самолета загорелось крыло и он взорвался. Помню, я испугался. Второй пилот, испугавшись еще больше, перехватил рычаги управления и резко повел самолет на снижение. После того как мы выровнялись, я попытался выйти на связь, но в наушниках была мертвая тишина. Я воткнул телефон в розетку и услышал, как кто-то кричит, что бомбардир убит. А этим бомбардиром, между прочим, был я! Ранен был наш пулеметчик, мне пришлось перебраться назад и оказать ему первую помощь. Увидев его зияющую на бедре кровавую рану, я понял, что нахожусь на войне и могу быть убит. Я дал клятву, тайный обет никогда не летать на самолете, если уцелею на войне. Я выжил и потом в течение пятнадцати лет не пользовался услугами воздушного флота, хотя путешествовать приходилось много.

Б.Ш. А в связи с чем вы решили стать писателем?

Дж.Х. Писателем стать не решают. Писателем стать мечтают..Мое детство способствовало этому. Я вырос в читающей семье. Мои старшие брат и сестра постоянно приносили домой книги, и я читал все подряд. В основном это были современные романы, известные, но не из лучших. Еще в начальной школе мне хорошо удавались все сочинения. Я вкладывал в них много фантазии и сочинял с наслаждением. Вообще в Америке половина молодежи мечтает стать рок-звездами, а другая половина — писателями.

Всерьез относиться к писательской деятельности я начал в колледже. Прослушал курс короткого рассказа, сам написал четыре рассказа, которые тут же были опубликованы в журналах и получили хорошие отзывы. Так что у меня были все основания полагать, что моя мечта стать писателем не будет пустой тратой времени. Самый простой путь к писательской карьере виделся мне в том, чтобы продолжать учиться и получить место преподавателя в колледже. Тогда после обязательных часов у меня будет оставаться достаточно времени для того, чтобы писать. Так я и поступил. Идея написать роман до тридцати лет даже не приходила мне в голову.

Моя первая книга, «Поправка-22», сильно отличается от признанных военных романов, таких как «Нагие и мертвые» Н.Мейлера или «Отсюда в вечность» Джеймса Джонса. Я не видел ничего интересного для себя в том, чтобы писать еще один реалистический роман о войне, когда уже созданы такие замечательные произведения. Моя мысль работала в другом направлении. Этот период после ухода из армии стал временем моего становления как личности. В газетах я начал обращать внимание не только на спортивную страничку, но и на то, что пишут о деятельности правительства, о политических событиях, о международной обстановке, которая в то время была очень сложной.

Б.Ш. Когда вы приступали к роману, была ли у вас какая-то определенная идея? Были ли вы пацифистом или вам хотелось как-то отразить свой личный военный опыт?

Дж.Х. Главным было само желание писать роман. Я не знаю, каким путем воображение привело меня к «Поправке». Мне хотелось создать роман не о второй мировой войне, хотя действие происходит именно в этот период, а о нашем послевоенном мире. В романе — несколько намеренно допущенных ошибок во времени. Эти временные сдвиги позволили мне сделать какие-то ссылки на то, что происходило в стране после войны. Военная тема возникла стихийно, думаю, точно так же я мог бы написать и любовный роман. Я хочу сказать, что в то время я не был политически или социально активен. Я и сейчас не доверяю никаким политическим лидерам и партиям. Я уклоняюсь от всевозможных общественных обязанностей, налагаемых на писателя. И все же любой читатель, прочтя книгу, сможет легко определить мою позицию: либерал, может быть, чуть левее, но не доходя до социалиста.

Б.Ш. Было ли вам трудно писать свой первый роман?

Дж.Х. Я писал эту книгу еще не будучи профессиональным писателем. После работы приходил домой, занимался своими детьми, а когда они засыпали, шел в свой кабинет и часа два перед сном писал. Это было (да и осталось) для меня огромным удовольствием. Мне приятно было возвратиться мысленно назад. «Разрабатывать» идею не понадобилось: все шло само собой. Если просто пересказать фабулу, то от книги ничего не останется. Предмет описания был не так уж важен. В романе все взаимосвязано: идея, схема построения, стиль, интонация, характеры, содержание...

Б.Ш. Ваш роман очень сложен. Критики считают его новаторским.

Дж.Х. Это, я думаю, преувеличение. Роман довольно необычен для своего времени, но не единствен в своем роде, если уж говорить о новаторских тенденциях изменения романной формы. Почти одновременно с «Поправкой» появились «Над кукушкиным

гнездом», «На дороге» Джека Керуака и другие романы, имевшие схожую условно-реалистическую форму, хотя авторы понятия не имели друг о друге...

Б.Ш. Что, время пришло?

Дж.Х. Да, пришло время другого подхода к реальности, время реальности, созданной воображением. Я попробовал этот метод в «Поправке» и утверждаю, что самое интересное в моей книге — это не *что* изображено, а *как*.

Б.Ш. Ну допустим, у вас не было особого желания описывать войну. Вы выбрали тему случайно, вы начали писать роман для собственного удовольствия, не имея никакой конкретной цели. Может быть, вы попробуете все-таки описать главную идею «Поправки»?

Дж.Х. Моя идея, так же как и моя позиция автора, совершенно очевидны. Война ужасна. Хотя война с фашизмом была совершенно необходима. С другой стороны, для американцев, так же как и для других народов, гораздо большую опасность представляют «свои» милитаристы и наше правительство, чем любые угрозы «внешнего» врага. Я, например, никогда не верил, что Россия или Китай собираются напасть на нас. Если уж мы окажемся втянутыми в эту войну, то в силу собственного невежества, или религиозного фанатизма, или административного национализма. Администрация всегда представляет опасность, чем бы она ни занималась. Поэтому в моей книге нет ни одного умного героя. А тип героя, выведенный в романе, встречается в любой администрации. Административное рвение уже приводило нас к Вьетнаму, к Корее, к всевозможным социальным движениям, например, к нелепейшему современному движению — за запрещение абортов. К сожалению, люди недостаточно разумны, чтобы разглядеть опасность. С момента выхода моей книги разные люди приходили к власти в Америке. Что касается меня, мне удалось разглядеть в них преступные наклонности: они бывали и жестокими, и нечистыми на руку, и эгоистичными... И единственное, чего я в них не сумел увидеть, — это ум и достоинство.

Б.Ш. Минуточку! Как же это получилось, что при таком критическом отношении к правительству, к силам общества вообще вы все же заставили их полюбить себя? Полюбить «Поправку-22»?

Дж.Х. Дело в том, что книга была сатирой на лицемерие и несостоятельность любой власти. Критикуя всех ее представителей, «Поправка» заслужила одобрение правых, и левых, и военных, и судейских, и даже бизнесменов. Это и есть демократия, когда никто ничем не бывает доволен. Республиканцы и демократы никогда не перестанут нападать друг на друга, так что книга подойдет и тем, и другим. Может быть, именно благодаря американской демократии здесь так легко живется и пишется.

Б.Ш. Написав такую популярную книгу, склонны ли вы думать, что роман помог чему-то в обществе измениться к лучшему? Например, заглавие «Поправка» часто используется как олицетворение ненужных препятствий, с которыми сталкиваются обычно люди, имея дело с бюрократией.

Дж.Х. Должен заметить, что число людей, прочитавших какой-нибудь роман, ничтожно в сравнении с количеством людей, смотрящих телевизор. Пусть «Поправка» и разошлась тиражом в восемь-десять миллионов экземпляров за двадцать пять лет, но очевидно, что изменить что-либо она не в силах. А тех, кто сегодня вечером включит телевизор, чтобы посмотреть новости, будет сорок-пятьдесят миллионов. К тому же романы, как известно, не побуждают к действию: их слишком долго читать.

Б.Ш. Тем не менее ваша книга была очень популярна в Америке во время вьетнамской войны. Ведь она явилась чуть ли не прообразом вьетнамской кампании и предвосхитила появившееся у всех впоследствии чувство абсурдности происходящего.

Дж.Х. Действительно, описанная в «Поправке» война осуществилась в жизни, обернувшись вьетнамской кампанией, причем именно такой, какой она была описана в романе: войной, которая совершенно непонятно для чего ведется, и все объяснения ее причин — ложны.

Б.Ш. В этой сложной и абсурдной ситуации, может быть, юмор был как раз тем, что нужно читателю? Вы считаете свою книгу юмористической или сатирической?

Дж.Х. Не думаю, что это юмористическое произведение, хотя изрядная доля юмора в нем есть. Прошло довольно много лет с тех пор, как я читал «Швейка», и я не помню, умирает ли хоть один человек на страницах этого юмористического произведения о войне. В «Поправке» умирают на каждых тридцати-сорока страницах, причем ужасной смертью: от таинственных болезней и необъяснимых несчастных случаев. Смерть поджидает, останавливает и полностью поглощает человека. И эта смерть — следствие войны. И я сознательно стремился добиться сплава противоположных чувств: ужаса перед смертью и непочтительно легкомысленного к ней отношения.

Б.Ш. Вы считаете, что юмористические средства не мешают отобразить ужас смерти?

Дж.Х. Я считаю, что мне это удалось: в моем романе герои умирают часто, и их смерть, изображенная в явно гротескной форме, выглядит отталкивающе ужасной.

Б.Ш. Еще одной особенностью «Поправки» является то, что все хоть сколько-нибудь симпатичные герои оказываются в итоге проигравшими.

Дж.Х. Трудно написать роман, в котором привлекательный герой не попал бы в какую-нибудь неприятную историю или ловушку. Но что до моего главного героя, то он проиграл, хотя ему и приходится уйти из армии.

Б.Ш. Можно ли считать конец романа пессимистичным?

Дж.Х. Думаю, роман заканчивается на оптимистической ноте: герой свободен, счастлив, собирается добраться до Рима и там решить на досуге, что ему делать дальше.

Б.Ш. «Поправка-22» сразу же разошлась только в Америке тиражом в десять миллионов. Чем вы объясняете такой ошеломляющий успех книги?

Дж.Х. Никакого ошеломляющего успеха не было. В списке бестселлеров «Поправка» никогда не стояла. Она пользовалась успехом у небольшой группы читателей, во всяком случае, в 1961 году, то есть по выходе. Книга «выстрадала» свою популярность постепенно, и, думаю, сейчас она гораздо более популярна, чем в год выхода. Наконец-то чувства, выраженные в книге, совпали с чувствами читающей публики. Когда исполнилось двадцать пять лет со дня выхода книги, Академия воздушных сил устроила в Колорадо трехдневное празднество, на котором приглашенные со всей страны профессора обсуждали разные аспекты «Поправки-22». Мы с женой тоже приехали. Немного найдется книг, сохранивших свою популярность в течение двадцати пяти лет.

Б.Ш. В Европе «Поправка-22» тоже пользовалась небывалым успехом?

Дж.Х. Спустя шесть месяцев после публикации в Америке книга вышла в Лондоне, и успех был стремительным благодаря восторженным отзывам английских критиков. А во Франции и в ряде других стран книга полностью провалилась.

Б.Ш. А как насчет России?

Дж.Х. Россия опубликовала книгу без моего разрешения, через восемь или десять лет после ее выхода.[1] И мне сказали, что, как и большинство американских романов, она была распродана чуть ли не до выхода из печати. Я узнал об этом случайно: кто-то сказал мне, что встречал переводчика моей книги; а потом я наткнулся на маленькую заметку в журнале, где обсуждалось качество перевода «Поправки» на грузинский язык. Таким образом я узнал, что мой роман вышел в России по крайней мере на двух языках. Да еще пришло письмо от профессора-слависта, который спрашивал, согласен ли я с изменениями, произведенными в русском переводе книги. Я поинтересовался, о каких изменениях идет речь, но ответного письма не получил.

Б.Ш. И последний вопрос: ваши планы на будущее?

Дж.Х. Я заканчиваю роман и берусь за другой. Я наслаждаюсь своей известностью. Я наслаждаюсь писательским трудом.

КУРТ ВОННЕГУТ

Б.Ш. Ваша книга «Бойня № 5» по-своему уникальна: в ней смешались элементы фантастики с вашим личным военным прошлым; все это так взаимосвязано, что трудно отличить вымысел от реальности. Каким же на самом деле было ваше участие в войне?

К.В. Я был рядовым пехотинцем, батальонным разведчиком сто шестой пехотной дивизии, которая была полностью уничтожена немцами в декабре сорок четвертого года.

Б.Ш. Но вы ведь были призваны на фронт в сорок втором, а до этого изучали химию в университете? Вы были рады оставить химию, потому что она вам не нравилась?

К.В. Это я ей не понравился. У меня не было никаких способностей к химии, но мой брат был крупным ученым в этой области, и предполагалось, что и я им стану. Герберт Уэллс, например, был химиком, но я предпочел армию. Когда разразился Перл-Харбор, многие студенты завербовались, продолжая учиться до того момента, когда они понадобятся и их призовут. Меня призвали в сорок втором, но сначала направили в инженерную школу.

Б.Ш. Инженерное дело вам понравилось больше, чем химия?

К.В. Я всегда обожал технику.

Б.Ш. Возникало ли у вас до армии желание писать? Может быть, вы и в армию пошли с целью приобрести личный опыт, «попробовать жизнь на вкус»?

[1] «Уловка-22» . М .1967 г. *(Прим. ред.)*

К.В. Ничего подобного. Желания писать у меня тогда не было, а в армии оно и возникнуть не могло, потому что армия поглощает человека целиком.

Б.Ш. Вас готовили для каких-то военных специальностей: вождение танка или ремонт техники?

К.В. Сам не знаю. Насколько я понимаю, считалось, что студенты продолжают университетские занятия, но одновременно учатся кое-что смыслить в военной технике. Так я и учился около года: в людях на фронте не было особой нужды. Но в сорок втором, когда немцы захватили Европу, ситуация резко изменилась. Подготовка командного состава отошла на второй план, больше не нужны были офицеры и унтер-офицеры — требовались просто бойцы, и как можно больше. Так что нас всех сделали стрелками, рядовыми без малейшего шанса на продвижение. Меня направили в самую многочисленную в то время сто шестую дивизию и назначили в батальонную разведку.

Б.Ш. Это что, даже не было вашим выбором?

К.В. Нет. Обязанности разведчика заключались в том, что он шел впереди, собирая разведданные и вообще любые сведения. Нам запрещалось стрелять, за исключением случаев самообороны. И вот в декабре сорок четвертого наша дивизия вышла к границе между Люксембургом и Германией, чтобы сменить находившуюся там ранее вторую дивизию. Мы оказались в центре линии «Зигфрид», хотя в тот момент там военные действия не велись. Позади нас никаких важных объектов не было: сплошные леса. Мы заняли позицию обороны: нас было пятнадцать тысяч человек, охраняющих семьдесят пять миль фронтовой полосы. Ни тогда, ни сейчас я не разбираюсь в картах; так что я не знаю, как немцы нас обошли и откуда они обрушились на нас всей своей оставшейся техникой, но в результате этой атаки они за десять дней вывели из строя всю нашу дивизию. Мое последнее боевое задание состояло в том, чтобы найти нашу уцелевшую артиллерию, людей и вообще оценить ситуацию и по возможности собрать всех вместе перед лицом неприятеля. Нас оставалось человек двадцать, и мы плохо понимали, что происходит. Немцам не составило труда нас обнаружить: мы сидели в лесу, в траншее в снегу. Нам приказано было сдаться и выйти из укрытия. Мы не вышли. Началась стрельба, многие были ранены, и я в том числе. Тогда мы решили, что пора сдаваться. Так мы и сделали.

Б.Ш. Так сколько же вы пробыли на фронте?

К.В. Десять дней, и я не сделал ни одного выстрела. В эти десять дней нашей главной задачей была охрана командира батальона, мы ходили в разведку вместе с ним, готовые его защищать, если надо. Так что «повоевать» не пришлось: нас просто уничтожили.

Б.Ш. Каким вы были в то время? Идеалистом, ощущающим, что он борется за правое дело?

К.В. Я был антифашистом и не сочувствовал всему «немецкому». Когда я уже был в плену, меня часто спрашивали: как это вы идете против своих же братьев?

Б.Ш. Странно, вы ведь уже четвертое поколение немцев, живущих в Америке.

К.В. Да, конечно. Вы знаете, одна четвертая всех американцев — немецкого происхождения. Со стороны выходцев из немцев никогда не было шпионов или изменников родины. Наоборот, они рвали все связи со Старым Светом, становились чуть ли не бóльшими американцами, чем сами американцы. Они, как «Макдональдс», — полностью создание Американского континента.

Б.Ш. Читая ваши книги и пытаясь понять, от чьего имени, с чьей точки зрения они написаны, я пришел к выводу, что вы пишете, пожалуй, с позиции заключенного. Так ли это на самом деле? Как повлиял на вас пережитый опыт поражения и плена?

К.В. Мои дети уже взрослые, а я вновь и вновь повторяю то, что говорил им всегда: очень даже неплохо для молодого образованного и «культурного» человека стать простым рядовым; очень полезно увидеть своими глазами, что́ такое полное и всеобщее поражение; стоит понять, как жестоки на самом деле «силы противника» и как тяжело им противостоять.

Б.Ш. Мне кажется, что без пребывания в плену у вас не возникло бы этого чувства «общности мира»: ведь в плену с вами вместе были и русские, и поляки, и англичане...

К.В. Думаю, мне это и так было свойственно. Мои предки были римскими католиками, но сто пятьдесят лет назад они отказались от святости и прочей божественной чепухи, стали сознательными атеистами, отказались (как и многие другие) от претензий на власть, основанных на мнимом превосходстве. Они полюбили американскую конституцию. Конституция стала их мировоззрением. Я считаю, что американская конституция — это синтез самой передовой европейской мысли за две тысячи лет. Теперь это уже мировая собственность. Так что мои предки уже были гражданами планеты.

Б.Ш. Скажите, находясь в плену, вы чувствовали себя униженным персонально? Чувствовали, что именно ваше человеческое достоинство подвергается оскорблению?

К.В. Для меня пребывание в плену было равносильно болезни. А когда у вас, скажем, пневмония и вам очень плохо, вы же не будете чувствовать себя виноватым или оскорбленным?! Главным моим ощущением было огромное чувство сострадания к себе самому и товарищам по дивизии, которые стали для меня семьей. Вы знаете, отправка на фронт с людьми, с которыми я вместе учился и готовился пройти через любые трудности, стала для меня своеобразным пиком в жизни, выдающимся моментом. Я думаю, что испытывал то же самое, что испытывает женщина, рожая ребенка.

Б.Ш. Это весьма необычно. Я думаю, что подобные чувства возникают у солдат уже на фронте, в сражениях, а не при совместной отправке на фронт.

К.В. Нет, это высокое чувство единства исчезает, когда начинаются бои. Потому что все вокруг рушится, становится беспорядочным, непонятным и никто никогда не знает, в кого угодит пуля.

Б.Ш. Если отправка на фронт дала вам ощущение второго рождения, то чем же обернулось ваше пленение?

К.В. Это был прижизненный опыт смерти. Мы провели столько времени без еды, без сна и в полном неведении, что с нами произойдет дальше. Прямо как перед смертью. В то же время я чувствовал себя как под анестезией: все ощущения притуплены, и смертельный выстрел не стал бы для меня неожиданностью. Сначала мы небольшой группой маршировали вдоль дороги, по которой колонны немецких войск шли в наступление. Это были отборные части и стягивались они для массированного удара; со всех сторон все шло и шло подкрепление, тянулись танки и открытые грузовики, и сидевшие в них молодые воины смотрели на нас сверху вниз, как коршуны. На станции нас погрузили в вагоны для перевозки скота. Втиснули столько народу, что спать приходилось по очереди: одни стоят, другие спят. Выходить не разрешалось, все кругом было загажено. В первую ночь пути поезд бомбили, уцелело лишь несколько вагонов, наши офицеры были в отдельном вагоне, они все погибли. Остальных повезли дальше, без еды и питья.

Б.Ш. Все это ужасно, но ведь обычно американских военнопленных содержали хорошо. В каком же состоянии вы добрались до Дрездена?

К.В. Поезд шел, выгружая по пути пленных на разных станциях, если их там было куда поместить. Но нас везли дальше, через всю Германию; через крошечные отверстия типа вентиляционных нам кидали маленькие кусочки сухого хлеба и сыра — ровно столько, чтобы продержаться. В каждом вагоне умирали люди. Когда мы добрались до места назначения, мы должны были вытащить их из вагонов и сложить аккуратными штабелями. Оставшихся в живых выстроили и отвели в самый большой лагерь для военнопленных. Мы провели там неделю, а затем согласно Женевской конвенции (той ее части, касающейся положения военнопленных, которую не подписал Советский Союз) нас направили на работу, чтобы мы могли сами оплачивать наше содержание. Я был в числе тех, кто попал на работы в Дрезден.

Б.Ш. Вас действительно содержали на бойне или это просто символ?

К.В. Действительно на бойне. Это было помещение из цементных блоков, куда загоняли свиней, перед тем как их заколоть. Но к тому времени свиней уже съели.

Б.Ш. Как писателю, вам пребывание в Дрездене дало очень много: вы стали свидетелем самого крупного в истории войны налета на город и очевидцем крупнейшей трагедии тринадцатого-четырнадцатого февраля сорок пятого года.

К.В. Когда мы прибыли в Дрезден в середине января, город был цел и являл собой такую же сокровищницу, как, например, Прага. Мне удалось увидеть город, потому что мы должны были ежедневно ходить на работу на завод, где выпускали специальный сироп для беременных женщин, содержавший, видимо, особую смесь витаминов. Я однажды обмолвился на страницах книги, что хотел бы попробовать этого сиропа сам, и какая-то добрая душа прислала мне баночку: его, видимо, до сих пор выпускают. Ну а сама бомбежка была в точности такой, какой я ее описал в книге. Наша бойня была единственным в городе настоящим бомбоубежищем.

Б.Ш. Специальным убежищем?

К.В. Нет, бойня являлась убежищем по сути. Это и спасло нам жизнь. Когда мы вышли наружу после бомбежки, то оказались единственными живыми людьми на много миль окрест. А ведь в Дрездене не было военно-промышленных предприятий и ничего, «стоящего» атаки, — только госпитали. Бомбардировка города была абсолютно бесплодной. Я был единственным человеком, который что-то выиграл. То, что я получил за написание «Бойни № 5», — это примерно пять долларов на каждого убитого.

Б.Ш. Судя по тому, как идут дела, можете получить еще больше?

К.В. Да, я все еще получаю дивиденды с тех мертвых.

Б.Ш. Расскажите о том, что вы увидели, выбравшись наверх.

К.В. Я помню все. Когда завыли сирены, мы спустились вниз. Это было ночью, когда на бойне никого, кроме нас, не было. Наши охранники, продолжая нас охранять,

спустились вместе с нами. Они разговаривали друг с другом и старались не смотреть, что происходит снаружи, хотя им было видно. Я, например, и не мог со своего места что-либо наверху увидеть. Наверное, то, что происходило там, было ужасно, потому что наши охранники спустились к нам. Они были дрезденцами, а наши соотечественники бомбили их город. Они могли бы расправиться с нами в знак отмщения, но не сделали этого. Правда, они все были либо стариками, либо детьми, недавно надевшими форму. Я не знаю, сколько длился этот кошмар, но примерно в полдень следующего дня наши стражи решили, что можно выбраться наверх. Находясь в убежище, мы смутно догадывались, что происходит, но того, что мы увидели, представить, вообразить было невозможно.

Б.Ш. И вы не сошли с ума?

К.В. Нет. Но потрясение было очень сильным. Земля напоминала поверхность Луны. Да, в природе тоже есть ураганы, торнадо, бури, но все это не может сравниться со шквалом огня, вспыхивающего от разрывов, идущего сплошной стеной и пожирающего все, что может гореть. Выйдя наружу, мы увидели пепелище. Кругом валялись какие-то странные бревна длиною в два фута, которые, как мы осознали потом, были обгоревшими трупами людей. Жар был страшный, хотя гореть было больше нечему. Мы бродили безо всякой цели по этой выжженной пустыне.

Б.Ш. А что же ваши конвоиры? Они были в шоке?

К.В. Они, как, впрочем, и мы, были какие-то заторможенные... Да, это напоминало Помпеи: город, которого больше не существовало. Наверное, первой мыслью было узнать, живы ли их родные. Это была первая наша общая мысль: пойти поискать и, если можно, оказать помощь тем, кто, возможно, еще жив под развалинами. И мы побрели по городу все вместе бесцельно, и неожиданно оказались сами взятыми на прицел: нас обстрелял какой-то американский самолет, так как мы оказались единственными движущимися предметами. Этот эпизод я вставил в книгу. В конце концов мы вышли на окраину города и очутились среди каких-то официальных армейских властей, и нас отправили в лагерь для военнопленных, который предназначался для пленных из Южной Африки. Южноафриканские пленники презирали нас и были очень высокого мнения о себе: они жили неплохо, имели хорошую одежду и еду, работали, причем некоторые — даже в почтовом ведомстве. Немцы и южноафриканцы очень уважали друг друга. Южная Африка имела соглашение с Великобританией о том, что южноафриканские солдаты не будут сражаться нигде, кроме Африки, за это их невзлюбили во всех других войсках Британской Империи и США. И вот им пришлось разделить жилье с нами, грязными до отвращения, не говоря уже о том, что мы были ниже их по положению. И когда потребовалось раскапывать подвалы Дрездена, то послали только нас. Это ведь была достаточно опасная экспедиция. Немцы организовали спасательные работы, расставили командные посты. Нас сопровождали на работу эсэсовцы — выходцы с Украины, они были настоящими мерзавцами, подлыми сукиными детьми, у меня до сих пор сложное отношение к Украине. Наша работа заключалась в раскапывании погребов, где укрылись от налета жители города.

Б.Ш. Спасли кого-нибудь?

К.В. Нет. Все были мертвы. Они не могли остаться в живых. Так что поиски велись в интересах санитарии и обнаружения чего бы то ни было ценного: ведь люди кинулись вниз с драгоценностями, документами, личными наградами, удостоверениями...

Б.Ш. Фантастика! Шли последние месяцы войны, мир этих людей уже был разрушен, а они хранили все документы, пытались сохранить свою собственность...

К.В. Они надеялись выжить... Никогда не видел я такого количества мертвых. Тяжелейшая это была работа: мы копали и копали без устали, взламывали двери, вытаскивали трупы наверх... Немцы складывали их в штабеля, обливали керосином и сжигали. Шли дни, трупы гнили, зловоние было ужасным. Тогда было принято решение сжигать их прямо в подвалах, пробивая дыры и бросая туда зажженные факелы...

Б.Ш. В своей книге вы рассказывали, что русские и американцы обменивались военнопленными. Как это происходило и на каких условиях?

К.В. Ни на каких условиях ни та, ни другая сторона не настаивала. Немцы нас привезли на западный берег Эльбы, а на другом берегу стояли американские и британские части с множеством людей из советского блока... Думаю, что большинство обменных русских были расстреляны прямо на месте — ведь среди них были и украинские эсэсовцы, и дезертиры...

Б.Ш. Можете ли вы сказать, в какой именно момент решили писать «Бойню № 5»?

К.В. У каждого вернувшегося с войны есть своя история, которую хотелось бы поведать. В отличие от тех, кто обучался военному делу, летал на боевых самолетах,

стрелял и поражал врага, у меня не было своей истории: я в войне активного участия не принимал. Просто со мной произошло то, что произошло. Случай. Я разыскал «Индианаполисскую газету» за тринадцатое и четырнадцатое февраля сорок пятого года. На первой странице была маленькая заметка о том, что британские и американские самолеты, пролетая над Дрезденом, бомбили железнодорожные пути и товарные станции. Что ж, так и было. Стать героем мне не довелось, и тогда я решил описать тот единственный эпизод войны, который я пережил. Можно сказать, «слово отозвалось» — позже появились сообщения о том, что это было самым массовым убийством за самый короткий срок в истории войны и самой большой катастрофой в европейской истории... К тому моменту я уже зарабатывал на жизнь писательским трудом. Когда я только задумывал свою книгу, я чувствовал себя оппортунистом.

Б.Ш. Так вы писали не для того, чтобы избавиться от тяжелых воспоминаний?

К.В. Романтика! Я помещаю слова на бумагу для того, чтобы заработать себе на жизнь. Может быть, это и недостаток моего творчества, но я не испытываю потребности самовыражаться. Некоторым писателям надо все из себя извергать. Мой друг писатель Уильям Стайрон так переполнен, у него столько всего намешано внутри, что ему время от времени необходимо все это выплеснуть из себя. Мне не надо. Я просто пишу о том, что знаю, и как можно яснее и понятнее. Для меня некоторые суждения являются чистой романтикой, например, мысль о том, что крупные события меняют человека. Меня то и дело спрашивают, как повлиял на меня Дрезден. А я отвечаю: никак. Это было своего рода приключение, и все!

Б.Ш. Вы известный сторонник мира. Были ли вы пацифистом даже в армии?

К.В. Я вырос в стране, где все пацифисты. В то же время мне нравится война. Я сторонник мира всегда, когда я могу им быть. Я имею в виду, что у меня нет личного оружия, и, выходя вечером на улицу, я не задумываюсь о возможном нападении на меня или мою семью, оставшуюся дома. Я был пацифистом и по воспитанию. Но с детства любил оружие: мой отец его коллекционировал. Я был хорошим стрелком, любил свою винтовку и, отправляясь на фронт, испытывал подлинное наслаждение.

Б.Ш. Насколько я могу судить, «Бойня № 5» написана в спокойной, бесстрастной манере.

К.В. Да, мои читатели часто жалуются на отсутствие страсти в моих произведениях. Меня критикуют за некую пассивность. Но я думаю, что если в человеке переизбыток жизненных сил, то он становится их игрушкой и может совершить все что угодно. Я, кстати, тоже мог повести себя героически, когда нас взяли в плен. Нас было достаточно много, чтобы всех как следует обыскали, и у меня осталась ручная граната, которую я припрятал. Нас вели вдоль дороги, по которой двигалось подкрепление немецкой армии, и мне ничего не стоило вытащить и метнуть мою гранату. Нас всех потом убили бы. Но Джон Уэйн[1], я думаю, именно так бы и поступил.

Б.Ш. Да, в кино, конечно. Но вернемся к вашей книге. Похоже, то кошмарное убийство в Дрездене, свидетелем которого вы стали, жило в вашей памяти годы, прежде чем вы были готовы к написанию романа.

К.В. Да, я думал об этом все время. Вы же знаете, как устроен мозг. Он хранит множество вещей, которые не может использовать в настоящее время и надеется использовать в будущем. Все, что я написал в предисловии к роману, — правда. И Мэриен О'Хара, жена моего боевого друга...

Б.Ш. Друг тоже существует?

К.В. Я с ним, возможно, завтра увижусь.

Б.Ш. Читая вашу книгу, никогда не знаешь, что было на самом деле, а что придумано для нужд сюжета...

К.В. Я против сюжета в произведениях о войне. Наличие сюжета придает войне какой-то смысл, делает ее значительной и... пригодной для продажи. Так что я протестую с моральной точки зрения. Однажды меня попросили написать предисловие к американскому изданию русской книги о войне: роскошного фотоальбома размером с журнальный столик, с великолепными фотографиями, запечатлевшими опыт русских, включая победные снимки в Берлине. Я отказался. Такая книга представляет войну так, как будто «игра стоила свеч». Не стоила. В войне не может быть триумфальной ноты. И в ней нет и не может быть смысла... В послевоенной литературе, в том числе и немецкой, стал расхожим мотив ненависти, направленной персонально, как правило, на «своего» — командира батальона или сержанта. В превосходном романе Вилли Гейнриха «Желез-

[1] Джон Уэйн — американский киноактер (1907 — 1979), герой вестернов.

ный крест» герой, неплохой человек, сражавшийся на русском фронте, в финальной сцене расстреливает своего командира батальона. Стандарт перебрался и в кино. Во многих произведениях можно встретить героя, который в финале убивает кого-то из своих, имея на это веские основания. В моих книгах враг, то есть тот, кто противостоит солдату, — это культура и история. Так что я против триумфальных нот и против книг, которые заостряют внимание на частных или слишком простых мотивах. Поверхностное отношение к войне, да и к другим событиям распространяется и на документалистику. Ведь цепь событий — это что-то типа мотора автомобиля, который будет тащить этот автомобиль, если правильно укомплектовать все детали. А сейчас обзор новостей превратился в механическое перечисление событий. С историей, в силу этого же механического подхода, происходит то же самое. Теперешние американские дети свято верят, что первые поселенцы их страны только и делали, что убивали друг друга у входа в салун.

Б.Ш. В «Бойне № 5» один из героев спрашивает, есть ли способ прекратить войны, и получает ответ:«Нет!» Вы так считаете или ваш герой?

К.В. Войны — часть нашей культуры. Не знаю, можно ли от них избавиться, но если и возлагать какие-то надежды на это, то только связывая их с растущим феминистским движением. Это величайшая революция нашего времени. Женщины — это питающая, если можно так выразиться, половина человечества. Мужчины могут поучиться у женщин главному: как заботиться о подрастающем поколении, как воспитывать детей. Пока что мужчины занимаются этим, только если это их профессия. А воспитание детей — тоже часть нашей культуры.

Б.Ш. А зачем вам понадобилось возвратиться в Дрезден во второй раз?

К.В. Я хотел вернуться. Жизнь — это приключение. Надо видеть все, что хочется видеть.

Б.Ш. Вам хотелось обновить чувства двадцатилетней давности?

К.В. Я хотел посмотреть, как восстановили город, что сталось с тем местом, где был я, и осознать, действительно ли все это было, потому что с годами все, что тогда со мной произошло, стало казаться призрачным, нереальным. Я даже для пущей уверенности взял с собой друга.

Б.Ш. Друга звали Вилли О'Хара?

К.В. Да. Он был мне нужен, чтобы я не предавался грезам. Мы сверяли наши воспоминания, чтобы они были точными. Вы же знаете, как люди приукрашивают воспоминания, как склонны лгать, говоря о прошлом.

Б.Ш. О'Хара написал очерк, идеи которого нашли отражение в «Бойне», я имею в виду вашу идею о том, что мы могли бы предотвратить войны, если бы взрастили в себе какие-то женские черты характера, не так ли?

К.В. Да, феминизм мог бы способствовать предотвращению войн, если бы сумели ограничить производство оружия. Ветераны вьетнамской войны могут многое порассказать о том, что делает с землей и с нами современное оружие. Я очень пессимистичен в этом отношении благодаря моему «научному» прошлому. Я осознаю, какой ущерб нанесен нашей планете.

Б.Ш. Вы видите свет в конце туннеля?

К.В. На этот вопрос отвечу как ученый, как химик. Мы уже настолько отравили верхний слой почвы, воздух и воду, что просто успокаиваться на каких-то полумерах невозможно. Мой друг, например, работал над созданием водородной бомбы. Он сознает, что мы уже отравили планету, но рассуждает примерно так: раньше же *этого* не было, *это* теперь появилось, значит, это что-то временное и неокончательное. Видеть жесткую правду вообще не очень присуще человеческой природе.

Б.Ш. Возвращаясь к «Бойне № 5», как вы объясните то, что книга стала более популярна в Советском Союзе, чем в США?

К.В. Вновь возвращаемся к тому, что во мне есть какие-то женские черты, способные вызвать отклик у читателя. Но в Америке у мужчин был такой страх быть принятым за гомосексуалиста, что они сознательно культивировали «мужское начало» — готовность драться, страсть к оружию, к охоте, к спорту, особенно к кровавому спорту. Я же настолько откровенно все это не люблю, что американцы в свою очередь не очень полюбили мои книги.

Б.Ш. А русские что, другие?

К.В. Я думаю, они так настрадались во время второй мировой войны, что приветствовали любого американца, способного понять, каким кошмарным бедствием была эта война. Американцы же скорее восприняли ее как спортивное состязание.

Б.Ш. Сколько вы писали «Бойню № 5»?

К.В. Около двух лет. Для такого срока книга получилась не слишком толстая, но я

работаю очень тщательно, экспериментирую и выбрасываю, выбрасываю, выбрасываю...

Б.Ш. В одном из интервью вы сказали, что пишете свои книги с целью как-то повлиять на генералов и президентов. Вы думаете, это возможно? Будущие генералы и президенты сейчас кадеты Вест-Пойнта[1] и ваших книг не читают.

К.В. Еще как читают. Они стараются быть современными. Это очень забавно, но они хотят быть «на уровне», поэтому изучают гуманитарные науки в Академии.

Б.Ш. И вы действительно думаете, что влияете на будущих президентов?

К.В. Я думаю, что своими книгами я сделал такие понятия, как пацифизм, спокойствие и невозмутимость, сохранение достоинства в любых ситуациях, даже если тебя оскорбляют, признаком хорошей репутации.

Б.Ш. В чем вы видите роль писателя в Америке?

К.В. На лекциях я всегда отвечаю, что в вопросе о роли писателя я полностью солидарен с Гитлером, Сталиным и Муссолини: писатель служит обществу.

Б.Ш. Критики часто обвиняют вас в том, что вы показываете болезни общества, но никак не способ их лечения.

К.В. Да нет, способ лечения достаточно просматривается в моих произведениях.

Б.Ш. Почему же они его не видят?

К.В. Нацелены на другое. Никому не хочется размышлений и описаний нашей жизни, хочется механической схемы: как жить, как перераспределять наше благосостояние, как следовать закону. Вот и требуют от писателя: скажи нам это, если такой чертовски умный!

Б.Ш. Если бы вы знали ответ, то, как писатель, вы бы его все равно не дали, иначе можно было обойтись одной книгой и незачем писать остальные.

К.В. В следующей своей книге я этим займусь: стану поучать.

Б.Ш. Должен ли, по вашему мнению, писатель стать голосом совести общества, которому он служит?

К.В. Нет. К тому же жизненную роль и выбирать не приходится. Мы все как цветы. Если ты родился, скажем, тюльпаном, то им и проживешь и умрешь тогда, когда обычно тюльпаны умирают. Так и я, «цвету» так, как мне на роду написано. Изменить ничего нельзя.

Перевод с английского Р.ФАЙФЕЛЬ

■

[1] Вест-Пойнт — Американская военная академия, привилегированное учебное заведение. Основана в 1802 году.

ВЛАДИМИР ПОДГОРНЫЙ

Письма парижского бомжа, или, по-французски, клошара

Дорогой читатель!

То, что вы соблаговолите прочитать, — не литературное произведение, это письма, которые писал мой брат, Владимир Борисович Подгорный.

По отцу, как вы понимаете, моя фамилия Подгорная, но, оставшись с мамой в Москве, после отъезда отца во Францию, я взяла фамилию мамы, а дальше — мы росли, взрослели, старели, но больше с братом не виделись. Потом, через много лет, когда совершенно неожиданно (у меня есть об этом рассказ «Паук») мы нашли друг друга и стали лихорадочно переписываться, то с первого же письма стало понятно: наша кровная связь так сильна, что мы абсолютно не чувствуем многолетней разлуки.

Сейчас брата нет. К сожалению, уже только после его смерти — а он скончался в январе 1988 года — ОВИР дал мне разрешение на выезд во Францию, и племянница сводила меня на кладбище, где похоронены мои брат и отец.

Теперь в Париже живет много моих родственников, в которых помимо внешнего сходства я вижу черты характера брата, человека незаурядного, талантливого, одаренность которого, несмотря на так тяжко сложившуюся жизнь, пробивается в каждом его письме. И это значит, что брат не ушел из жизни без следа.

ЕЛИЗАВЕТА АУЭРБАХ

Письмо первое

Дорогая сестренка!

С тех пор, как мы потеряли друг друга, прошло очень много лет. А сегодня я впервые усомнился в том, что Бога нет: подумать только, как раз тогда, когда я был в отчаянном положении на всех фронтах своей жизни, я в кем-то забытой в метро газете «Русская мысль» прочел, что меня разыскивают мои родственники из Москвы. И вот я безмерно счастлив и пишу вам. Во-первых, я хочу рассказать о себе, хочу, чтобы вы знали, что я очень беден и ничуть от этого не страдаю. Не знаю, как ты, сестренка, а я никогда не стремился к накоплению денег, приобретению таких вещей, как домов, вилл, машин и т.п. Но трудился я всегда, всякий труд уважаю и многое умею. Я много читал и читаю, много рисовал, особенно акварелью, увлекался чеканкой и раскраской шелковых тканей. Сейчас я ничем этим не занимаюсь — у меня дрожат руки. А писать тебе еще могу. Я во всем сам виноват, сам и расплачиваюсь. Я любил жену, но за нашу довольно долгую семейную жизнь не сумел приучить ее к тому, что я не могу не пить, потому что очень люблю это занятие и не вижу в этой привычке большой беды. Идя жене на уступки, я пытался бросить пить, лежал в лечебнице, но никакого толку от этого не получилось. В конце концов я должен был уйти из дома «в никуда», став обыкновенным бродягой или, как говорят французы, клошаром. Моя дрожащая рука просит отдыха. Завтра возьмусь за второе послание. Целую.

Твой бродяжка.

Письмо второе

Конечно, как только началась война, меня забрали в армию, и должен тебе признаться, что мне очень не нравилось служить солдатом. Я скоро понял, что солдату не нужно думать, ему нужно подчиняться и выполнять распоряжения. Это скучно. А вот партизанить или быть в отряде Сопротивления — это совсем другое дело. Это, если хочешь, творчество, тут нужно все: ум, ответственность за каждого человека в своем отряде и, конечно, готовность к риску. Все эти качества, как ни странно, мне, такому гуманитарному типу, оказались по вкусу, и сейчас, вспоминая военные годы, я пришел к выводу, что это было самое интересное время в моей жизни. Я много трудился на лоне Сопротивления, узнал много интересных людей самых разных национальностей и возрастов.

Однажды от расстрела меня спас негритенок. Когда мы — трое отчаянных парней — по собственной глупости попали в плен, нас заперли в здании вроде амбара с одним окном с толстой решеткой. Встав на ящик, откуда был виден двор и далее лес, я обратил внимание на мальчишку-негритенка, который часто появлялся перед нашим окном, а когда вокруг не было немцев, показывал нам рукой вправо. А в углу нашего помещения валялся какой-то хлам. Мы разгребли его и обнаружили забитое досками подвальное окно и стали расшатывать доски до тех пор, пока не получилось отверстие, по которому можно было пролезть. Потом мы опять засыпали хламом этот лаз и стали дежурить: один у дверей, чтобы слышать, когда к нам идут немцы, второй — у окна. И однажды, в воскресенье вечером, мальчик стал усиленно показывать нам на угол амбара, где мы обнаружили отверстие. Мы быстренько вылезли, и мальчик проводил нас до лесу. Я подарил ему за его ум и доброту свои часы. И таких или почти таких ситуаций было немало, и кое-что, к сожалению, стало вылетать из головы.

В армии я подружился с прекрасным парнем. Митя, тоже русский, высокий, красивый, знаменитый парижский баскетболист. Первое время в Бретани в городе Манц нас поместили в каком-то дансинге, одна из стен которого была сплошным зеркалом. Митя был кокетлив и, стоя перед зеркалом, часто любовался своей красивой фигурой. Я ему как-то сказал:

— Красивые ноги у тебя, Митя, как мне будет жаль, если тебе их оторвет снарядом.

Он ничего мне не сказал, но показал кулак.

Когда война шла к концу, мы с ним попали в плен. Я сразу стал уговаривать Митю бежать, но он трусил, а я удрал, и удачно; сначала в Виши, потом в Лион и так добрался до Парижа и только через полгода весной встретился с Митей. Конечно, мы сразу пошли в ресторан, где он мне и говорит:

— Ах, Володька, если бы ты знал, сколько ты мне крови перепортил тогда в дансинге своей фразой о моих ногах. Я потом все время стал о них думать, и снились мне одни ноги.

Я, конечно, извинился, и мы выпили за его ноги.

Мы до сих пор с ним большие друзья. После войны Митя устроился работать тренером, а я стал бездомным пьянчужкой и встречался с Митей только случайно, на улице. Но ведь фронтовая дружба остается дружбой навсегда, и Митя, всегда элегантный, ни капли не стесняясь, что я отнюдь не «комильфо», ведет меня в хорошее кафе, где мы первым делом выпиваем «свои боевые сто грамм», а потом за Митины ноги. Обнимаю.

Твой брат клошар, но всегда порядочный человек.

Письмо третье

Когда я, благополучно удрав из плена, добрался до Парижа, то очень скоро и активно включился в Сопротивление. Так вот, однажды мне было дано задание поехать в Париж за важным распоряжением гестапо. Бумаги я должен был получить от человека, назначившего мне встречу до его работы, в шесть тридцать утра. Мы встретились. Он передал мне конверт. И тут вдруг нас обгоняет немецкий грузовик, останавливается двумя кварталами выше, из него выскакивают солдаты и образуют заслон. Мы поглядели назад — та же история. Видимо, кого-то ловят.

— Отдайте мне конверт, — сказал товарищ, — я работаю на заводе, который выполняет немецкие заказы, у меня есть удостоверение с немецкой печатью. С ним немцы не станут меня обыскивать, а вас обязательно будут осматривать.

Я ответил:

— Нет. Если меня задержат, то к вам пришлют другого связного, а если задержат

вас, мы теряем не только документы, но и драгоценный источник сведений.

Он согласился, и мы расстались. Я смотрел ему вслед. Он, предъявив свой пропуск, благополучно прошел заставу. А я облегченно вздохнув, стал думать, как теперь мне быть. Весь переулок оцеплен, всех прохожих проверяют. Обернувшись на дом, около которого я стоял, я увидел на подъезде стеклянную вывеску: «Зубной врач Делонэ... Принимает только по договоренности». Войдя в холл, я позвонил в дверь к доктору Делонэ. Довольно долго пришлось ждать, наконец в приоткрывшуюся на цепочку дверь я увидел красивую сонную женщину в красивом халате. А я держусь за щеку.

— Ведь еще только семь утра, — сказала красавица недовольным, но приятным голосом.

— Мадам, — говорю я, — умоляю, посмотрите в окно.

Она отошла от двери, не снимая цепочки, а затем вернулась и впустила меня в дом.

— Боже мой! Когда мы избавимся от этих немцев? Входите. Вам придется у меня переждать. Хотите кофе, у меня настоящий.

Я не отказался. Мадам Делонэ принесла поднос с кофе и спросила с интонацией одновременно и вопросительной и утверждающей:

— Вы, конечно, из Сопротивления?

— Да, мадам, — ответил я.

А что мне оставалось? Она меня спасла, накормила, и я был во власти ее обаяния.

Мы пили кофе и болтали, пока не кончилась облава. Мадам Делонэ была не только красивой, обаятельной, но и умной собеседницей. На прощание она дала мне несколько своих визитных карточек и сказала, что если у моих друзей заболят зубы, она примет их в любое время. Мы дружески распростились, и я в отличном настроении добрался до Лиона с важными сведениями.

Когда война кончилась, один мой дружок по Сопротивлению передал мне привет от мадам Делонэ и сказал, что он будет лечить зубы, пока она не согласится стать его женой. Я сказал ему:

— Но у тебя всегда были прекрасные зубы?!

Он улыбнулся, обнаружив два ряда красивых белоснежных зубов, и добавил:

— Вот в этом-то и есть вся моя беда.

И вот тебе еще один смешной эпизод. Я ехал в метро в свой старческий дом и обратил внимание на молодого негра, который читал по-русски какой-то толстенный том Тургенева. Мы разговорились. Он ехал дальше меня, искал какого-то своего коллегу по довольно запутанному адресу. Мне понравился этот парень, и я вызвался ему помочь.

Не знаю, нашел ли он своего друга, потому что за справками, где находится нужная ему улица, нам приходилось часто останавливаться около кафе, а здесь их минимум три на каждом перекрестке, так что не помню, как мы расстались, как я вернулся в свой дом для престарелых. Но проснулся я на крылечке, около нашей кухни. Видимо, я из деликатности не решился беспокоить швейцара.

И напоследок хочу тебя спросить, писал я тебе или нет о моей русской приятельнице, поэтессе Ирине Одоевцевой, она тоже живет в доме для старых людей и пишет хорошие стихи. Она не имеет детей и в этом смысле завидует мне. Она рвется на Родину, и если ей это удастся, буду за нее рад. Мне кажется, что тебе понравились бы ее стихи. Посылаю тебе один маленький стишок, он был написан в 1954 году, когда она, тяжелобольная, лежала в клинике.

Мне казалось всегда, что писатель
Очень нужен на этой земле
И что я — для вас, мой читатель,
Как тепло, как еда на столе.
Но какое вам в сущности дело
До того, что я стать хотела
Вашим другом, опорой в борьбе,
Утешителем в горькой судьбе.
Вот пишу я черным по белому
По щемяще до слез сожалелому,
Без утайки и без прикрас,
Откровенно, как в смертный час —
Обо всем, что я не сумела,
Как горела душа и болела,
Как томилась и как всецело —
С Вами, для Вас, жить и хотела.

Ну, как оно тебе?

А пока — целую, твой братец.

Четвертое письмо

А сейчас, дорогая, я расскажу тебе о моем походе в загородный дом для русских стариков.

Был июль месяц, погода стояла великолепная, что для бродяги важно, потому что когда холодно и идет дождь, надо думать не только о еде, а и о прочной обуви. И ты, конечно, не знаешь, что у каждого бродяги всегда есть план по крайней мере на два-три дня вперед.

У меня тоже был план. Я шел в старческий дом под Парижем, директрисой которого была русская женщина, хорошо знавшая нашего отца и меня еще мальчишкой, и я надеялся, что, вспомнив это, она возьмет меня в свой дом, потому что за последние дни я сильно изголодался и плохо себя чувствовал. .

Итак, голодный как собака и полный радужных надежд, я, протопав на больной ноге километров пять, подходя к дому для престарелых, стал чувствовать себя неловко. Я заметил, что я очень неважно одет. Ночуя под мостом, трудно иметь отглаженные брюки и чистую обувь.

Я вошел в калитку. Перед небольшим красивым домом был газон и хорошо подстриженные кустарники. Я вошел в подъезд и спросил изящную уборщицу, где хозяйка дома. Она сказала, чтобы я поднялся на этаж и ждал ее в холле. Я поднялся и уселся в уютное кресло. Из холла расходились два коридора с дверьми. Из них выходили аккуратно одетые старички и даже элегантно одетые старушки, которые спускались по лестнице, очевидно, в столовую. При взгляде на них моя одежда стала мне казаться еще хуже, к тому же я был давно небритый. Я ждал часа два и ждал бы еще два, так как был усталый и голодный. Но вот, наконец, появилась хозяйка. Я ее сразу узнал. Высокая, не очень старая, строго и со вкусом одетая. Я встал. Она окинула меня критическим взглядом и, пройдя к дверям кабинета, бросила мне: «Я вас сейчас приму». Наконец меня позвали. Кабинет хозяйки был очень красив: гравюры Санкт-Петербурга, старинная, но обновленная мебель, в стоявших на полу японских вазах — розы.

Тут я, в своих стоптанных грубых башмаках и старом свитере, почувствовал себя совсем плохо. У окна за машинкой сидел старичок и что-то печатал. Я представился. Предложив мне сесть, хозяйка начала читать мне проповедь, что я-де из прекрасной семьи, что мой отец был образованным, интеллигентным человеком, что в юности я подавал большие надежды как художник... но стал пропащим, пьяницей и прочее и прочее. Слушать все это, конечно, мне было больно, но я молчал. К тому же я чувствовал, что ей даже доставляет удовольствие унижать опустившегося человека. Так зачем лишать ее этого удовольствия.

Наконец речь закончилась словами: «Принять вас в наш дом я, конечно, не могу из-за вашего пристрастия к алкоголю. Но вы у нас позавтракаете, я дам вам немного денег, и вас отвезут на вокзал. А теперь извините, у меня много дел». Она встала. И я, поблагодарив, вышел. Старичок, который сидел за машинкой, вышел со мной.

Небритым и грязным идти в общую столовую мне не хотелось, и я сказал старичку, что хотел бы поесть в саду. Он не возражал. Около кухни был кран, мыло и полотенце. Я с удовольствием умылся. Затем мне принесли тройную порцию каши с мясом, кружку молока, и, усевшись в саду на скамейке, я с наслаждением принялся за трапезу.

После обильного завтрака я как бы опьянел и мне очень захотелось спать. Я отнес посуду на кухню и стал приглядывать себе в саду местечко, где бы мог вздремнуть минуточек сто двадцать, но тут за мной пришел старичок, пригласил в машину, довез до вокзала, купил мне билет в Париж и, дав немного денег, уехал. Я пошел в кафе напротив вокзала и, выпив пару стаканчиков, решил, что раз мне торопиться некуда, а тут рядом лес, лучше я здесь отдохну до поезда. И, купив себе на ужин хлеба, колбасы и бутылку вина, я пошел к лесу и вскоре заметил лужок, почему-то огороженный колючей проволокой. Но я увидел тропинку, где проволока была сильно раздвинута. Я пролез в эту самодельную калитку и, выбрав местечко в тени акации, разулся, поставил бутылку в тень куста, растянулся и сладко заснул. Проснулся я оттого, что почувствовал около себя чье-то присутствие, и, открыв глаза, увидел двух дам, внимательно смотревших на меня. Сев, я улыбнулся и сказал «бонжур». Они не ответили, и это странно, потому что французы народ очень любезный и на «бонжур» никогда не скупятся.

Но меня поразило не только это, а и недоброжелательное выражение их лиц. А они, пожав плечами, ушли в глубь парка, оставив во мне какое-то неприятное чувство. Вскоре около лужка остановилась полицейская машина. Из нее вышли три «флика», пролезли через проволоку и, подойдя ко мне, попросили следовать за ними. В таких случаях разговаривать не приходится. Подходя к машине, я вдруг вспомнил о бутылке, которая осталась в траве. Я сказал: «Одну минуту, я там кое-что оставил». Когда я вернулся с бутылкой, полицейские, улыбаясь, переглянулись. Меня привезли в комисса-

риат, где начался обычный допрос. Я объяснил, что приезжал навестить знакомого в доме для престарелых, а потом до поезда решил отдохнуть на природе.

— Да, но нам позвонили две дамы и сказали, что вы спали совсем голый.

Тут я так возмутился, что даже вскочил: «Г-н комиссар, неужели я похож на какого-нибудь сатира. Позовите этих дам, может быть, они не в себе?»

Но тут с улицы вошел мужчина в форме, по виду — главный. Он спросил, в чем дело.

— Да вот, задержали человека, бумаги у него в порядке, но нам позвонила мадам Дюмберг и сказала...

— Как? — воскликнул главный, — опять эти старые психопатки что-то придумали? Они же по пять раз в неделю звонят в полицию с дурацкими заявлениями. Немедленно отпустите этого господина.

Я, попрощавшись, быстро пошел к платформе и вдруг услышал крик: «Господин Подгорный, подождите». Я обернулся и увидел бегущего ко мне полицейского.

— Она никак не хочет с вами расстаться, — сказал он, протягивая мне мою бутылку. Мы пожали друг другу руки, и я успел вскочить в отходящий поезд.

Вот видишь, сестренка, и в бродячей жизни есть сюжеты, которые просятся на бумагу, хотя бы в письме к тебе. Да, конечно, свет не без добрых людей, но и не без глупых дам. Но ты обо мне не беспокойся. Наверно, я из тех береженых, которых Бог бережет. Так что не тревожься обо мне.

Любящий тебя бродяжка.

Письмо пятое

Сегодня я хочу тебе рассказать историю, которую я пережил, когда я был «ореолен» Сопротивлением, успешно делая фальшивые бумаги; несколько раз перебирался в Швейцарию; бежал из плена и — прочие штучки, связанные с риском, что очень импонирует женскому полу. Влюбленная в меня молоденькая ткачиха Соланж во многом мне помогала.

Как-то у одних знакомых я встретился с вдовой русского художника, которого немцы повесили во дворе напротив их окон. Как только я увидел Люси, со мной произошло то, что, думаю, случается в жизни только однажды. Это было как солнечный удар! Кажется, у твоего любимого Чехова есть рассказ «Солнечный удар»[1].

Мне приходилось часто бывать в семье, где все, кроме детей, были членами Сопротивления моего звена. Там я часто встречал Люси, все больше терял голову. Она не была красавицей, но что-то было в ней царственное и очень значительное.

Наше звено в целях маскировки собиралось в самых разных местах, и обычно я и влюбленный в нее юноша Буба провожали потом Люси домой. Однажды Буба не пришел. Провожать одному Люси мне не очень хотелось, потому что Соланж следила за мной не хуже бошей. Но все же я проводил Люси, а она на прощанье пригласила меня завтра к себе поужинать.

— Я получила из деревни от родителей утку, будет и Буба. Жду.

Побыть у Люси дома, увидеть стены, вещи, книги, которые ее окружают, забыть на целый вечер все наши опасные дела было очень заманчиво. В назначенное время я был у Люси. Стол был накрыт на три прибора в маленькой уютной гостиной. Горел камин. Она поставила пластинку Лидии Руслановой.

В общем, Буба не пришел, и наш божественный ужин кончился тем, что я опоздал на последний трамвай. Между нами не было произнесено ни слова о любви, но это было счастье, которого я никогда не испытывал. Ночевать я пошел к Бубе и утром, не заходя домой, отправился к своему шефу за документами, так как должен был вечером уехать с серьезным заданием на юг Франции, и попросил Бубу передать Соланж, что я уехал еще вчера. По возвращении я продолжал встречаться с Люси, но из-за Соланж, которая очень следила за мной, я бывал у Люси всегда урывками, и мы все больше привязывались друг к другу.

Люси понимала, что Соланж мне не пара, даже не ревновала меня к ней, но она не знала, что Соланж вступила в Сопротивление исключительно из-за меня и что с ее ревностью она никогда не отдаст меня, как говорят, «даром». В разгар нашего романа Соланж сообщила мне, что она беременна.

Если бы ты знала, сестренка, как трудно мужчине, который активно влип в войну

[1] Имеется в виду рассказ И.А.Бунина "Солнечный удар" (*Прим.ред.*).

и, в сущности, уже не принадлежит себе, иметь двух любящих женщин! Я мучился и ничего не мог придумать.

Осенью я неожиданно получил задание перебраться с достаточно рискованным поручением в Швейцарию и был чрезвычайно этому рад. Пока мне готовили липовые документы, я сумел забежать проститься с Люси. Выслушав меня, она сказала, что едет со мной. Пришлось объяснять, что я выполняю очень серьезное задание и не могу подвергать риску никого, кроме себя, и т.д. и т.п.

Люси как будто все поняла и пошла провожать меня до трамвая. Около остановки мы зашли в кафе. Вопреки обычаю она много пила, но не пьянела, а я очертя голову шутил, стараясь ее развлечь. Наконец, мы простились, и я вскочил в вагон, а Люси пошла к своему дому, медленно, ни разу не обернувшись, как-то сразу сникнув.

На следующий день я должен был утром уехать. Когда я сидел за столом и трудился над подделкой документов для пленных русских, которым готовили побег из лагерей, вдруг без стука в дверь вошел Буба. У него был такой странный вид, что у меня екнуло сердце. Каким-то чужим голосом он сказал:

— Люси ночью покончила с собой.

Мы немедленно пошли к ней на квартиру, но ее уже увезли в морг. Конечно, мы оба крепко напились в том кафе, где я последний раз сидел с Люси. Совершенно не помню, как потом Буба посадил меня на поезд и как я попал в Швейцарию.

Такую историю забыть невозможно, а так как я умру раньше тебя, не потому, что я старше, а потому, что у меня рак, и один Бог знает, увидимся ли мы, я и взялся описывать тебе все значительное, что мне пришлось пережить.

Буба вскоре погиб, будучи подстреленным по ошибке своими же. Я взял себе на память его записную книжку, где была маленькая фотография Люси и телефон ее брата, а от него узнал, на каком кладбище она похоронена. Кладбище это какое-то неуютное, там мало деревьев, кустарников. Впрочем, какое это имеет значение...

Обнимаю и жду писем.

Твой брат.

Письмо от друга клошара

«Многоуважаемая Володина сестра!

Я не знаю Вашего имени, знаю лишь Ваше очень милое детское прозвище, каким Вас называет Володя. Но я так Вас называть права не имею. Я дружу с Вашим братом много лет, люблю его и знаю его жизнь. Недавно я нашел у себя дома забытое им письмо к Вам, написанное нетвердым почерком, разобрать которое очень трудно, и я решил переписать Вам то, что мне удалось разобрать: «Дорогая Изюмка, что ты мне задаешь дурацкие вопросы: как и отчего я пристрастился к алкоголю. На этот вопрос тебе никто не сумел бы ответить... Это происходит незаметно, деликатно, я бы сказал, шепотом. Когда моя жена, много лет терпевшая мое пристрастие к бутылке, поставила передо мной вопрос ребром — или я иду лечиться, или развод, я, несмотря на все ее измены, все же любя ее и детей, пошел лечиться, веря, что вылечусь и все будет хорошо. Лечение, прямо скажу, жестокое, но я все выдержал и вернулся домой «как огурчик». Но скоро понял, что жена меня предала, что я ей не нужен, что у нее появился кто-то другой. И я, вместо того, чтобы найти себе комнату, работу, видеться с детьми и помогать им, я «сорвался» и опять запил. Теперь живу «нигде» — кое-как, но пенсии на бутылку хватает. А сейчас хочу сказать тебе главное...»

На этом «главное» листок письма кончается. Я не думаю, что поступаю бестактно, прочтя и переслав Вам это письмо. Ведь Володя сейчас в таком состоянии, что, возможно, не скоро сумеет написать Вам...

От себя добавлю: природа щедро одарила Вашего брата талантами живописца, графика и талантом поэтическим. Володя очень порядочный, образованный и очень добрый. Но что поделаешь, если судьба распорядилась так, что он стал не тем, каким мог бы стать, а стал тем, кем стал. Бросить пить он не может. Он начал пить с пятнадцати лет. В этом же конверте я разобрал стихи, может быть, они принадлежат его перу, но не уверен.

ОДА АЛКОГОЛЮ

Когда толпа надежд обманутых рыдает
И дьявол прошлого на раны сыплет соль,
Тогда лишь он, лишь он не покидает,
Властитель гордых дум, священный алкоголь.

В нем невозможное становится возможным,
Единым манием мечты воплощены.
Дурак в мечтах окончит вмиг Сорбонну.
Что вред вино — ты мне не говори!

С глубоким уважением и сочувствием
Ваш Н. Душкин.

Письмо шестое и последнее

Дорогая сестричка!

Сообщаю, что я пока еще жив и относительно здоров, но чувствую себя отчаянно плохо. Нету больше ни сил, ни охоты жить. Чем кончится, и не знаю.

На ум идут строчки из стихотворения Бунина: «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора». Дальше не помню, но мне достаточно этих строк.

Я люблю Париж, думаю, что его нельзя не любить.

Я очень люблю детей, люблю всех одинаково (хотя две девочки не мои).

Я долго любил жену — прощал ей измены и безумную ревность.

Любил всякий труд, особенно имеющий отношение к искусству.

Любил и люблю вино.

И до сих пор не понимаю, почему я под старость не имею «ни кола ни двора» и живу то в доме для бродяг, то для престарелых в ожидании смерти от рака, который медленно, но верно меня уничтожает. В общем, жизнь моя не удалась...

Не удалась, совсем не важно
По чьей вине не удалась.
Лишь первый раз признаться страшно,
Что жизнь напрасно пронеслась,
И до сих пор напрасно длится,
А для того, чтоб умереть,
Совсем не стоило родиться
И, уж тем более, стареть.

Но это, родная, уже не Бунин.

Целую, твой очень грустный
Брат.

■

NB

ДАНИЛО КИШ

Перед вами первый материал новой рубрики, которой отныне будет отводиться весьма заметное место на страницах нашего журнала. Публикации рубрики будут строиться по общему принципу: сначала статья или подборка статей, представляющие читателю крупного современного автора, который почему-либо до сих пор оставался неизвестным или, с нашей точки зрения, недостаточно известным у нас в стране, а после статьи — блок текстов этого писателя, чтобы вы сами могли удостовериться, справедливы ли дифирамбы в его адрес. Мы надеемся, что наши «NB» существенно дополнят и обогатят современный литературный ландшафт для русского читателя. Следующее «NB» будет посвящено жизни и творчеству замечательного американского писателя Чарльза Буковски (1920 — 1994).

А.ШЕШКЕН
РЕКВИЕМ ПО ЧЕЛОВЕКУ

Имя Данило Киша мало что говорит нашему читателю. На русский язык переведен всего один его рассказ, «Собака и мальчик», напечатанный в «Иностранной литературе» в 1971 году. И лишь сейчас, спустя почти четверть века, журнал обращается к творчеству этого писателя — одного из самых ярких представителей послевоенной сербской и европейской прозы, чтобы ввести его наконец в наш литературный обиход. Рано ушедший из жизни (он умер в 1989 году, в пятьдесят четыре года), Д.Киш привлекал внимание не только критиков, но и широкой публики, что случается не так уж часто. Вокруг его книг в 70-е годы велась острейшая полемика, в которую было вовлечено множество писателей и критиков в бывшей Югославии. Произведения Д.Киша отмечены премиями у себя на родине, переведены на многие языки, популярны в США и во Франции, где писатель провел последние годы жизни и был удостоен ордена Почетного легиона за достижения в области литературы.

После смерти Д.Киша интерес к его творчеству не уменьшился, а еще более возрос — печальное, но безошибочное свидетельство подлинности писательского дара. В последние годы выходят его книги, о нем пишут литературоведческие исследования.

Почему же у нас Д.Киша так долго не замечали? Надо сказать, что и некоторые другие талантливые югославские писатели его поколения пока неизвестны в нашей стране. До последнего времени у тех, кто увлекался художественными экспериментами и критически относился к социалистической действительности в Югославии, оставалось мало шансов быть переведенными на русский язык. А в случае с Д.Кишем мешала и тематика его творчества. Тема смерти, столкновение и гибель личности в борьбе с тоталитарной системой, мрачная трактовка общеевропейской истории — вот главная доминанта его прозы. «В скором будущем, если все не полетит к черту, ответственность писателя перед обществом будет измеряться прежде всего его отношением к жизни в лагере, как гитлеровском, так и в сталинском», — утверждал Д.Киш. Много размышлял он и о судьбе еврейства, начиная с раннего романа «Псалом 44» и кончая «Энциклопедией мертвых».

Сыграли тут свою роль и обстоятельства биографии писателя. Данило Киш родился в 1935 г. в городе Суботица на границе Сербии и Венгрии. Отец его был венгерский еврей, а мать — черногорка. Этот сложный «национальный фактор» во многом обусловил его личную и писательскую судьбу. В январе 1942 г., когда семья жила в Нови-Саде, он стал свидетелем массовой резни евреев и сербов, вошедшей в историю под названием «холодные дни». Позднее Д.Киш вспоминал, что его сознательная жизнь началась именно с этих событий: «Мне тогда было семь лет, и я ощутил

ужас, какой-то метафизический, изначальный ужас». Его отец, как и большинство новисадских евреев, уцелевших во время резни, погиб в Освенциме. Мать крестила мальчика в православной церкви, благодаря чему он остался жив.

Писателю всегда хотелось проследить, домыслить жизненный путь отца. Образ отца, тема концлагеря занимают большое место в произведениях Д.Киша, в частности в первых романах — «Псалом 44» (1962) и «Сад, пепел» (1965).

После войны они с матерью переехали к родственникам в Черногорию. В Цетине, древнем культурном центре, где 500 лет назад зародилось книгопечатание на сербской земле, среди книг богатой библиотеки своего родственника Ристо Драгичевича, историка, автора исследований о великом черногорском поэте и государственном деятеле П.П.Негоше, проходило духовное формирование Д.Киша. Его вдохновлял и пример его предка Марко Милянова, черногорского писателя XIX века.

Потом были филологический факультет и аспирантура Белградского университета, проба сил в художественном переводе, литературной критике, прозе и драматургии. Широко образованный, владеющий английским, французским, русским, венгерским языками, разбирающийся в живописи, играющий на скрипке, остроумный, живой, общительный — таким остался Д.Киш в памяти людей, которые с ним работали, дружили, просто были знакомы. Между тем на его долю и в юности выпало немало испытаний: он рано лишился и матери, средства к существованию добывал себе сам, жил в нужде. Его друг писатель Мирко Ковач вспоминал, как Д.Киш, чтобы хоть как-то согреться, носил под свитером газету «Видици» («Горизонты»), в которой он печатался и сотрудничал. Зарабатывал он на жизнь чаще всего переводами, переводил с французского (Сартр, Аполлинер, Превер, маркиз де Сад), английского, венгерского языков (Ш.Петёфи). Позднее он переводил М.Цветаеву, А.Ахматову, К.Бальмонта, Н.Гумилева, О.Мандельштама, В.Маяковского, С.Есенина. И это неудивительно, ведь в гимназии он учился у «белых русских». Русская литература и «русская тема» вообще имели особое значение для Д.Киша.

«Я считаю себя в определенной степени учеником русской литературы, русского реализма», — говорил он, хотя среди современных писателей ему ближе всего был Борхес. Д.Киш любил повторять мысль Ф.Достоевского о том, что нет ничего фантастичнее реальности, иногда подчеркивая, что нет ничего и ужаснее реальности.

Из русских писателей XX века он выделял И.Бабеля и Б.Пильняка. Он ценил их поиски обновления повествовательной модели, приемы экономии художественных средств — «сжатие» романного пространства до рассказа.

Огромную роль в творческих поисках Д.Киша сыграло знакомство с солженицынским «Архипелагом ГУЛАГ». Он прочел эту книгу, когда жил в 70-е годы во Франции. Начал жадно изучать литературу и документы об эпохе сталинизма — «одном из противоречивых феноменов, который не могут объяснить историки». Прежде всего документальные свидетельства и автобиографическую прозу Н.Мандельштам, Е.Гинзбург, К.Штайнера, издававшиеся тогда на Западе, а также рассказы В.Шаламова.

Эта эпоха с ее трагизмом, крушением идеалов, драматизмом судеб тех, кто со всех концов мира устремился в Россию строить светлое будущее, а нашел там смерть, стала материалом для его последующего творчества.

Д.Киша интересовала не только сама тема, но и то, как документ, историческое свидетельство становятся органической частью художественного текста. Он считал, что «время вымысла в литературе миновало». Д.Киш, которого называют одним из наиболее заметных постмодернистских писателей, широко применяет приемы новой прозы: цитирование, использование произведений литературного наследия, «подтасовка фактов».

Однако особенности постмодернистской поэтики доставили Д.Кишу большие неприятности. После выхода в свет в 1976 году книги «Могила для Бориса Давидовича» его обвинили в плагиате. Начался громкий судебный процесс, имевший, конечно, политическую подоплеку. Д.Киша обвиняли, а среди его обвинителей были известные писатели и критики, в использовании мемуаров К.Штайнера, книги Р.Медведева «Сталинизм», в заимствованиях у Джойса, использовании документов инквизиции об обращении иудеев в христианство и т.д. Напрасно другие литераторы доказывали, что речь идет о стилизации под документ, о непривычном, свойственном современной литературе способе общения с читателем. В 1978 году Д.Киш выпустил книгу «Урок анатомии», где возражал своим оппонентам, но это только подлило масла в огонь. Почти три года длился спор, который закончился все-таки в пользу писателя и способствовал его популярности.

«Могила для Бориса Давидовича», которую автор определил как «семь глав одной повести», наряду с «Энциклопедией мертвых» остается самой известной из его книг. Первые ее издатели сомневались, окупится ли она. Сегодня ее общий тираж в одной только Югославии перевалил за полмиллиона.

Она привлекла к себе внимание не столько критикой сталинизма (в Югославии хвалить сталинизм никогда не было принято), сколько тем, что вызывала ассоциации с происходящим в собственной стране, мысли о жертвах политических репрессий 1948 года — о тысячах погибших на Голом острове, этой югославской Колыме, а также о югославских коммунистах, пострадавших от чисток в России. Она принесла Д.Кишу мировую известность, о югославском писателе заговорили как об одном из ведущих

современных писателей. Выступая в Нью-Йорке в 1989 г. на вечере, посвященном памяти Д.Киша, Иосиф Бродский сказал об этой книге: «В ней я открыл родственную душу, родственный дух, ум... Читая ее, я чувствовал, что читаю нечто необходимое мне, то, что я сам не успел написать...»

А в предисловии к ее английскому изданию Бродский отмечал, что Киш — великий стилист, чья писательская манера близка Францу Кафке и Бруно Шульцу, и что книга «построена как большая драматическая поэма, которую венчает ужасающая «рифма»: это каббалистическое совпадение судеб героев в главе «Псы и книги» и той, которая озаглавлена «Могила для Бориса Давидовича».

В этих главах проводится параллель между участью иудея Баруха Давида Нойман, погибшего от рук инквизиторов, и участью Бориса Давидовича Новского, коммуниста, умершего в одном из сталинских лагерей.

Представляемая читателю в этом номере журнала «Энциклопедия мертвых» (1985) — последнее, самое глубокое и зрелое произведение писателя. Оно получило высокую оценку критики и на родине и за рубежом и было отмечено премией им. И.Андрича. Рассуждая в одной из своих статей о том, какой должна быть современная литература, Д.Киш заметил: «Моим идеалом была и остается книга, которую можно читать и как книгу, и как энциклопедию — быстрая смена имен и понятий в алфавитном или еще каком-нибудь порядке... Любопытно устанавливать между ними связь, найти закон соприкосновения».

Шумный успех «Могилы для Бориса Давидовича» в известной мере определялся ее злободневностью, созвучностью умонастроениям 70-х — начала 80-х годов. Сам Киш признавал, что полемика вокруг книги была прежде всего политической. Сейчас страсти вокруг этой проблемы перестали бушевать, поубавился и читательский интерес к этой теме, и критика все больше обращается к анализу поэтики и общечеловеческого содержания прозы Д.Киша. «Литература, — пишет в недавней статье югославский критик Г.Секулович, — помогает нам осознать смерть как ключ к нашему бытию. Более того, литература придает смысл смерти, делает ее значительной и тем самым примиряет с ней, помогает осмыслить и, возможно, как говорит Киш, позволяет победить ее... Литература — это возможность воскресения, победы над смертью...»

Вероятно, именно в таком ключе следует трактовать «Энциклопедию мертвых», состоящую из девяти новелл с разными героями и очень разными сюжетами. Здесь есть и своеобразно истолкованные христианские и восточные легенды, как, например, легенда о Симоне Чудотворце или семи гонимых христианах, уснувших на триста лет в пещере; и притча о мастере и предавшем его ученике; и фантастическая, с налетом мистики, история о девочке, увидевшей в зеркале убийц своего отца и сестер. Но есть тут и вещи весьма злободневные и близкие по времени действия к современности, как «Книга королей и шутов», где рассказывается о Сергее Нилусе и истории появления и распространения пресловутых «Протоколов сионских мудрецов», и заключительный рассказ о любви еврейского поэта, жившего в советской России, явно написанный под впечатлением воспоминаний Н.Мандельштам.

Связующее звено сборника — новелла, давшая ему название, она как бы объединяет все остальные, далекие от нее по сюжету, событиям, эпохе, пространству.

Критики сравнивали ее с «Вавилонской библиотекой» Борхеса. В одном из своих интервью Д.Киш не согласился с этим мнением. Он считал, что она ближе к другому рассказу Борхеса «Funes, чудо памяти».

Журнал публикует четыре новеллы из «Энциклопедии мертвых» и авторское послесловие, где Д.Киш, обращаясь непосредственно к читателю, разъясняет свой замысел и ссылается на некоторые использованные им любопытные документы. Не стоит допытываться, существовали ли эти документы на самом деле: Д.Киш любит мистификации.

Нетрудно заметить, что новеллы могли бы быть «развернуты» в повесть или роман, особенно «Энциклопедия мертвых», повествующая о жизни героя от рождения до смерти. К этому приему «сжатия» писатель прибегал часто.

Безусловно, здесь присутствует и элемент литературной игры, звучит ироническая интонация, но если это и игра, то очень серьезная, ибо нет для человека темы более серьезной, чем та, которой посвящена книга.

Русский читатель начинает знакомство с Д.Кишем как бы с конца, с произведения, представляющего собой итог творчества, целый «мир по Кишу» — мир фантасмагорический, созданный воображением автора и в то же время поразительно реальный. «Энциклопедия мертвых» — это документальное повествование о событиях и людях, которых никогда не было, и все же книгу никак нельзя отнести к разряду литературного розыгрыша — здесь иная цель, да и масштаб дарования тоже иной. Д.Киш не литературный фокусник и не пересмешник, главная героиня его прозы — Смерть. Иосиф Бродский как-то сказал, что живые относятся к мертвым как к какому-нибудь национальному меньшинству, в действительности же большинство людей жили до нас, и Данило Киш, в отличие от многих, об этом помнит. Его творчество, и в особенности эта последняя книга, — своеобразный Реквием по Человеку, по всем именитым и безымянным, кто когда-либо жил на Земле.

ДАНИЛО КИШ

Энциклопедия мертвых

Фрагменты книги

Перевод с сербскохорватского И.ЮФЕРЕВА

Симон Чудотворец

I

Семнадцать лет спустя после смерти и чудесного воскресения Иисуса Назаретянина на пыльных дорогах, что пересекают Самарию и, заметаемые сыпким песком, пропадают в пустыне, появляется тот, кого ученики называли Чудотворцем, Симоном Чудотворцем, а недруги — бранным словом «борборит». Одни говорили, будто он пришел из болот богом забытой Гиты, что в Самарии, другие — будто он из Сирии или из Анатолии. Следует признать, что он и сам способствовал этой путанице, так как на невинный вопрос, откуда он родом, отвечал широким взмахом руки, охватывавшим и вышеназванное селение, и еще добрую половину горизонта.

Был он среднего роста, мускулистый, с вьющимися черными волосами, начавшими редеть на темени; в бороде же его, также курчавой и всклокоченной, уже мелькала проседь. У него был костистый нос с горбинкой и овечий профиль. Один глаз был больше другого, что придавало лицу его несколько саркастическое выражение. В левом ухе он носил золотую серьгу: змея, заглатывающая собственный хвост. Подпоясывался он в несколько обхватов льняной веревкой, служившей ему также цирковым снарядом: в один миг эта веревка вытягивалась вверх, и он на глазах восхищенных зрителей взбирался по ней, как по шесту. Или же завязывал ее на шее вола, которому затем единым взмахом меча отсекал голову, произнося при этом какое-то заклинание. Мгновение — и голова, и туша лежат отдельно на горячем песке; затем Чудотворец произносит то же заклинание задом наперед, и голова соединяется с туловищем, а льняная веревка с воловьей шеи остается на земле. Симон развязывает узел и вновь подпоясывается веревкой, если только кто-нибудь из зрителей не желает проверить состав волокон. Симон ему тогда протягивает, точно палку, один конец ставшей вдруг твердой веревки, но, стоит сомневающемуся взять его, как она опадает и мягко шлепается на землю, поднимая облачко пыли.

Он одинаково хорошо говорил на греческом, коптском, арамейском и еврейском, а также на местных диалектах, хотя его недруги утверждали, что на всех этих языках он изъясняется с акцентом. Симон обращал мало внимания на эти россказни, даже, как казалось, сам их поощрял. Говорят, он отличался живым умом и был превосходным оратором, особенно когда обращался к своим ученикам и последователям или произносил речи перед большим скоплением народа. «Тогда глаза его сияли, как звезды», — говорит один из его учеников. «У него был голос безумца и блудливый взгляд», — замечает один из его недоброжелателей.

На извилистых дорогах, ведущих с востока на запад и с запада на восток, Симон Чудотворец встречает множество проповедников, пути их часто пересекаются. Ученики Иоанна и Павла, а также сами Иоанн и Павел разносят по свету учение Иисуса Назаретянина, память о котором еще жива в Палестине, Иудее и Самарии. Симон часто замечает следы их сандалий при входе в какое-нибудь селение. В селении необычайно тихо для этой поры дня, слышится лишь одинокий лай собаки да блеяние овец. Потом, тоже похожий на овечье меканье, издалека доносится мужской голос, звучный и четкий, хотя слова можно разобрать еще не все; это апостолы, взобравшись на старые бочки, проповедуют совершенство мира и Божьего творения. Дождавшись незамеченным в тени хижины, пока они закончат и пойдут дальше своей дорогой, Симон входит в селение, прежде чем толпа успевает разойтись.

Тут он и сам начинает проповедовать в окружении своей свиты. Утомленный сентенциями апостолов народ собирается вокруг него неохотно. «Мы только что проводили Павла и Иоанна, — говорят ему, — наслушались речей на целый год вперед».

«Я не апостол, — говорит Симон, — я один из вас. Они кладут вам руку на голову, чтобы на вас снизошел святой дух; я же протягиваю вам руку, чтобы вытащить вас из пыли». Тут он поднимает руки вверх, широкие рукава спадают крупными складками, обнажая его прекрасные белые руки и его тонкие пальцы, какие бывают только у лентяев и фокусников.

«Они предлагают вам, — продолжает Симон, — вечное спасение, я же вам предлагаю познание и пустыню. Кто хочет, пусть присоединяется ко мне».

Народ уже привык к всевозможным бродягам, являвшимся отовсюду, а по большей части с Востока, то в одиночку, то вдвоем, а то и в сопровождении толпы верующих. Некоторые оставляли своих мулов и верблюдов за селением, или у подножья горы, или в ближайшей долине, некоторые прибывали с вооруженной свитой (и их проповеди походили, скорее, на угрозу или на фарс); некоторые въезжали прямо на мулах и, не слезая с них, начинали выделывать акробатические номера. Но последние полтора десятка лет после смерти некоего Назаретянина стали появляться молодые и здоровые люди с аккуратно подстриженными бородами или еще вовсе безусые в белых одеждах, с пастушеской палкой в руке, и все называли себя апостолами и сыновьями Божьими. Сандалии их были пыльны после долгого пути, а речами они походили друг на друга, точно учились по одной книге; все они ссылались на то же чудо, очевидцами которого были: некий Назаретянин на их глазах превратил воду в вино и накормил множество людей несколькими сардинами. Кое-кто из них утверждал, что видел, как Он у них на глазах вознесся в небо в ослепительном свете; взлетел в поднебесье, точно голубь. Слепые, которых они водили за собой как живых свидетелей, утверждали, что этот свет выжег им глаза, но зато озарил светом духовным.

И все они называли себя сыновьями Божьими и сыновьями Сына Божьего. Обещали за кусок хлеба и кувшин вина вечную жизнь и блаженство, когда же люди прогоняли их со своего порога, науськивая на них свирепых собак, они грозили вечным адом, где тело поджаривается на медленном огне, как баран на вертеле.

Среди этих проповедников были и прекрасные ораторы, умевшие недоверчивому народу и еще более недоверчивым властям дать ответы на многие мудреные вопросы не только о душе, но и о теле, о земледелии, о скотоводстве. У юношей выводили угри, девушкам давали гигиенические советы, как свое девичество сберечь и как его легче сносить; стариков наставляли, как готовиться к приходу смерти, какие слова произносить в судный час, как сложить руки, чтобы легче было пройти сквозь теснину, ведущую к свету; матерям давали советы, как без лишних расходов и дорогих знахарей и снадобий спасти свое потомство, как уберечь сыновей от военных походов, бесплодных же женщин учили простым и ясным молитвам, которые следует произносить трижды в день натощак, чтобы святой дух — так они это называли — оплодотворил их чрево.

И все это они делали бесплатно, не требуя ни гроша, если, конечно, не считать платой корку хлеба, которую принимали с благодарностью, или миску холодной воды, которую пили небольшими глотками, бормоча какие-то непонятные слова. Так эти проповедники, прибывавшие с разных концов света, различавшиеся обычаями и языком, бородатые и безбородые, дополняли друг друга, но все говорили примерно одно и то же; на что намекал один, то подтверждал другой, множились лишь подробности, и несмотря на незначительные расхождения рассказ о чудесах и воскресении этого Назаретянина выглядел все более и более достоверным. Народы Иудеи, Самарии и Анатолии уже привыкли к незлобивым юношам в пыльных сандалиях, которые, скрестив руки на груди, обращаются к ним девичьим голосом и поют, возводя глаза к небу. Им давали холодной воды и корку хлеба, а они благодарили и обещали взамен вечную жизнь, описывали удивительные места, куда подающие попадут после смерти: там нет пустыни, нет песка, нет змей и пауков, одни только пальмы с широкими листьями, холодные источники на каждом шагу, травы до колена и даже выше колена, солнце не печет, ночи как дни, а дни бесконечны; пасутся коровы, на лугах щиплют траву козы и овцы, цветы источают аромат круглый год; там вечная весна, нет ни воронов, ни стервятников, одни соловьи, что поют день-деньской. И так далее.

Эту картину райских кущ, поначалу казавшуюся всем смешной и невозможной — где это видано, чтобы солнце светило вечно, чтобы не было боли и смерти? — молодые люди с кроткими голубыми глазами описывали с такой убедительностью, так вдохновенно, что им начали верить. Когда одну и ту же ложь повторяют долго, люди начинают верить. Ведь вера нужна народу. Многие юноши надели сандалии с длинными ремешками и пошли за ними. Некоторые возвращались в свое селение через год-другой, некоторые — через десяток лет. Они были утомлены долгой дорогой, в бородах у них пробивалась седина. Теперь и они говорили тихо, сцепив руки в низу живота. Говорили о Его чудесах, о Его учении, проповедовали чудные законы, презирали плотские утехи, одевались скромно, ели умеренно, вино пили, поднимая кубок обеими руками. Однако с неожиданной яростью обрушивались на всякого, кто пытался им противоречить, выражал сомнения в их учении и Его чудесах, кто бы — о горе ему! — усомнился в существовании вечной жизни и райских садов. Тогда они в красочных и весьма резких выражениях, с угрозой в голосе и огнем в глазах

живописали вечные муки искупления. «Да хранят вас боги, — пишет один язычник, — от их злого языка и ужасных проклятий!»

Они умели ловко воздействовать на сомневающихся сладкоречивостью и обещаниями, подкупом и угрозами; и сколь возрастало их влияние и число верующих, столь надменнее и бесцеремоннее они становились. Они шантажировали целые семьи, вносили смуту в души, плели интриги вокруг всякого, кто выражал всего лишь сомнение в их учении. У них были свои шпионы, наушники и тайные суды, выносившие приговоры и предававшие анафеме; они сжигали сочинения своих противников и обрушивали проклятия на головы упрямцев. Число их приверженцев все возрастало, ибо они награждали преданных и карали непокорных.

Вот в это самое время и появляется Симон, прозванный Чудотворцем.

Он проповедовал, что Бог апостолов — тиран, а тиран не может быть Богом разумного человека. Этот их Бог, Иегова, Элохим ополчился на род людской, душит его, мытарит, насылает на него болезни и диких зверей, змей и тарантулов, львов и тигров, громы и молнии, чуму, проказу, сифилис, бури и грозы, засухи и наводнения, ночные кошмары и бессонницу, волненья юности и немощь старости. Он поселил наших блаженных предков в райских кущах, но лишил их сладчайшего плода, того единственного, чего человек заслуживает, того, что его единственно и делает отличным от собаки, верблюда, осла и обезьяны, — познания добра и зла.

«И когда тот наш несчастный предок, побуждаемый любопытством, хотел добраться до запретного плода, что же сделал этот ваш Элохим, этот ваш Справедливый, Великий, Всемогущий? Что? — вопрошает Симон, покачиваясь на рассохшейся бочке. — Вы знаете, вы хорошо знаете что. (Вам об этом ежедневно твердят в своих проповедях ваши апостолы, слуги и рабы его.) Он изгнал их, как прокаженных, изгнал беспощадным мечом огненным. А почему? Да потому, что это Бог злорадства, злобы и зависти. Вместо свободы он проповедует рабство, вместо бунта — покорность, вместо наслаждений — лишения, вместо познания — догму... О, народ Самарии, разве не разрушил недавно этот ваш ненавистник дома ваши? Разве не наслал на ваши нивы засуху и саранчу? Разве не поразил десятки жителей вашего селения проказой? Разве год назад не напустил на вас страшную чуму? И что это за Бог, что за высшая справедливость, как утверждают ваши апостолы, когда он по сей день мстит вам за мнимый грех, совершенный вашими далекими предками? Что это за справедливость, когда на вас насылают чуму, громы и молнии, болезни, беды и напасти только лишь за то, что ваши предки, ведомые любопытством, этим негасимым огнем, из которого рождается познание, осмелились сорвать яблоко? Нет, народ Самарии, не Бог это, а ненавистник, душегуб и разбойник, который со своим до зубов вооруженным ангельским войском, разящим мечами огненными и стрелами отравленными, заступает вам путь. Когда у вас поспевает инжир, он насылает на него болезнь, когда созревают маслины, насылает на них грозу, чтобы посрывала их с ветвей, и град, чтобы вбил их в землю, превратил в грязь; когда у вас котятся овцы, он насылает на них чуму, или волков, или тигров, чтобы опустошили ваши загоны; когда у вас рождается ребенок, насылает на него судороги, чтобы уморить в колыбели. Что это за Бог справедливейший, который творит такое? Нет, не Бог это, не тот, что на небе, не Элохим. Это кто-то иной. Ибо Элохим есть творец неба и земли, мужа и жены, змеи и птицы, творец всего живого, тот, кто воздвиг горы над морем, тот, кто сотворил моря, реки и океаны, зеленые травы и прохладу пальм, солнце и дождь, воздух и огонь, — вот кто такой Элохим, Бог справедливости. А тот, чье учение проповедуют вам Петр, Иоанн и Павел и их ученики, есть разбойник и убийца. И все, что говорят вам о нем и его царствовании Иоанн и Павел, Иаков и Петр, — все это ложь, о внемли, народ Самарии! Их земля обетованная есть ложь, их Бог — ложь, их чудеса ложны. Они лгут, ибо ложен и Бог их, именем которого они клянутся, и потому они лгут ежечасно и, погрузившись в омут лжи, уже и сами не сознают, что лгут. Где все лгут, не лжет никто. Где все ложь – ничто не ложь. Царствие Небесное, царство справедливости есть ложь. Каждое определение их Бога есть ложь. Справедливый — ложь. Правдолюбивый — ложь. Единственный — ложь. Бессмертный — ложь. И книги их лживы, ибо обещают ложь, обещают рай, а рай есть ложь, ибо он в их руках, ибо они стоят у врат рая, его ангелы с мечом огненным и их судьи с весами лгущими».

Его слушали равнодушно и недоверчиво, как слушают демагогов, выискивая скрытый смысл в малопонятных речах. Люди уже привыкли к тому, что сильные мира сего, власти предержащие и фарисеи медоточивыми речами и сладкими обещаниями прикрывают обман, угрозы и новые подати. Вот и ждали, когда и этот выдаст себя, скажет наконец то, ради чего пришел, то, ради чего произносит все эти пустые слова, всю эту непонятную речь, лишенную ясности и смысла. Потому они слушали дальше. Может, хотя бы, надеялись они, подкрепит в конце свои туманные рассуждения каким-нибудь акробатическим трюком или каким-никаким чудом.

«Царствие Небесное покоится на фундаменте лжи, — продолжает Симон, глянув на

безжалостное солнце, — а кровля у него двухскатная: с одной стороны ложь, с другой — обман. И писания их составлены из лживых слов и лживых заповедей, каждая заповедь — ложь, десять заповедей — ложь десятикратная... Мало того что они сами поклоняются этому тирану Элохиму, мстительному и злобному старику, так они еще требуют, чтобы и вы его превозносили, падали перед ним ниц и не думали ни о чем другом, кроме как о нем! Чтобы называли его, этого тирана, единственным, и всемогущим, и справедливейшим! И чтобы были покорны ему одному! О, народ Самарии, что за шарлатаны водят тебя за нос, забивают тебе голову ложью и лживыми посулами? Милости его они оставляют для себя, а от вас требуют безропотно ему покоряться, сносить все жизненные тяготы, раны, болезни, землетрясения, наводнения, чуму и при этом не проклинать его. Почему бы иначе запрещали поминать имя его всуе? Говорю тебе, народ Самарии, ложь все то, что вам проповедуют Петр и Павел, все это ложь и обман его учеников, великий, страшный обман! Потому: не убий! Ведь убивать — его работа, этого их Единственного, Всемогущего и Справедливейшего! Его дело убивать детей в колыбели, матерей при родах да стариков беззубых! Это его ремесло, потому: не убий! Предоставь это ему да слугам его! Они одни имеют такое право! Им предназначено быть волками, а вам — овцами! Потому, народ Самарии, повинуйся их законам!.. И потому: не блуди, чтобы они могли уводить твоих самых красивых девушек! И потому: не завидуй ближнему своему, ведь завидовать-то нечему! Они требуют от тебя все, душу и тело, дух и мысль, а взамен предлагают обещания; за твою сегодняшнюю покорность, твою сегодняшнюю молитву и твое сегодняшнее молчание вознаграждают тебя лицемерными посулами, сулят будущее, будущее, которого не существует...»

Симон не заметил или лишь делал вид, будто не замечает, что почти все уже разошлись и что слушают его только те, что называли себя его учениками. Софья, его верная спутница, вытирала ему лоб и подавала кувшин с водой — уже теплой, несмотря на то что его каждый раз вновь закапывали глубоко в песок.

Софья была женщина лет тридцати с небольшим, невысокого роста, с копной густых волос и глазами черными, как терновые ягоды. Поверх прозрачной светлой накидки она носила пестрые шелковые платки, купленные, видимо, в Индии. Ученики Симона говорили о ней как о воплощении мудрости и зрелой женской красоты, в то время как христианские паломники распускали о ней разные слухи, мол, кокетка, блудница, гордячка, вертихвостка и шарлатанка, которая к своему шарлатану-покровителю попала прямехонько из публичного дома в Сирии. Симон этого не отрицал. Ее прошлая судьба рабыни и наложницы служила ему в качестве наглядного и поучительного примера Иеговиной жестокости и безжалостности этого мира. Этот Падший Ангел, этот Заблудший Агнец, утверждал он, лишь жертва Божьей жестокости, Чистая Душа, заточенная в человеческую телесную оболочку. Ее дух в течение многих веков переселялся из одного сосуда в другой, из одного тела в другое, из одной видимости в другую. Она была и Лотовой дщерью, была и Рахилью, была и Прекрасной Еленой. (Греки и варвары, стало быть, восхищались лишь видимостью, проливали кровь из-за призрака!) Последним же ее воплощением стала эта потаскушка из сирийского борделя.

— А пока, — продолжает Симон, сплюнув теплую воду, так как увидел группу паломников в белых плащах, выступивших из тени домов, и узнал в них Петра и его учеников, вооруженных пастушескими посохами... — А пока под мрачными небесными сводами, в казематах земли, в темнице жизни презрейте богатство, как они вас учат, откажитесь от плотских утех, презрейте женщину, этот кувшин нектара, этот сосуд блаженства, во имя их мнимого рая и из страха перед их мнимым адом, как будто сама такая жизнь не есть ад...

— Кто избрал земное, а кто Небесное Царство, — произнес Петр, опираясь обеими руками на посох.

— Презреть богатство может лишь тот, кто был богат, — сказал Симон, прищурив на него тот глаз, что был больше другого. — Восторгаться бедностью — лишь тот, кто был беден; отказаться от плотских утех — лишь тот, кто их вкусил.

— Сын Божий вкусил страдания, — сказал Петр.

— Его чудеса суть доказательство праведности, — добавил один из учеников Петра.

— Чудеса не являются никаким доказательством праведности, — сказал Симон. — Чудеса служат последним доказательством лишь для легковерных простолюдинов. Эту моду завел тот ваш несчастный жид, что закончил свои дни на кресте.

— Так может говорить лишь тот, кто обладает подобным даром, — ответил Петр.

Тогда Симон вдруг соскочил со старой бочки и оказался лицом к лицу с человеком, бросившим ему вызов.

— Сейчас я взлечу к небу, — сказал он.

— Хотелось бы на это посмотреть, — сказал Петр, и голос его дрогнул.

— Я знаю, докуда простираются мои возможности, — сказал Симон, — знаю, что до седьмого неба мне не добраться. Однако на шести небесах побываю. Седьмого может достичь лишь мысль, ибо там все — свет и блаженство. А блаженство не дано смертному человеку.

— Не умничай, — сказал один из учеников Петра. — Если поднимешься вон до того облака, мы будем воздавать тебе такие же почести, как Назаретянину.

Прослышав, что за селением у большого оливкового дерева происходит нечто необычайное и что тот болтун вроде бы собирается наконец показать один из своих фокусов, народ собрался вновь.

— Поскорей возвращайся, — насмешливо бросил один из зрителей. — Да оставь нам что-нибудь на память.

Симон развязал веревку, которой был подпоясан, и положил ее перед ним на землю.

— Это все, что у меня есть.

А Софья сказала:

— Возьми этот платок. Там, наверху, холодно, как на дне колодца.

И повязала ему платок на шею.

— Твои приготовления слишком затянулись, — сказал Петр.

— Он ждет, когда зайдет солнце, чтобы под покровом ночи улизнуть, — добавил один из учеников Петра.

— До свидания, — сказал Симон и поцеловал Софью в лоб.

— Прощай, — сказал один из учеников Петра, — да смотри не простудись!

Симон вдруг подпрыгнул, как петух, оттолкнувшись обеими ногами одновременно, неловко размахивая руками. Из-под его сандалий поднялась пыль.

— Кукареку! — крикнул какой-то шутник. Это был молодой парень с хитрыми глазами на безусом лице, которые превращались в два узких лезвия, когда он смеялся.

Симон глянул в его сторону и сказал:

— Не так-то это легко, сынок! Земля притягивает каждое тело, даже перышко, а уж тем более людскую плоть в сорок ок[1] весом.

Петр при этих словах едва не расхохотался, однако спрятал усмешку в бороду.

— Кабы ты умел летать так же, как молоть языком, — сказал тот же шутник, — давно бы уж был за облаками.

— Молоть языком легче, чем летать, это верно, — согласился Симон с печалью в голосе. — Вон даже ты болтать горазд, а ведь за всю свою никчемную жизнь и на метр от земли не оторвался... Ну а теперь дай мне собрать все мои силы, направить к одному все мысли, представить со всей отчетливостью ужас земного прозябания, несовершенство мира, мириады гибнущих жизней, зверей, рвущих друг друга на части, гадюку, жалящую молодую серну, что мирно пасется в тени, волков, режущих ягнят, самок богомола, убивающих своих самцов, пчел, погибающих после укуса, муки матерей, нас рожающих, слепых котят, которых дети бросают в реку, ужас рыб в брюхе кашалота, ужас кашалота, выброшенного волной на берег, тоску слона, издыхающего от старости, короткую радость бабочки, обманчивую красоту цветка, мимолетность любовного объятия, ужас пролитого семени, немощь одряхлевшего тигра, зубную гниль во рту, вороха мертвых, прелых листьев в лесах, страх только что вылупившегося птенца, которого мать выталкивает из гнезда, адские муки червяка, поджаривающегося на солнце, как на раскаленной сковородке, боль расставания любовников, безысходную тоску прокаженных, страшные метаморфозы женских грудей, кровоточащие раны, страдания слепых...

И вдруг все увидели, как смертное тело Симона Чудотворца отрывается от земли, как стоймя поднимается вверх, все выше и выше, лишь слегка шевеля руками, еле-еле, как рыба плавниками, почти незаметно, а волосы и борода его развеваются от этого медленного взлета, от этого парения.

Во внезапно наступившей тишине не слышно было ни единого крика, ни единого вздоха. Толпа стояла точно окаменев, устремив глаза к небу. Даже незрячие обращали свои мертвые белки к небесам, поняв по неожиданной тишине, что произошло, куда смотрит толпа, куда повернуты все головы.

Петр также стоял, как громом пораженный, открыв рот от изумления. Он не верил ни в какие чудеса, кроме чудес веры, чудо могло исходить только от Него, единственного Чудотворца, того, кто превратил воду в вино; все остальное — трюки шарлатанов, дергающих за невидимые нитки. Чудеса — удел одних христиан, да и то лишь тех из них, чья вера тверда, как камень, какой была Его вера.

На мгновение поколебавшись и убоявшись обмана — ведь это не может быть не чем иным, кроме как обманом чувств, ярмарочными фокусами, — он протер глаза, затем бросил взгляд на то место, где только что стоял (и где, следовательно, и сейчас должен стоять) Симон, прозванный Чудотворцем. Однако его там не было, там была только льняная веревка, свернувшаяся в клубок наподобие змеи, и медленно оседавшая пыль, которую поднял Симон, когда подпрыгивал, как неуклюжий петух, размахивая руками, точно подрезанными крыльями. Потом Петр медленно поднял взгляд туда, куда смотрела вся толпа, и вновь увидел Чудотворца. Его силуэт четко выделялся на фоне белого облака; сейчас он

[1] Ока - старинная мера веса, равная 1,280г. (*Здесь и далее - прим.перев.*)

походил на огромного орла, однако это был не орел, а человек, были все еще отчетливо видны человеческие руки, и человеческие ноги, и человеческая голова, хотя положа руку на сердце уже нельзя было сказать, что этот человек, возносящийся под облака, именно Симон по прозванию Чудотворец, так как черты лица его уже нельзя было разобрать.

Он глядел на белое облако, отчаянно моргая, чтобы отделаться от миража, смутившего всю толпу. Ведь если этот черный силуэт, поднимающийся в небо, под облака, действительно Симон, то тогда Его чудеса и истина христианской веры лишь *одна из истин этого света*, одна, но не единственная; тогда мир — тайна, тогда вера — обман, тогда нет больше надежной опоры в его жизни, тогда человек — тайна тайн, тогда единство мира и творения оказывается под вопросом.

То, что, если верить собственным глазам, должно было быть смертным телом Симона Чудотворца, поднялось уже до самого облака; черная точка на мгновение скрылась из виду, потом снова показалась на белом фоне низко висящего облака, чтобы затем уже окончательно исчезнуть в белой мути.

Мгновение еще было тихо, а затем из толпы послышался вздох восхищения, и люди пали на землю ниц, кланяясь и раскачивая головой, точно в трансе. Даже кое-кто из учеников Петра склонил голову перед этим новым языческим чудом, живыми свидетелями которого они стали.

Тогда Петр закрыл глаза и произнес на иудейском (ибо на этом языке изъясняются между собой святые, да и толпе понимать не следовало) такую молитву:

«Отче Единый, иже еси на небеси, прииди на помощь чувствам моим, затуманенным земным обманом, дай очам моим зоркость зрения, разуму ясность, дабы отринуть от себя видения и обман, дабы остаться непоколебимым в Твоей вере и в своей любви к Сыну Твоему, Спасителю. Аминь».

А Бог сказал ему:

«Следуй моим советам, о Верный. Скажи толпе, что сила веры сильнее неверных чувств, скажи громко, чтобы все слышали. И еще скажи им громко, чтобы все слышали: Бог лишь один, и имя ему Элохим, и сын Божий один, и имя ему Иисус, и вера одна — вера христианская. А тот, что на твоих глазах взлетел в облака, Симон, называемый Чудотворцем, вероотступник и хулитель Божьего учения, в самом деле взлетел благодаря силе своей воли и силе своей мысли и сейчас летит, невидимый, к звездам, несомый силой своего сомнения и своего человеческого любопытства, которая, однако, имеет границы. И скажи им громко, чтобы все слышали, что и эту искусительную силу ему дал я, что сила его немалая исходит от меня, ибо это я позволил ему искушать души христианские своими чудесами, дабы показать, что нет чудес и нет другой силы помимо моей. Так скажи им и не бойся».

Петр открыл глаза, взобрался на кучу засохшего навоза, над которой роились мухи, и вскричал во весь голос:

— Наро-о-од, слушай и внемли!

Никто не обратил на него внимания. Толпа лежала в пыли лицом вниз, как в жаркие дни овцы под сенью кустов.

Петр вновь закричал во весь голос:

— Народ Самарии, слушай и внемли тому, что я скажу.

Некоторые подняли головы, и прежде других слепые.

— Вы видели то, что видели, стали жертвами обмана своих чувств; этот факир и циркач, выучившийся в Египте...

— Он сдержал свое слово, — сказала Софья.

— Как только я сосчитаю до десяти, — продолжал Петр, не замечая ее, — его тело шлепнется на землю, которую он презрел, рухнет, как камень, перед вами, чтобы уже никогда больше не подняться из пыли... Ибо Бог единый так хочет... Раз...

— И все-таки он взлетел, — сказала Софья. — Доказал, что он чудотворец.

— Два...

— Даже если и упадет, он победитель, — сказала Софья.

Считая, Петр держал глаза закрытыми и, казалось, нарочно тянул время.

А потом он услышал вопль толпы и открыл глаза. В том самом месте, где недавно скрылся из глаз Симон Чудотворец, из облаков вынырнула черная точка, которая становилась все больше и больше. Тело Симона Чудотворца камнем неслось к земле, вращаясь одновременно вокруг своей поперечной и продольной оси. Чудотворец размахивал руками и ногами, все увеличиваясь в размерах. Толпа бросилась врассыпную, боясь, как бы это падающее с неба тело не прибило кого-нибудь.

Все произошло очень быстро. Как мешок с мокрым песком, выпавший из повозки, или как ягненок, которого орел в поднебесье не смог удержать в когтях, так грянулось о землю тело Симона Чудотворца.

Первой к нему приблизилась Софья Проститутка, его верная спутница. Она хотела накрыть глаза его платком, который ему дала, но и на это у нее не достало сил; она невольно-

но зажмурилась в ужасе от увиденного. С разможженным черепом, переломанными членами, лицом, окровавленным и изуродованным, с вывалившимися, как у зарезанного вола, внутренностями лежал он на земле; это была груда раздробленных, изломанных костей и кровавого мяса, а его бурнус, его сандалии и его платок смешались с костями и мясом в одну безобразную, расплющенную массу.

Подошедшие взглянуть на останки Симона услышали, как она сказала голосом, каким произносятся проклятья:

— Это тоже доказательство истинности его учения. Жизнь человеческая есть падение в ад, мир же в руках тиранов. Да будет проклят величайший из всех тиранов — Элохим.

И она направилась в пустыню, горестно причитая.

2

Согласно другой версии, Чудотворец бросил вызов не седьмому небу, а земле, величайшей из Иллюзий.

Итак, Симон лежал в тени большого оливкового дерева на спине, закинув руки за голову и вперив взгляд в небо, в «ужас небес». Рядом с ним сидела Проститутка, «раскорячив ноги наподобие стельной коровы», как помечает один христианский полемист (впрочем, мы не уверены, его ли это собственное свидетельство или он лишь цитирует кого-то из очевидцев этой сцены. Или просто выдумывает). Оливковое же дерево и его жидкая тень, упомянутые и другими, является единственным надежным фактом в этой удивительной истории о Симоновых чудесах. Так вот, по воле случая оказался там и Петр со свой свитой. Без сомнения, возмутившись непристойной позой Софьи, один из учеников, отворотив голову в сторону, дабы его миновало искушение, обратился к Симону с вопросом: лучше ли сеять на земле, а жать на небе или лучше бросать семя по ветру — схоластический вопрос, требующий недвусмысленного ответа.

Не вставая, лишь приподнявшись на локтях, Симон бросил через плечо:

— *Всякая земля есть земля, и потому все равно, где сеять. Истинный же союз — когда соединяются мужчина и женщина.*

— Любой мужчина и любая женщина? — спросил Петр вне себя от изумления.

— Женщина есть сосуд блаженства, — сказал Симон. — А ты по своей бестолковости только и знаешь затыкать уши, как бы не осквернить их богохульством, или отводить глаза, а то и бежать прочь, если нечего ответить.

Тут следует долгий теологический спор об Элохиме, о наказании, о раскаянии, смысле жизни, об отказе от мирских утех, о душе и теле, и все это пересыпается схоластическими доказательствами и цитатами на иудейском, греческом, коптском и латинском.

— Душа есть альфа и омега, — заявил Петр. — Хорошо то, что угодно Богу.

— *Дела человеческие не хороши и не плохи сами по себе*, — сказал Симон. — Мораль определяют люди, а не Бог.

— Дела милосердия суть залог вечности, — сказал Петр. — А чудеса — доказательство для сомневающихся.

— Может ли ваш Бог исправить повреждение девицы? — спросил Симон, взглянув на свою спутницу.

— Он обладает духовной силой, — сказал Петр, явно смущенный этим вопросом.

Софья усмехнулась.

— Я хочу сказать, способен ли он на физическое воздействие? — продолжал Симон.

— Способен, — ответил Петр без колебаний, — тот, кто исцелил прокаженных, тот, кто...

— ...превратил воду в вино et caetera et caetera, — прервал его Симон.

— Да, — сказал Петр, — его ремесло — чудеса и...

— Я думал, его ремесло — плотничать, — бросил Симон.

— И милосердие, — закончил Петр.

Наконец, разгневанный упрямством Петра и постоянными ссылками на его чудеса, Симон сказал:

— Я могу творить чудеса не хуже этого вашего Назаретянина.

— Сказать легко, — ответил Петр дрогнувшим голосом.

— Он на ярмарках в Египте выучился разным фокусам, — сказал один из учеников Петра. — Тут надо опасаться обмана.

— И ваш Назаретянин — как его там? — мог научиться египетским фокусам, — сказал Симон.

— Чудо произошло несколько раз, — сказал Петр.

— Закопайте меня в землю на глубину шести локтей, — сказал Симон после короткого раздумья. — Через три дня я воскресну, как этот ваш...

— Иисус, — сказал Петр. — Ты отлично знаешь, как его зовут.

— Да, он.

Один из учеников сбегал в ближайшее селение и вернулся с несколькими работниками, которые рыли в долине колодец. Они несли на плечах заступы, лопаты и топоры. За ними явились все жители, все, кто мог ходить, так как весть о появлении египетского фокусника, который собирается сотворить чудо, быстро разнеслась по округе.

— Шесть локтей, — повторил Симон.

Работники взялись за дело, и вскоре за верхним песчаным слоем показались крупные камни, а затем сухая красноватая глина. Лопаты выбрасывали ее вместе с кусочками корней, срезанных острыми лезвиями, черви извивались и корчились на солнце, как на раскаленной жаровне.

Софья безмолвно стояла у края ямы, становившейся все глубже, в то время как Симон, точно хозяин, которому роют колодец, измерял шагами ширину и длину ямы, опускал в нее свою льняную веревку, проверяя глубину, разминал в пальцах песок и землю.

Когда был готов гроб — четыре грубо оструганные доски из пахучего кедра, скрепленные деревянными клиньями, — Софья сняла свой платок и повязала его Симону на шею.

— Там, внизу, холодно, как на дне колодца, — сказала она.

Симон резко отстранился от нее, подергал доски гроба, как бы проверяя его на прочность, ловко шагнул в него и вытянулся на дне.

Работники подошли и по его знаку забили большие клинья. Петр что-то шепнул одному из своих учеников. Тот приблизился и, проверив соединения, кивнул.

Петр поднял руку, которая слегка подрагивала, работники продели под гроб веревки, осторожно опустили его в яму. Софья стояла в стороне, неподвижно. По крышке застучали комья земли. Этот звук походил на удары в большой, быстро удаляющийся барабан. Вскоре здесь, на месте, где только что зияла яма, рядом с высокой пальмой вырос холм, похожий на песчаную дюну.

Петр взобрался на этот холм, поднял руки к небу и стал бормотать какую-то молитву. С закрытыми глазами и головой, склоненной немного набок, он производил впечатление человека, прислушивающегося к чьим-то далеким голосам.

Ветер уже в тот же день замел следы босых ног и сандалий на зыбучем песке.

Через три дня, а была это пятница, гроб выкопали. Собралось гораздо больше народу, чем при погребении, так как весть о чудотворце, факире и фокуснике разнеслась далеко вокруг. Софья, Петр и его ученики как судьи, которым все уступали место, оказались ближе всех к могиле.

Прежде всего их обдало ужасной, как в аду, вонью. Вскоре затем из-под развороченной земли показались потемневшие, точно ржавые, доски гроба. Работники выбили клинья и подняли крышку. Лицо Симона Чудотворца превратилось в страшную бесформенную массу, в пустых глазницах копошились черви. Желтоватые зубы были оскалены не то в судороге, не то в жуткой улыбке.

Софья вскрикнула и закрыла глаза руками. Потом резко обернулась к Петру и промолвила голосом, от которого того пробрала дрожь:

— Это тоже доказательство истинности *его* учения. Жизнь человеческая есть падение в ад, мир же в руках тиранов. Да будет проклят величайший из всех тиранов — Элохим.

Люди расступились перед ней, и она, пройдя сквозь притихшую толпу, направилась в пустыню, горестно причитая.

Ее смертное тело вернулось в бордель, дух же ее вселился в какую-то новую Иллюзию.

Посмертные почести

Дело происходит в тысяча девятьсот двадцать третьем или двадцать четвертом году. Кажется, в Гамбурге. Это время биржевых катастроф и головокружительной девальвации: однодневный заработок портового рабочего составляет семнадцать миллиардов марок, а проститутки средней руки берут за свои услуги втрое больше. (Матросы в гамбургском порту носят «мелочь» в картонных коробках под мышкой.)

В одной из розовых комнатушек поблизости от порта умерла внезапно от воспаления легких проститутка по имени Мариетта. Украинец Бандура, матрос и революционер, утверждал, что она «сгорела от любви». Никакая банальная болезнь не вязалась в его голове с ее *божественным* телом, а воспаление легких к тому же — «буржуйская болезнь». «Сгорела, как на костре», — говорил он. Хотя с тех пор прошло уже почти пять лет, голос Бандуры в эту минуту звучит глухо и хрипло, словно он давится кашлем. И это не только от пьянства, хотя Бандура, на которого и свои-то давно махнули рукой, уже превратился в настоящую развалину, что-то вроде большого ржавого корабля, брошенного гнить на мели.

— Можно не сомневаться, — хрипит Бандура, — ни одну шлюху на свете не оплакива-

ли так искренне... И ни одна не была похоронена с бóльшими почестями.

Накануне похорон Мариетты были разорены цветники и оборваны сады богатых вилл на окраинах города, собаки лаяли всю ночь, исходили пеной доги и овчарки, рвавшиеся из ошейников, похожих на собачий терновый венец; тяжелые цепи скользили по натянутой стальной проволоке, казалось, что звенят кандалами тысячи рабов, и никто не подозревал, даже старые усталые садовники, в больных костях которых заключалась история болезней столь же долгая, как история пролетариата, что в ту ночь произошла маленькая локальная революция: матросы из гамбургского порта взяли штурмом сады богачей. Эти дети пролетариев из Гавра, Марселя, Антверпена совершили под покровом ночи настоящую резню, срезав под корень своими острыми складными ножами все подчистую гладиолусы, растоптав тяжелыми рваными башмаками всю цветочную мелочь, недостойную ножа. Парки и скверы были в ту ночь «варварски разорены», налетчики не пощадили ни городской сад, ни сквер перед ратушей «в двух шагах от полицейского управления». «Нет никакого сомнения, — писали газеты, — что этот варварский акт совершили анархистски настроенные элементы и бессовестные перекупщики цветов».

На Мариеттину могилу принесли охапки роз, белых и красных, веточки пиний со свежими следами ножа, тюльпаны и хризантемы, туберозы, небесно-голубые гортензии, декадентски вычурные ирисы, эти цветы сладострастья; гиацинты и дорогие черные тюльпаны, цветы ночи; мертвенно-восковые лилии, цветы невинности и первого причастия; лиловую сирень, пахнущую смертью, и уродливые гладиолусы (которых было больше всего), нежно-белые и нежно-розовые, ангельски-невинные гладиолусы с какой-то мистической символикой меча-и-розы; и все это несло на себе печать гнилого богатства, тенистых богатых вилл. Мертвенная роскошь гладиолусов, политых потом старых усталых садовников, фонтанчиками опрыскивателей, искусственным дождем из артезианских колодцев, долженствовавшим защитить от всех напастей болезненную пышность этих пустоцветов без всякого запаха, даже рыбьего, несмотря на их фантастическую суставчатую конструкцию, похожую на клешни омаров, несмотря на восковые складки цветков, ложные щупальца тычинок и ложные пики остроконечных бутонов, — все это уродливое пышноцветье было не в состоянии выдавить из себя ни единого атома аромата, пусть даже такого слабого, как у дикой полевой фиалки. Венцом же этого цветочного фейерверка красок стали ветви магнолий, наломанные в ботаническом саду, роскошные ветви с кожаными листьями, каждая из которых заканчивалась большим белым цветком, похожим на шелковые банты в волосах тех «девушек из хороших домов», которых камрад Бандура (со свойственной ему склонностью к преувеличениям) сравнил с портовыми шлюхами. Пощадили одни только кладбища, потому что Бандура в своем обращении «ко всем морякам, всем докерам, всем тем, кто ее любил», требовал лишь живых цветов и категорически запретил, видно под влиянием какой-то мистической экзальтации, осквернять могилы. Мне кажется, я могу воспроизвести, хотя бы приблизительно, ход его мыслей: «Со смертью не шутят; у цветов, как у человека, есть своя диалектическая траектория и биологический цикл: от цветения до увядания; пролетарии имеют такое же право на посмертные почести, как и господа; шлюхи являются продуктом классовых различий, и (поэтому) они достойны таких же цветов, как и барышни из хороших домов». И т.д.

Молчаливая процессия во главе с Бандурой подняла знамена, красные и черные, лишь дойдя до рабочих окраин; они заполоскались, забились на ветру зловещим алым огнем пожаров и черными красками ночи — символика, похожая на язык цветов, но с социальным подтекстом.

Где-то на границе между могилами богачей и бедноты Бандура, оскальзываясь, вскарабкался на высокий постамент, сложенный из черных мраморных плит (бронзовый ангел держит венок над давно уснувшей маленькой покойницей) и перед притихшей толпой обнаживших головы моряков и размалеванных проституток произнес надгробную речь. В коротких словах набросал он биографию Мариетты: трудное детство дочери прачки и марсельского портового носильщика, проведшего свой век в беспробудном пьянстве. И пока матрос и революционер Бандура, внезапно охрипший, с комком, застрявшим в горле, подводил в своем прощальном слове печальный итог несчастливой жизни, делая ударение на существующей социальной несправедливости и необходимости классовой борьбы, выстреливая слова, заряженные ненавистью, точно читая Бакунина, перед его внутренним взором проходили яркие картины этой жизни, будто фотографии из старинного альбома. (Думаю, к этим картинам незаметно примешивались воспоминания и его собственного детства.) Полуподвал, погруженный в какой-то болезненный полумрак, дым папирос, тяжелый запах вина и анисовой водки; мучительные сцены семейных ссор, драки, вопли, рыдания, выжигание клопов, которые потрескивают в огне подожженной старой газеты, лижущем уже закопченные сочлененья железных солдатских кроватей; выискивание по-обезьяньи вшей вечером при свете тусклой лампы, когда дети, низко склоняясь друг к другу, к самой макушке, находят у корней каштановых и светлых кудряшек целые скопища паразитов; рас-

пухшие от стирки руки матери, похожие на вареных раков...

Его речь над могилой лишь временами прерывалась истеричными всхлипываниями старых шлюх (наверное, никто другой не ощущает с такой убийственной отчетливостью недолговечность плоти и катастрофическую неминуемость увядания) да хриплым покашливанием и сморканием докеров, и Бандура не знал, кашель ли это или рвущееся из груди рыдание, мужской суррогат плача, тот же самый эрзац вздохов и слез, каким он и сам сопровождал свою речь. (Он прислушивался к собственному голосу, как к чужому, доносящемуся из скрипучего фонографа, и перелистывал в душе тот старинный альбом в хронологическом порядке, начиная с первой своей встречи с Марието́й.)

Он увидел ее однажды вечером в тысяча девятьсот девятнадцатом году, в гамбургском порту, где только что сошел на берег с борта «Франкена». Вечер был поздний, серый, ноябрьский, лишь уличные фонари мерцали в тумане. На следующий день в одном из портовых трактиров он должен был войти в контакт с *Аппаратом* (пароль ему был известен), а до тех пор оставаться незаметным и ничем — ни своим видом, ни разговором, ни поведением — не выделяться среди сотен, если не тысяч моряков, сошедших в тот день на берег. Он шел по улице Кукол, смешавшись с пьяными матросами и трезвыми доносчиками, которые изображали пьяных матросов, заглядывая сквозь низкие окна в мягко освещенные розовые комнаты. Боковой свет ламп с красными абажурами освещал, как на полотнах фламандских мастеров, портреты Дам в лиловом интерьере, где испанская ширма, разрисованная декадентскими ирисами, этими цветами распутства, заслоняет таинственный Интим (манящий скрытой от глаз тайной, как манят взор складки и вырезы платья): обтянутую парчой жесткую кровать, великолепную, как ладья, — о, Бандура знал всю эту обстановку задолго до того, как встретил Марието́ту! — блестящий белый таз из фаянса и высокий графин с изящной ручкой. Отблеск розового света лампы лежит на гладкой ткани ширмы, ирисы становятся темнее, как и красная парча в центре витрины, где сидит Дама. Она обращена к зрителю вполоборота, и складки ее платья также отражают приглушенный свет лампы. Она сидит скрестив ноги, а в руках держит вязанье. Длинные пламенеющие волосы ниспадают по голым плечам на высокую полуобнаженную грудь. Другая Дама в соседней витрине держит в руках книгу, как какая-нибудь послушница, читающая Библию. Из-под ее огненно-рыжих волос, закрывающих часть лица, поблескивают стекла очков. (Если подойти поближе, то можно прочесть на обложке оттиснутое крупными буквами название — «Граф Монте-Кристо».) На ней темное платье с белым кружевным воротничком, отчего солдатская девка похожа на примерную студентку из Хайдельберга... А потом он увидел ее, Марието́ту. Она сидела скрестив ноги, как и остальные, слегка выпятив зад, с сигаретой в руке, в светлом атласном платье, но в позе, в ее фигуре, погруженной в бледно-розовый свет, как в аквариум (вечная Сирена всех моряков), было что-то такое, что сразу же привлекло Бандуру. И лишь когда он шагнул в ее комнату и когда она задернула окно зеленой занавесью тяжелого бархата и сунула свою теплую руку ему под рубашку, только тогда он понял: Марието́тта не играла никакой роли — ни Домохозяйки, ни Вышивальщицы, ни Студентки, ни Послушницы, — ей одной не требовался никакой особый образ, достигавшийся посредством долгих и сложных тренировок; она была единственной и неповторимой, она была портовой шлюхой.

— Она любила моряков со всех концов света и помогала им, — ревет во всю мочь Бандура над могилой, точно на митинге, — не имея предрассудков в смысле цвета кожи, расы или религии. К ее грудям «маленьким, но прекрасным», как говаривал Наполеон Бонапарт, император злодейства, прижимались черные потные груди моряков из Нью-Йорка, желтые безволосые груди малайцев, медвежьи лапы гамбургских докеров, татуированные груди лоцманов с Альбертова канала, на ее лилейной шее отпечатывались печатью всеобщего людского братства и мальтийский крест, и распятие, и Соломонова звезда, и русская икона, и акулий зуб, и талисман в виде корня мандрагоры, а меж ее нежных бедер текли целые реки спермы, вливаясь в ее теплое нутро, как в родную гавань всех моряков, как в устье всех рек...

Слушает Бандура свой собственный голос, далекий и холодный, и перед ним проходят картины жизни Марието́тты, теперь уже без всякой хронологии, точно своевольный ветер переворачивает страницы альбома, но при этом кажется, что Бандура видел все это собственными глазами. (После любовных объятий, после близости с мужчинами, которых она *действительно* любила, — а этот революционер с нежным сердцем был один из них, — Марието́тта частенько рассказывала о себе, как бы исповедуясь. Она делилась своими воспоминаниями во власти какой-то странной ностальгии, словно все эти жестокие рассказы со множеством грязных подробностей сами по себе не важны, важен лишь тот факт, что это было давно и что тогда она была молодой, *presque un enfant* — почти ребенком.) И Бандура видит, как какой-то отвратительный плюгавый грек однажды в карнавальный вечер берет ее, бледную и немножко пьяную от пива, с которого она по-детски слизывала пену, за руку; как она идет за этим греком мелкими шажками послушного голодного животного по узким

марсельским улицам, спускающимся к гавани; как затем поднимается по лестнице какого-то мрачного дома неподалеку от портовых складов, держась за толстый корабельный канат, натянутый вместо перил; потом он своим внутренним взором всегда с одной и той же невнятной яростью следит за тем, как она уверенным шагом направляется к двери на третьем этаже (грек стоит внизу у лестницы, подбадривая ее). Затем выплывает картина одной из улиц Марселя, где Мариетта, ярко накрашенная, стоит, прислонившись к каменной стене, поджав ногу, словно больная птица...

— Все мы здесь, *камераден*, — продолжает Бандура, — все мы члены одной большой семьи, любовники, женихи — да что я говорю! — мужья одной женщины, кавалеры одной дамы, братья-единоверцы, утолявшие жажду из одного источника, пившие ром из горлышка одной бутылки, рыдавшие пьяные на одном плече, блевавшие в один таз, там, за зеленой ширмой...

Когда смолк надтреснутый голос Бандуры, забарабанили по крышке гроба первые горсти земли, швыряемые грубыми руками моряков и докеров, словно соливших развороченные внутренности огромной рыбины. Над могильной ямой шуршал шелк алых и черных флагов, бывших теперь лишь знаменами скорби. Потом землю стали бросать в могилу лопатами, она глухо и часто стучала по доскам гроба, как стучит сердце распалившейся девки после любовных объятий. Цветы бросали сперва по одной штуке, потом букетами, затем целыми охапками, передавая их друг другу, как кирпичи на стройке, от самой часовни до того бедняцкого кладбищенского квартала, где вдруг как бы проседают ограды могил, а гранитные надгробия и бронзовые памятники сменяют грубо обтесанные камни и покосившиеся деревянные кресты. И наверное, никто уже никогда не узнает, что, какой инстинкт, какой порыв, какая боль, классовая ненависть или ямайский ром заставили их нарушить приказ Бандуры. И произошло чудо революционного неповиновения, беспричинный стихийный бунт: матросы и портовые девки, это суровое племя, в припадке ярости, не помня себя, обливаясь слезами и скрежеща зубами, стали обрывать с богатых могил гладиолусы, обдирать ладони о шипы роз, выдергивать вместе с луковицей тюльпаны, рвать зубами гвоздики, передавая все это охапками друг другу, по цепочке. Вскоре вырос целый холм цветов и зелени, гора тюльпанов, гортензий, роз и гладиолусов. Крест же, установленный над могилой, и сам могильный холмик исчезли под этим огромным стогом, источавшим какой-то свой собственный запах, напоминавший аромат увядающей сирени.

Когда прибыла полиция, участки кладбища для богатых были уже разорены, ободраны так, «точно над этим прибежищем скорби пронеслась туча саранчи», как писали газеты. («Rote Fahne»[1] опубликовала статью без подписи, где говорилось о жестокости полиции, арестовавшей и выславшей из страны два десятка матросов.)

— Єними шапку, — говорит Бандура своему собеседнику. Йохан или Ян Валтин (кажется, так его звали) с внезапно нахлынувшей тоской пытается вспомнить лицо Мариетты. Но вспоминает лишь ее щуплое тело и хриплый смех. Потом на какое-то мгновение в памяти возникают ее улыбка, неясный овал лица, но тут же все это исчезает.

— *Можешь не сомневаться*, — говорит Бандура, — *ни одну барышню из хороших домов не оплакивали так искренне. И ни одна не была похоронена с бóльшими почестями.*

Энциклопедия мертвых

(Вся жизнь)

Посвящается М.

В прошлом году, как Вам известно, я гостила в Швеции по приглашению Института театральных исследований. Некая госпожа Йохансон, Кристина Йохансон, взяла на себя роль экскурсовода и сопровождающего лица. Я посмотрела пять-шесть спектаклей, из которых стоит упомянуть очень неплохую постановку «В ожидании Годо» Беккета, которую показывают заключенным. И десять дней спустя, уже вернувшись домой, я все еще жила в том далеком мире как во сне.

Госпожа Йохансон оказалась женщиной энергичной и стремилась показать мне за эти десять дней все, что стоит посмотреть в Швеции, все, что мне, «как женщине», могло быть интересно. Так не был обойден нашим вниманием и знаменитый парусник «Васа», несколько веков пролежавший в иле на морском дне и сохранившийся не хуже мумии фараона. Однажды вечером после спектакля «Бесовская соната» в Национальном театре моя провожатая повела меня в Библиотеку. Я едва успела перехватить бутерброд в какой-то забегаловке.

Было уже около одиннадцати, и Библиотека была закрыта. Однако госпожа Йохансон

[1] "Красное знамя" (*нем.*).

показала сторожу что-то вроде пропуска, и он хотя и ворча, но все же впустил нас. В руках у него позвякивала большая связка ключей, как у того охранника, который днем раньше провел нас в Центральную тюрьму на постановку «Годо». Моя спутница передала меня с рук на руки этому церберу, сказав, что заедет за мной утром в отель и что я могу спокойно осматривать Библиотеку, этот господин мне потом вызовет такси и вообще он поступает в мое распоряжение... Что мне оставалось делать, кроме как принять столь любезное предложение. Следуя за сторожем, я очутилась перед большой тяжелой дверью; он отпер ее, зажег тусклый свет и оставил меня одну. За спиной послышался звук поворачиваемого в замке ключа, и я оказалась запертой в Библиотеке, как в каземате.

Откуда-то тянуло сквозняком, отчего раскачивались лохмы паутины, рваными клочьями покрывавшей полки с книгами, словно ряды бутылок со старыми выдержанными винами в каком-нибудь погребе. Все помещения были одинаковые, сообщающиеся между собой узким проходом, и везде гулял тот же сквозняк, источник которого мне так и не удалось обнаружить.

Прежде чем я успела рассмотреть сами книги (а может, эта догадка возникла, когда я увидела латинскую букву «С» на одном из томов в третьем зале), я сообразила: для каждой буквы алфавита был отведен отдельный зал, где хранились тома *Энциклопедии* на данную букву. Я находилась в третьем. Все верно: в четвертом хранилище располагались тома, помеченные буквой «D». Тут, подгоняемая неясным предчувствием, я бегом бросилась дальше. По безлюдным залам перекатывалось ломкое эхо моих шагов, замирая в темных закоулках. Взволнованная и запыхавшаяся, я добралась до буквы «М» и со вполне осознанным намерением раскрыла одну книгу. Я уже поняла, что это знаменитая *Энциклопедия мертвых*, о которой мне доводилось читать. Еще не открыв огромный том, я уже знала, с чем свела меня судьба.

Первое, что я увидела, была его фотография. Единственная втиснутая между двумя колонками текста, почти посредине страницы. Та самая, которую Вы видели на моем письменном столе. Он снялся в 1936 году, двенадцатого ноября, в Мариборе после демобилизации из армии. Под снимком имя и годы жизни: 1910 — 1979.

Вы знаете, что мой отец умер недавно, и что я с младенчества была к нему очень привязана. Впрочем, речь не об этом. Тут важен тот факт, что умер он месяца за два до моей поездки в Швецию. Я и отправилась-то в это путешествие в основном именно для того, чтобы хоть немного отвлечься от постигшего меня горя. Мне, как и многим людям, с кем случилась беда, казалось, что смена обстановки поможет избавиться от душевной боли, будто боль эта не сидит в нас, где бы мы ни были.

Прислонившись плечом к деревянному стеллажу и держа книгу обеими руками, я читала его биографию, позабыв о времени. Книги, как в средневековых библиотеках, были прикованы к полкам толстой железной цепью. Я обнаружила это лишь тогда, когда попыталась перенести тяжелый том поближе к свету.

Вдруг меня охватил испуг, мне показалось, что я нахожусь здесь уже слишком долго и что господин Цербер (как я его про себя называла) может в любую минуту войти и попросить меня прервать чтение. Поэтому я поспешно забегала глазами по строчкам и абзацам, поворачивая раскрытую книгу, насколько позволяла цепь, так, чтобы на нее падал скупой свет лампочки. Толстый слой пыли и колышущиеся клочья паутины красноречиво свидетельствовали о том, что эти тома никто не трогает. Книги были закованы в железо, как рабы на галерах, но замков на цепях не было.

«Вот, значит, она какая, — думала я про себя, — знаменитая *Энциклопедия мертвых*! » А мне-то представлялось, будто это древняя, ветхозаветная книга, нечто вроде *Тибетской книги мертвых*, или *Каббалы*, или *Житий Святых* — словом, одно из тех сокровенных творений человеческого духа, которые доступны лишь отшельникам, раввинам и монахам. В какой-то момент, сообразив, что чтение может затянуться до утра, но потом от него не останется никакого материального следа, который можно было бы сохранить для себя и для матери, я решила переписать кое-какие важнейшие факты, сделать своеобразное резюме отцовской биографии.

То, что записано здесь, в этой тетрадке, — это обычные фактографические данные, не имеющие значения ни для кого, кроме меня и мамы; имена, названия мест, даты. И это единственное, что я успела наскоро переписать уже где-то на рассвете. Саму же *Энциклопедию* совершенно уникальной и неповторимой делает то, как в ней описываются человеческие взаимоотношения, встречи, пейзажи; то невероятное обилие деталей и подробностей, из которых состоит человеческая жизнь. Сведения (к примеру) о месте его рождения — точные и исчерпывающие (Кралевчани, община Глина, Сисакский уезд, район Бания) — дополняются географическими и историческими деталями, потому что *там* все записано. Все. Описание его родных мест дано так живо, что я, читая, вернее, пробегая глазами строки и целые абзацы, словно бы перенеслась туда, в самое сердце того далекого края: снежные шапки на вершинах дальних гор, голые деревья, замерзшая река, по которой, как на

пейзажах Брейгеля, гоняют на самодельных коньках ребятишки, среди которых я ясно видела и его, моего отца, хотя тут он еще не мой отец, а лишь тот, кто станет моим отцом, кто *был* моим отцом. Потом вдруг все вокруг покрывается зеленью, розовато-белые цветы распускаются на яблонях, на моих глазах зацветают кусты боярышника, стремительно катится солнце над селом Кралевчани, звонят колокола сельской церкви, мычат коровы в хлевах, а в окнах домов отражаются яркие лучи утреннего солнца, под которым тают сосульки на водосточной трубе.

Потом я увидела так, будто все происходит на моих глазах, как к сельскому кладбищу движется похоронная процессия. Четверо мужчин с непокрытыми головами несут на плечах сосновый гроб, а во главе процессии со шляпой в руке бредет — я знаю это и сама, и так написано в *Книге* — мой дед со стороны отца Марко, муж покойницы, которую провожают в последний путь. Здесь же приводится все, что связано с ней: причина болезни и смерти, год рождения, течение болезни. Рассказывается, в чем она похоронена, кто ее обмыл, кто положил монетки на закрывшиеся глаза, кто подвязал подбородок, кто тесал гроб, где срублено дерево, из которого он сделан. Думаю, уже на основе этого Вы можете представить, хотя бы приблизительно, какое количество сведений заносят в *Энциклопедию мертвых* те, кто взял на себя труднейшую и всяческой похвалы достойную задачу запечатлеть на бумаге — без сомнения, объективно и беспристрастно — максимум того, что имеет какое-либо касательство к людям, которые завершили свой жизненный путь и перенеслись в вечность. (Они, несомненно, верят в чудо библейского воскресения и с помощью этого великого жизнеописания лишь подготавливают наступление его часа, чтобы потом каждый мог отыскать не только своих близких, но и прежде всего свое собственное забытое прошлое. Тогда эта энциклопедия станет огромной сокровищницей воспоминаний и величайшим доказательством воскресения.) Очевидно, что, когда речь идет о жизнеописании, для них не существует разницы между торговцем из Бании и его женой, между сельским попом (каковым был мой прадед) и звонарем деревенской церкви, неким Чуком, чье имя также занесено в книгу, о которой я рассказываю. Единственное условие — это я поняла сразу, укрепившись в своем выводе прежде, чем успела его проверить, — единственное условие для того, чтобы попасть в *Энциклопедию мертвых*, заключается в том, что имя возможного кандидата не должно упоминаться ни в одной другой энциклопедии. То, что мне бросилось в глаза с самого начала, когда я листала том на «М» — один из тысячи томов на эту букву, — было полное отсутствие сколько-нибудь известных людей. (Я убедилась в этом, переворачивая закоченевшими от холода пальцами страницы в поисках имени моего отца.) В *Энциклопедии* не было отдельных статей ни о Мажураниче[1], ни о Мейерхольде, ни о Мальмберге[2], ни о Маретиче[3], по чьей грамматике мой отец учился, ни о Мештровиче[4], которого однажды видел на улице, ни о Тасе Милоевиче, переводчике Каутского, с которым мой отец однажды беседовал в трактире «Русский царь». *Энциклопедия мертвых* является плодом трудов какой-то секты или религиозной организации, которая основывает свою демократическую программу на эгалитарном видении мира мертвых, вдохновленном библейскими постулатами, и ставит своей целью исправить человеческую несправедливость и обеспечить всем тварям Божьим равное место в вечности. Вскоре я также поняла, что *Энциклопедия* не освещает темной глубины веков, и самые ранние сведения, приводимые в ней, датируются примерно 1789 годом. Эта удивительная высокоэрудированная каста, должно быть, по всему миру имеет своих приверженцев, которые неутомимо и незаметно перелопачивают ворохи самых разных биографий и извещений о смерти, обрабатывают собранные данные и передают в центр, находящийся в Стокгольме. (Может быть, подумалось мне вдруг, и госпожа Йохансон является их адептом? Может быть, она привела меня в эту Библиотеку — после того как я поведала ей о своем горе — именно затем, чтобы я обнаружила здесь *Энциклопедию мертвых* и нашла в ней хоть какое-то утешение?) Вот и все, что я могу предположить. Причины же, побудившие их трудиться втайне, думаю, следует искать в давней традиции гонений со стороны церкви; кроме того, работа над энциклопедией подобного рода по понятным причинам должна быть негласной, чтобы исключить всякое воздействие человеческого тщеславия и возможные попытки подкупа.

Не менее удивительным, чем тайна, которой они себя окружают, является их стиль, это поразительное сочетание энциклопедической лапидарности и библейского красноречия. Вот эти сухие сведения, которые остались у меня в тетради в том виде, в каком я их записала, там даны в нескольких абзацах настолько сжато, что перед внутренним взором читающего как по волшебству возникают озаренный солнцем ландшафт, стремительная череда картин. Вот в жаркий солнечный день по горным тропам несут трехлетнего мальчика, несут к его деду по матери, а дальше, где-то на втором или третьем плане, уж не знаю,

[1] И.Мажуранич — хорватский поэт.
[2] В.К.Мальмберг — русский историк искусства и археолог.
[3] Т.Маретич — хорватский лингвист и славист.
[4] И.Мештрович — известный хорватский скульптор.

как это назвать, можно различить солдат, сборщиков налогов, жандармов, слышится далекая канонада и хриплый собачий лай. Это сжатая хронология первой мировой войны: грохочут эшелоны мимо какого-то городка, играет духовой оркестр, булькает вода в солдатской фляжке, со звоном разлетаются стекла, машут платками женщины...Все это — отдельные параграфы; каждый период представлен своеобразной поэтической квинтэссенцией и метафорой, не всегда в хронологической последовательности, но в каком-то странном симбиозе времен: прошлого, настоящего и будущего. Как иначе объяснить в этом тексте среди ярких картин первых пяти розовых лет, проведенных у деда в Комоговине, грустный комментарий, гласящий, если я не ошибаюсь: «Это *были* лучшие годы в его жизни»? Затем следуют картины детства, ужатые, так сказать, до идеографических знаков: имена учителей, товарищей, смена времен года; радостное мальчишеское лицо в каплях весеннего дождя, купание в реке, катание на санках по заснеженным склонам, ловля форели и сразу затем — или одновременно, если такое возможно, — возвращение солдат с европейских фронтов, фляга в руке мальчика, противогаз с разбитым стеклом, валяющийся у откоса. И имена, биографии. Встреча вдовца Марко с его будущей женой Софией Ребрачей родом из Комоговины; свадебное торжество, застолье, несущиеся во весь опор лошади, развевающиеся ленты и знамена, церемония обмена кольцами, коло[1] и пение перед церковью; мальчик в праздничном костюме, белой рубашке, с веточкой розмарина в петлице.

Здесь, в моей тетради, записано лишь: «Кралевчани», в *Энциклопедии* же этот период дан в нескольких сжатых параграфах с именами и датами, описан процесс утреннего вставания, ходики с кукушкой, которая то и дело прерывает беспокойный сон мальчика. Тут же имена извозчиков, помогавших с переездом на новое место, имена провожавших семью соседей, портрет господина учителя и его слова, обращенные к новой матери мальчика; напутствие священника, слова прощания тех, кто вышел за околицу села в последний раз помахать им вслед.

Ничто здесь, повторяю, не забыто, ничто не пропущено: ни описание дороги, ни цвет неба, а весь скарб Марко перечислен до последней ложки. Не обойдены вниманием и имена авторов старых учебников и хрестоматий, полных полезных советов, поучительных историй и библейских притч. Каждый период жизни, каждое событие зафиксированы, каждая рыбка поймана на крючок, упомянуты каждая прочитанная страница, название каждого растения, сорванного мальчиком.

А вот мой отец в юношеские годы, вот первая шляпа, первая поездка в пролетке ранним утром, на заре. Вот и имена девушек, вот слова песен, которые пели в то время, вот текст любовного послания, вот газеты, которые он читал, — в одном абзаце весь период юношества.

Затем мы оказываемся в Руме, где мой отец учится в гимназии. Пусть Вам этот пример покажет, насколько всеохватна *Энциклопедия мертвых*. Принцип уже ясен, но дух захватывает от этой эрудиции, от этого благородного стремления зафиксировать все, что составляет жизнь человеческую. Итак, мы находим здесь краткую историю Румы, климатическую карту города, описание железнодорожного узла; название типографии и перечисление всего, что печатается в ней в то время, всех газет и книг, спектакли гастролирующих театров и представления цирка шапито; кирпичный завод... и парк, где некий юноша, прислонившись плечом к стволу акации, шепчет на ухо девушке нежные, хотя не вполне приличные слова (текст приводится полностью). И все это — железная дорога, типография, «Ворона в павлиньих перьях»[2], слон из цирка, железнодорожная ветка в сторону Шабаца — упоминается с одной-единственной целью: рассказать все о конкретном человеке. Тут же приводятся выписки из школьного журнала, оценки, рисунки, имена друзей вплоть до седьмого класса гимназии (седьмой «Б»), когда молоденький гимназист вступил в конфликт с Л.Д., преподавателем истории и географии.

Потом мы переносимся в самое сердце другого города. Двадцать восьмой год, у молодого человека на гимназической фуражке значок с цифрой VIII, он отпустил усики. (Эти усики он будет носить всю жизнь. Однажды, не так давно, подрезая их, он нечаянно отхватил слишком много, после чего усы пришлось сбрить совсем. Увидев его безусым, я заплакала: это был какой-то другой человек. В эту минуту я вдруг, еще не вполне осознавая, почувствовала, как будет мне его не хватать, когда он уйдет из жизни.) А сейчас мы видим его перед Центральной городской кафаной, затем — в кинематографе, где звучит пианино, а на экране мелькают кадры «Путешествия на Луну». Потом мы застаем его перед афишной тумбой на площади бана Елачича, где он изучает только что наклеенные афиши и среди прочего — эту деталь упоминаю лишь для полноты картины — объявление о лекции Крлежи[3]. Имя Анны Эремии, его тетки по матери, у которой он будет жить в Загребе, на улице Юришича, приводится здесь наряду с именем оперного певца Крижая, которого он как-то

[1] Сербский народный танец.
[2] Комедия известного сербского сатирика Й.С. Поповича.
[3] Мирослав Крлежа — крупнейший хорватский писатель.

встретил в Верхнем городе; Ивана Лабуса, сапожника, которому отдавал в починку ботинки, и некоего Анте Дутины, в чьей кондитерской покупал сладкие булочки...

В Белград в том далеком 1929 году въезжают по мосту через Саву, вероятно, так же, как и сегодня, с радостным предчувствием встречи. Громыхают колеса поезда над стальными фермами моста, внизу течет мутно-зеленая Сава; паровоз свистит и замедляет ход, а в окне вагона второго класса появляется мой отец, вглядывающийся в панораму незнакомого города. Свежее утро, над горизонтом поднимается легкий туман, а из трубы парохода «Смедерево» валит черный дым; раздается протяжный гудок, пароход вот-вот отчалит, направляясь в Нови-Сад.

Мой отец прожил в Белграде с небольшими перерывами около пятидесяти лет, и этот огромный отрезок жизни, эта сумма из восемнадцати тысяч дней и ночей (четыреста тридцать восемь тысяч часов) дана здесь, в *Книге мертвых*, на каких-нибудь пяти-шести страницах! При этом соблюдена и хронология, по крайней мере в основных чертах, ведь дни текут, как река времени, к своему устью — к смерти.

В сентябре того же двадцать девятого года мой отец поступает в геодезическое училище, и в *Книге* приводится история возникновения в Белграде этого учебного заведения, а также приветственная речь директора Стойковича (который выразит надежду, что будущие геодезисты будут честно служить королю и отечеству, так как на них возложена трудная задача — нанести на карты новые границы нашей родины). Далее вперемешку следуют названия славных битв первой мировой войны — сражения на Каймакчалане, Мойковаце, Цере, Колумбаре, Дрине, — имена погибших преподавателей и воспитанников училища, оценки по начертательной геометрии, черчению, истории, богословию, чистописанию. Тут же появляется имя некой Росы, Роксаны, цветочницы, с которой Дж.М., как тогда говорили, флиртовал, а также имена Боривоя-Боры Илича — трактирщика, Миленко Азани — портного, Косты Ставроского, у которого отец каждое утро покупал горячий бурек[1], какого-то Кртинича, который обчистил его в карты. Затем следует список фильмов и спортивных матчей, которые он смотрел; даты загородных прогулок на Авалу и Космай[2]; свадьбы и похороны, на которых присутствовал; названия улиц, где он жил: Цетиньска, Царицы Милицы, Гаврило Принципа, Короля Петра Первого[3], Князя Милоша, Пожешка Каменичка Космайска, Бранкова; имена авторов учебников географии, геометрии и планиметрии; названия его любимых книг: «Лесной царь», «Гайдук Станко», «Крестьянское восстание»[4]; богослужения, цирковые представления; парад спортивного общества «Сокол»; всевозможные вечера в училище; выставки рисунков (где одна из акварелей моего отца была отмечена премией жюри). Здесь же зафиксирован день, когда он выкурит первую сигарету в туалете училища, на что его подбил некий Иван Герасимов, сын русского эмигранта, который спустя неделю поведет его в одну известную в то время белградскую кафану, где играет цыганский оркестр, а русские графья и бывшие белогвардейские офицеры плачут под звуки балалайки и гитары... И тут ничто не забыто: ни торжественное открытие памятника на Калемегдане, ни отравление мороженым, купленным на углу Македонской улицы, ни туфли «шимми», деньги на которые он получил от отца в качестве награды за успешную сдачу выпускных экзаменов.

Следующий параграф повествует уже о его отъезде в Ужичку Пожегу, год 1933-й, май. Вместе с ним в вагоне второго класса едет и горемычный Герасимов, сын эмигранта. Для обоих это первое место службы: мерят они землю сербскую, составляют кадастровые и картографические планы, по очереди носят длинную линейку и теодолит; на головах у них соломенные шляпы, уже лето, солнце припекает; они карабкаются на холмы, перекликаются, аукаются; начинаются осенние дожди; роют землю свиньи; вся домашняя живность забеспокоилась, надо убрать от греха подальше теодолит, который притягивает молнию. А вечером у деревенского учителя Миленковича они пьют сливовицу, на вертеле поджаривается баранина; Герасимов ругается то по-русски, то по-сербски, крепкая ракия ударяет ему в голову. Бедный Герасимов умирает от воспаления легких в ноябре того же года, Дж.М. просиживает ночи напролет у постели умирающего, который мечется в бреду. Он будет стоять и над его могилой, опустив голову, со шляпой в руке, размышляя о бренности человеческой жизни.

Вот что осталось у меня в памяти после чтения *Энциклопедии*, вот что было наскоро переписано в тетрадку закоченевшими пальцами в ту ночь, вернее, в то утро. А ведь это целых два года, два, на первый взгляд, однообразных года, когда Дж.М. с мая по ноябрь таскает штатив и теодолит по горам и равнинам; меняются времена года, реки разливаются

[1] Вид слоеного пирога, национальная еда сербов.
[2] Излюбленные места отдыха белградцев неподалеку от города.
[3] Имеется в виду правитель Черногории П.П. Негош.
[4] Популярные произведения сербских и хорватских писателей-романтиков.

и вновь возвращаются в свои русла; листва зеленеет, а потом начинает желтеть; мой отец то сидит в тени цветущих слив, а то прячется от дождя под каким-то навесом; молнии освещают вечерний пейзаж, удары грома разносятся по котловинам.

Летний день, солнце жарит вовсю, и наши геодезисты (теперь с отцом работает некий Драгович) около полудня стучат в один из домов (улица и номер дома) и просят напиться. Открывшая дверь девушка подает им кувшин ледяной воды — точь-в-точь как в народной песне. Она-то, эта девушка, как вы, думаю, уже догадались, и станет моей матерью.

Не буду вам пересказывать сейчас по памяти, как все это там зафиксировано и описано — день и вся церемония сватовства; свадьба в соответствии со старинными обычаями, где не считаются ни с какими расходами; весь живописный фольклор, который составлял часть той жизни, — так как любой пересказ был бы слишком бледным и фрагментарным в сравнении с *оригиналом*. Однако я никак не могу не упомянуть, что тут был приведен список сватов и приглашенных; имя священника, который совершил обряд венчания; тосты и песни, подарки и дарители, список блюд и напитков. Затем следует — в хронологическом порядке — тот пятимесячный перерыв в работе с ноября по май, когда молодые обустраиваются в Белграде; расположение комнат и мебели; цена кухонной плиты, двухспальной кровати и шкафа, а также все те мелочи, которые в подобных обстоятельствах всегда так схожи и всегда так различны. Ведь — и в этом, думаю, заключается главная идея составителей *Энциклопедии* — никогда ничего не повторяется в истории человеческих существ; все, что на первый взгляд кажется одинаковым, на самом деле всего лишь схоже; каждый человек — звезда в себе, все происходит всегда и никогда; все повторяется до бесконечности, и все неповторимо. (Потому-то составители *Энциклопедии мертвых*, этого великого памятника многообразию, и придают такое значение деталям, что для них каждое человеческое существо — святыня.)

Если бы не эта изначальная мысль составителей о неповторимости каждого человека, об уникальности каждого события, как бы тут оказались имена священника и общинного служащего, зарегистрировавшего брак; описание свадебных нарядов, а также название какого-то села Гледича близ Кралево со всеми подробностями, которые суть связующие звенья между человеком и местом его пребывания? Ведь тут описано и возвращение моего отца к месту службы, его жизнь в деревнях в период с мая по ноябрь, называемый в народе «гайдуцким». Имя Йована Радойковича (в трактире которого геодезисты по вечерам пьют ледяное вино и где им дают в долг) зафиксировано здесь наряду с именем сына некоего Стевана Янича — Светозар, — которому мой отец стал крестным; так же, впрочем, как и имя врача Левстика, словенца, который пропишет ему лекарство от гастрита, или некой Радмилы — Рады Мавревы, которую он повалил в сено в чьем-то сарае.

Что касается службы отца в армии, то в *Книге* обозначены маршруты походов Пятого пехотного полка, размещавшегося в Мариборе; упоминаются имена офицеров и унтер-офицеров, имена однополчан; отмечаются качество пищи в солдатской столовой, травма колена во время ночного марш-броска; наряд вне очереди за потерянную перчатку, название кафаны, где он гулял с приятелями после перевода в Пожаревац.

Во всем этом, на первый взгляд, нет ничего необычного, самая обыкновенная солдатская служба, но вот тот же Пожаревац, вернее семь месяцев, проведенных отцом в тамошней казарме, с точки зрения составителей *Энциклопедии*, совершенно неповторимы; ведь никогда больше, никогда некий Дж.М., геодезист, не будет во второй половине 1935 года греться в пожаревацкой казарме у печки, вспоминая о том, как пару месяцев назад во время одного ночного марша увидел море.

Это море, которое он увидел со склона Велебита двадцать восьмого апреля 1935 года впервые в свои двадцать пять лет, запомнится ему как откровение, как прекрасный сон, и целых сорок лет он будет бережно носить его в себе, словно самую сокровенную тайну, мечту, о которой никому не рассказывают. После стольких лет он уже и сам не был уверен, действительно ли видел тогда морскую гладь или это была лишь призрачная дымка на горизонте, так что единственным морем в его представлении навсегда останутся лишь те аквамариновые пятна на географических картах, где глубокие места обозначаются темным, а мелководье — светло-голубым цветом.

Думаю, что именно по этой причине он многие годы отказывался съездить отдохнуть на море, в то время как его коллеги и друзья ежегодно отправлялись на морские курорты по профсоюзным путевкам. За этим скрывался какой-то затаенный страх, словно он опасался, что непосредственная встреча с морем разрушит в нем ту далекую картину, что открылась ему двадцать восьмого апреля тридцать пятого года, когда он впервые в жизни рано на рассвете увидел в туманной дали голубые волны Адриатики.

И все отговорки, которые он приводил, чтобы отсрочить эту встречу с морем, были как-то не особенно убедительны; то он не хочет ехать, чтобы не чувствовать там себя нищим, поскольку денег и так кот наплакал (что было недалеко от истины); то он не выносит палящего солнца (хотя всю жизнь работал на самом солнцепеке) и вообще просит оставить

его в покое — он прекрасно чувствует себя и в Белграде за спущенными жалюзи. В одной главе *Энциклопедии мертвых* подробно описывается его сложное восприятие моря, начиная с того первого мимолетного видения в тридцать пятом году, до реальной встречи с ним сорок лет спустя.

Эта его первая реальная встреча с морем произошла в тысяча девятьсот семьдесят пятом году, когда он наконец, поддавшись нашим уговорам, согласился поехать в Ровинь вместе с моей матерью и пожить в доме друзей, который в то лето пустовал.

Вернулся он до срока, недовольный климатом, недовольный обслуживанием в ресторане, недовольный телевидением, недовольный множеством людей, грязным морем, медузами в воде, дороговизной и повсеместной «обдираловкой». О самом море, кроме краткого упоминания о грязной воде («настоящее отхожее место») и медузах («как вши — кишат там, где грязь и вонь»), он не обмолвился ни словом. Лишь теперь я понимаю, что это означало: та давняя тайная мечта об Адриатике, то давнее видение было куда более светлым, ярким и впечатляющим, чем эта мутная вода, в которой плескались толстые самодовольные мужчины и намазанные всевозможными маслами и мазями женщины, «черные, как головешки».

Это был первый и последний раз, когда он ездил отдыхать на море. Теперь-то я знаю, что тогда в нем умерла, как некое живое, дорогое существо, старая мечта, прекрасная иллюзия (если то была иллюзия, которую он носил в себе ни много ни мало сорок лет).

Однако я, как видите, забежала аж на сорок лет вперед. Если же вернуться к хронологии, то мы находимся еще в тридцать седьмом году; у Дж.М. уже две дочери (сын родится позднее), зачатые где-то в глухой сербской провинции: в Петроваце на Млаве или Деспотоваце, Степоеваце, Буковаце, Чуприи, Елашице, Матеевице, Чечине, Власине, Княжеваце или Подвисе. Нарисуйте у себя в голове карту этого края, увеличьте каждую из этих точек на ней (1:50 000) до реальных размеров; обозначьте улицы и дома, в которых он жил; войдите затем во двор, в дом; пометьте расположение комнат; составьте список мебели и фруктовых деревьев в саду; да не забудьте упомянуть названия всех цветов, которые растут на клумбе за домом и заголовки статей в газетах, которые он читает: о пакте Молотова — Риббентропа, о бегстве королевского правительства, о ценах на масло и уголь, о подвигах воздушного аса Алексича... Да-да, именно так ведется работа над *Энциклопедией*...

Ведь всякое событие, как я уже сказала, связано с его личной судьбой; и бомбежки Белграда, и продвижение немецких войск на Восток, и их отступление даны через его видение, в увязке с течением его жизни. Где-то тут упоминается дом на Палмотичевой улице и все, что относится к нему и его жильцам, так как в подвале этого дома отец вместе с нами пережидал бомбежки; описан также и дом в Степоеваце (имя владельца, расположение комнат и т.д.), куда отец отвез нас, когда началась война; приведены цены на хлеб, масло, битую птицу, ракию. В *Книге мертвых* вы найдете и его разговор с начальником полиции в Княжеваце, акт об увольнении со службы в тысяча девятьсот сорок втором; увидите, если будете внимательно читать, как вскоре после этого он собирает листья в ботаническом саду и на Палмотичевой, как высушивает их и наклеивает в гербарий своей дочери, выписывая каллиграфическим почерком: «Одуванчик» (Taraxacum officinale) или «Липа» (Tilia), как раньше писал на картах: «Адриатическое море» или «Власина».

От этой полноводной реки отцовской биографии, от этого семейного романа ответвляются дополнительные рукава, и вот наряду с описанием его работы на сахарной фабрике в 1943 — 1944 годах в форме своеобразного резюме дана и судьба моей матери, и нас, его детей: целые тома сведений ужаты до нескольких красноречивых абзацев. Так, рано утром вместе с ним поднимается с постели моя мать (она отправляется в какую-то деревню, чтобы обменять старинные стенные часы — часть ее приданого — на курицу или шмат сала) и мы, дети, собирающиеся в школу. Этот утренний ритуал вставания (где-то по соседству слышно радио, звучит мелодия «Лили Марлен») помогает здесь воссоздать уютную семейную атмосферу в доме уволенного со службы геодезиста в годы оккупации. При этом описывается и скудный завтрак: кофе из цикория и сухари; дается обзор «моды» 1943 — 1944 годов, когда носят башмаки с деревянными одметками, наушники для защиты от мороза и пальто, сшитые из солдатских одеял.

То, что мой отец с большим риском приносил нам под пальто патоку с сахарной фабрики Милишича, где работал поденно, имеет для *Энциклопедии мертвых* не меньшее значение, чем диверсия, совершенная в Глазной клинике, тут же по соседству, или подвиг моего дяди Цвеи Каракашевича, родом из Румы, воровавшего для нас продукты из немецкого офицерского клуба на Французской, 7, где он подвизался в качестве «экспедитора». Тот факт, что во время оккупации благодаря этому Цвеи Каракашевичу мы несколько раз лакомились великолепными жирными карпами (которые ночью плавали в нашей большой эмалированной ванне) и запивали их французским шампанским, принесенным из того же офицерского клуба «Три гусара», естественно, не мог ускользнуть от внимания редакторов *Энциклопедии*. Точно так же, в полном соответствии со своей концепцией, согласно которой в человеческой жизни все имеет равное значение и не существует никакой иерархии

событий, они зафиксировали все детские болезни, которыми мы переболели: свинку, ангину, коклюш, чесотку, мучения со вшами во время войны и отцовскую одышку (диагноз, совпадающий с диагнозом доктора Джуровича: эмфизема легких вследствие чрезмерного курения). Но здесь же вы найдете и висевший на доске объявлений у Байлонового рынка список расстрелянных заложников, среди которых были и близкие друзья, и знакомые отца; имена повешенных патриотов, тела которых раскачивались на электрических столбах в самом центре Белграда; слова немецкого офицера, потребовавшего у него аусвайс в привокзальном ресторане в Нише; описание свадьбы у одного из четников во Власотинце, где всю ночь палили из ружей в черное небо...

Уличные бои в Белграде в октябре 1944 года мы видим как бы его глазами: по Палмотичевой проходит батарея горных орудий, на углу у самого тротуара лежит павшая лошадь. Грохот танковых гусениц на короткое время заглушает звуки допроса некоего Франё Германа, фольксдойча, мольбы и причитания которого доносятся сквозь тонкую стену соседнего дома, где офицер ОЗНы[1] от имени народа вершит правосудие. Во внезапной тишине, наступившей после того, как советский танк скрылся за углом, гулко простучала автоматная очередь... И эти выстрелы, и кровавое пятно на стене дома, которое мой отец увидел в окошко уборной, и положение трупа злополучного Германа, напоминающее положение зародыша в материнской утробе, — все это отражено в *Книге мертвых* и сопровождено комментарием неведомого наблюдателя.

История для авторов этой *Книги* есть сумма человеческих судеб, совокупность быстротечных событий и явлений. Потому здесь зафиксированы каждое действие, каждая мысль, каждый вздох, каждый холм, помеченный на земельных картах, каждая горсть земли, брошенная на чью-то могилу, каждый камень, перетащенный при расчистке развалин.

Работа, которую мой отец выполнял после войны в Государственном кадастре, где землю заново перемеряют и заносят в книги, как после всех великих исторических поворотов, описана здесь в полном соответствии с принципами *Энциклопедии*: качество земли в тех или иных районах, административные границы, новые названия немецких сел и новые названия поселков колонистов. Ничто не обойдено вниманием: тут и рыжая глина, в которой вязнут резиновые сапоги, купленные у пьяного солдата; и мучительный понос, вызванный несвежими голубцами, съеденными в грязной забегаловке в Инджии; и интрижка с одной официанточкой в Сомборе; падение с велосипеда и ушиб локтя в окрестностях Чантавира; ночное путешествие в вагоне для скота из Сенты в Суботицу; покупка праздничного гуся на Новый год; попойка с русскими инженерами в Бановичах; гнилой коренной зуб, который ему вырвали прямо в поле, у колодца с журавлем; митинг, где он вымок до нитки; гибель геодезиста Стевана Богданова, который на опушке леса напоролся на противопехотную мину и с которым отец накануне играл в бильярд; новые выступления мастера высшего пилотажа Алексича в небе над Калемегданом; тяжелое отравление ракией в Мракодоле; поездка в переполненном людьми кузове грузовика по пыльной проселочной дороге из Зренянина в Элемир; конфликт с новым начальником, неким Шупутом; покупка тонны угля и томительное ожидание в очереди на дунайской пристани до четырех часов утра на пятнадцатиградусном морозе; покупка стола с мраморной столешницей на барахолке; завтрак, состоящий из «американского» сыра и порошкового молока в рабочей столовой «Босния», болезнь и смерть его отца, посещение кладбища в День поминовения; бурная ссора с некими Петаром Янковичем и Савой Драговичем, защищающими тезис о правильности политики Сталина, их яростный спор, аргументы и контраргументы (где все заканчивается хриплым выкриком отца: «...дак ваш Сталин!»).

Так *Энциклопедия* вводит нас в атмосферу того времени, атмосферу тогдашних политических событий.

Страх, который охватил моего отца, и то глухое молчание, которое я сама хорошо помню, молчание, жуткое и гнетущее, в *Книге* объясняется как своего рода заразная болезнь: однажды отец узнал, что этот самый Петар Янкович, его родственник и коллега, каждый божий день ни свет, ни заря должен был являться в здание УДБы[2] «для беседы» (после доноса вышеупомянутого Драговича) и на работу приходил поздно с почерневшим лицом, распухшим от пощечин и недосыпа; так продолжалось месяцев шесть, пока он не вспомнил имена еще нескольких человек, разделявших его заблуждения в отношении русских и слушавших московское радио.

Я опускаю такие подробности, как ссоры, примирения, поездки на курорт, — всю эту историю нашей семьи в миниатюре. Опускаю и список вещей, купленных отцом для дома, которые в *Энциклопедии* перечислены с дотошностью рачительного хозяина. Упомяну лишь радиоприемник марки «Орион», собрание сочинений Максима Горького, олеандр в большой деревянной кадке и бочку для засолки капусты, потому что они мне кажутся чуть более

[1] Отдел защиты народа — первоначальное название югославской службы безопасности, созданной в годы второй мировой войны.

[2] Управление государственной безопасности (бывший ОЗН).

значительными по сравнению со всеми остальными мелочами, которые Книга тоже приводит, не забывая ни отрез на костюм, который я купила отцу на свою первую получку, ни бутылку коньяка «Мартель», которую он «усидел» за один вечер.

Однако в *Энциклопедии мертвых* перед нами предстает не только мир вещей, она не является ни бухгалтерским гроссбухом, ни инвентарной описью, ни бесконечным рядом имен наподобие Книги Царей или Книги родства, хотя все это здесь тоже есть. В ней говорится и о душевных переживаниях человека, о его восприятии мира и Бога, о его сомнениях в существовании загробного мира, о его нравственных исканиях и дилеммах. Но самое удивительное в ней — это то неповторимое сочетание внешнего и внутреннего, то подчеркнутое внимание к материальным фактам, которые затем увязываются с личностью человека, с тем, что зовется его душой. И если редакторы оставляют без комментария некоторые объективные данности — такие как проведение центрального отопления в 1969 году, облысение, внезапно проявившаяся у моего отца прожорливость или приготовление освежающего напитка из рябины по рецепту «Политики», то его неожиданную страсть к собиранию на старости лет почтовых марок они объясняют попыткой компенсировать вечное домоседство. Для них очевидно, что это разглядывание марок через лупу является лишь одним из проявлений той тайной склонности к фантазированию, что нередко отличает спокойных и уравновешенных людей, которых вроде бы не привлекают ни дальние путешествия, ни сильные ощущения; того самого робкого мещанского романтизма, который определял и отношение отца к морю. (Просто вместо того чтобы ездить по чужедальным краям, он предпочитал путешествовать в мечтах, сидя в уютном кресле, а увлечение его первого внука марками пришлось ему как раз кстати, позволяя не выставлять себя на посмешище перед домашними и перед самим собой.)

Это уже, как видите, та часть его духовного ландшафта, которая располагается совсем близко от устья жизни, где похороны друзей и близких происходят столь часто, что даже человек, гораздо менее моего отца склонный к тихой медитации, становится философом, если, конечно, считать философией размышления о смысле человеческого существования.

Не удовлетворенный своей жизнью, подтачиваемый той старческой меланхолией, которая не лечится ничем: ни любовью и преданностью детей и внуков, ни покоем, ни уютным, налаженным бытом, — он становился брюзгливым и все более падким до выпивки. В подпитии с ним случались внезапные приступы дикой ярости, никак не вязавшиеся с его обликом тихони и мягкой улыбкой. Он честил на чем свет стоит и Бога, и небо, и землю, и русских, и американцев, и немцев, и правительство, и тех, что назначили ему такую мизерную пенсию, как будто он не вкалывал как лошадь всю свою жизнь; больше всех доставалось от него нахальному, вездесущему телевидению, заполнявшему его пустые вечера великой и пьянящей иллюзией жизни.

На другой день, придя в себя, исполненный тихого раскаяния, он выходил на балкон, кормил щегла, разговаривал с ним и пытался подражать его свисту, держа клетку высоко над головой, словно фонарь во мраке бед человеческих. Или же, сбросив наконец свою вечную пижаму, кряхтя облачался в костюм, надевал шляпу и отправлялся на Таковскую на Главпочтамт покупать марки. Вечером, примостившись вместе с внуком на краешке кресла и прихлебывая кофе, он с помощью специального пинцета раскладывал их по альбомам.

Временами на него накатывала и вовсе черная тоска по безвозвратно ушедшей жизни, и тогда он начинал причитать по-стариковски: отчего Господь не сподобил его получить хорошее образование, почему он должен покидать этот мир неучем, ничего в своей жизни не повидавшим — ни морей, ни больших городов, по которым разъезжают богатые и образованные люди. Надо сказать, что его вылазка в Триест закончилась столь же бесславно, как в свое время поездка в Ровинь.

В шестьдесят шесть лет отец впервые собрался за границу. Разумеется, на столь отчаянный шаг он решился лишь после долгих уговоров. Притом, пытаясь отделаться от нас, он приводил доводы, на которые у нас не всегда было что возразить: дескать, умный человек не поедет в страну, языка которой не знает; дескать, контрабандой он заниматься не собирается, а чем запивать макароны кьянти в Триесте, он лучше у себя дома пропустит рюмочку мостарской сливовицы или стакан молодого прокупацкого. Все же мы заставили его получить загранпаспорт.

Вернулся он из этого путешествия мрачный и злой, промокший, поругавшись с моей матерью: ботинки, которые она ему купила, промокали и натирали ноги, а когда они были уже почти дома, их остановила милиция и перевернула все чемоданы.

Надо ли говорить, что эта поездка в Триест и тот проливной дождь, который он, не имея зонта, пережидал под навесом у отеля «Адриатико», как какой-нибудь бездомный пес (пока моя мать на Понте Росса выбирала ему обувь), — что все это занимает в *Книге мертвых* свое надлежащее место? Единственным утешением в этой злополучной поездке в Триест была для него покупка семян цветов, которые он обнаружил на одном уличном лотке.

(К счастью, на пакетиках были изображены сами цветы и указана цена, благодаря чему ему не пришлось объясняться с продавщицей.) Дело в том, что в то время Дж. М., как сказано в *Энциклопедии*, «увлекся декоративным цветоводством». (Следует список цветов в горшках и ящиках на подоконниках и на балконе.)

Примерно в это время он начинает разрисовывать цветами весь дом. Талант живописца проснулся в нем совершенно неожиданно. Недовольный тем (а он всегда был всем недоволен), как один офицер-отставник, переквалифицировавшийся в маляра, оштукатурил нам ванную (напевая непрерывно «Козарчанку», которая, видимо, вдохновляла его на трудовые подвиги), мой отец сам засучил рукава. После того как ему не удалось ликвидировать темные пятна, оставшиеся на оштукатуренных стенах, он решил замаскировать водяные разводы масляной краской. Так в нашей ванной появился первый цветок, огромный, не то колокольчик, не то кувшинка -- не разберешь.

Мы все дружно стали его нахваливать. Даже соседи приходили поглядеть на его художество. А любимый внук был просто в восторге. Так это началось. Затем пришел черед окна в ванной, где он изобразил какие-то маленькие полевые цветочки, голубые, наподобие васильков, клонящихся под ветром. Нарисованные прямо на стекле, они создавали иллюзию цветастой занавески, раскачиваемой сквозняком.

С тех пор он рисовал целыми днями без устали, не выпуская изо рта сигарету. (И в тишине было слышно, как сипят, точно дырявый мех, его легкие.) Он разрисовал какими-то фантастическими цветами старые ободранные сундуки, фарфоровые абажуры, бутылки из-под коньяка, простенькие вазочки, стеклянные банки из-под «Nescafé», деревянные ящики из-под сигар. А на большом сифоне для газированной воды на аквамариновом фоне шрифтом, каким на картах пишут имена островов, вывел названия белградских кафан: «Брионы», «Бока», «Чайка», «Моряк», «Заря», «Сербская кафана», «Видин-капия», «Стамбол-капия», «Скадарлия», «Три шляпы», «Два оленя», «Под липой», «Три грозди», «Шуматовац», «Семь дней», «Марш на Дрину», «Калемегдан», «Коларац», «Родина», «Пахарь», «Обреновац», «Опленац», «Душанов град», «Устье», «Смедерево», «Охотничий рог», «Знак вопроса», «Последний шанс».

От составителей не ускользнуло то странное обстоятельство, что умер он в тот самый день, когда его первому внуку исполнилось двенадцать лет. Не обошли они своим вниманием и тот факт, что моему отцу очень не понравилось предложение назвать его последнего внука именем деда. Мы хотели сделать ему приятное, польстить его самолюбию, однако он на это лишь что-то проворчал, а в глазах его я заметила тень того ужаса, который заполнит их через год, когда станет очевидной неизбежность скорого конца. Эту череду живых и мертвых, этот общечеловеческий миф о смене поколений, это жалкое утешение, придуманное человеком, чтобы легче было примириться с мыслью о смерти, мой отец воспринял в тот момент как оскорбление; словно этим магическим актом выбора имени новорожденному младенцу, будь он хоть сто раз его крови, мы вычеркивали его самого из списков живущих. Впрочем, тогда я еще не знала, что он уже нащупал у себя в паху подозрительную опухоль и догадывался, а может, и знал наверняка, что в его теле распускается страшный ядовитый цветок.

В одной из заключительных глав описывается церемония похорон, имя священника, совершившего отпевание, величина венков, список присутствовавших, количество свечей, поставленных за упокой души умершего, текст траурного объявления в «Политике». Речь, которую произнес над могилой Никола Бешевич, его старый коллега из Государственного кадастра («Товарищ Джуро честно служил родине и до войны, и во время оккупации, и в послевоенные годы восстановления и строительства нового общества...»), приведена целиком, верно, потому, что несмотря на кое-какие преувеличения, общие фразы и риторические красоты, эта речь Бешевича над гробом своего друга и земляка во многом перекликалась с идеями и принципами великой *Энциклопедии мертвых* («Память о нем будет жить вечно в наших сердцах! Да будет земля ему пухом!»).

Здесь можно было бы поставить точку, и здесь кончаются мои записи. Не буду приводить печальный список оставшихся после отца вещей: рубашки, паспорт, другие документы, очки (стекла холодно и тоскливо поблескивали в приоткрытом футляре) — всего того, что передали моей матери в больнице на другой день после его смерти и что, разумеется, подробно перечислено в *Энциклопедии*. Там-то, конечно, не забыт ни носовой платок, ни пачка сигарет «Морова», ни номер иллюстрированной «Политики» с наполовину заполненными его рукой клеточками кроссворда.

Тут же указаны имена врачей, медсестер и тех, кто приходил навещать его в больнице, день и час операции (когда доктор Петрович, едва сделав разрез, тут же его зашил, так как увидел, что операция ничего не даст: саркома уже поразила жизненно важные органы). Я не в силах описать тот взгляд, которым он простился со мной на ступенях больницы за день до операции; в нем были сфокусированы вся жизнь и весь ужас предчувствия смерти. *Все, что живой человек может знать о смерти.*

Так, озябшая и заплаканная, я за несколько часов перелистала все относящиеся к отцу страницы. Я утратила представление о времени и месте. Провела ли я в этой выстуженной Библиотеке один лишь час или на улице уже рассвело? Не знаю. Время словно остановилось. Я спешила переписать как можно больше сведений о своем отце, чтобы в часы тоски и отчаяния иметь доказательство того, что его жизнь была не напрасной, что есть на свете люди, которые уважают и стремятся запечатлеть каждую жизнь, каждое страдание, земной путь каждого человека. (Хоть какое-то да утешение.)

Вдруг, уже где-то на последних страницах, посвященных отцу, я увидела цветок, странный цветок, который в первый момент приняла за простую виньетку или схематическое изображение какого-то растения, оказавшегося в этом мире мертвых как пример исчезнувшего вида флоры. Однако из пояснения я узнала, что именно такие цветы чаще всего встречались в рисунках моего отца. Дрожащей рукой я стала перерисовывать необычный цветок к себе в тетрадку. Больше всего он был похож на большой очищенный и кое-где лопнувший апельсин, испещренный тонкими красными линиями наподобие капилляров. Рассматривая его, я почувствовала легкое разочарование. Я хорошо помнила все цветы, которые отец рисовал на стенах, окнах, бутылках, и ни один из них не походил на этот. Да, подумалось мне, даже *они* могут ошибаться. А потом, перерисовав этот «апельсин», я прочла последний абзац и громко вскрикнула... Проснулась я вся в поту. И сразу же записала все, что запомнила из этого сна. Вот все, что отложилось у меня в памяти... А знаете, что́ было написано в том последнем абзаце? Что Дж.М. начал рисовать, когда у него появились первые симптомы рака. И что развитие «цветочной темы» в его рисунках совпадало с развитием болезни.

Когда я показала этот рисунок доктору Петровичу, он не без удивления подтвердил, что саркома, убившая моего отца, выглядела именно так. И что *эфлорация*[1], без сомнения, продолжалась не один год.

Красные марки с портретом Ленина

Песнь Песней 8,6

Сударь, во время лекции, прочитанной на улице Мишле, Вы задались вопросом «Что произошло с перепиской Менделя Осиповича?» и заявили, что собрание сочинений, которое выпустил в свет Chekhov House[2], следует считать неполным; что, возможно, когда-нибудь будет найдена его корреспонденция, которая, стало быть, не сводится к двадцати известным письмам. Отдав должное трагически ушедшему из жизни Иосифу Безыменскому за его труд («потребовалось тридцать лет напряженных исследований, чтобы напасть на след людей, которые, если еще не переселились в мир иной, то сменили имена, города, государства и континенты»), Вы пришли к выводу, что еще есть надежда найти письма и «восполнить невосполнимое».

Написать Вам меня побудило именно Ваше невероятное, невероятное по своей смелости, убеждение, что бóльшая часть этой корреспонденции сохранилась и находится в собственности лица (цитирую по памяти), «не желающего по причинам сентиментального или какого-то иного характера расставаться с этими драгоценными документами». Мне и в голову не пришло тогда, на лекции, задать Вам вопрос: откуда у Вас вдруг — ведь два года назад у Вас не было такого предположения, и Вы не высказали его в своем предисловии, — откуда у Вас такая уверенность, позволяющая Вам даже утверждать: «По всей видимости, речь идет о лице, которое, если удача нам благоприятствует, могло бы и сегодня здравствовать и проживать где-нибудь в Берлине, Париже или Нью-Йорке!»? Нет никакого сомнения, сударь, что к этому оптимистическому выводу Вы пришли прежде всего благодаря исследованиям покойного Безыменского и его архивам, к которым получили доступ.

Лицо, которое Вы ищете, сударь, лицо, в руках которого, как Вы выразились, «ключи к тайне», сидело на этой лекции в нескольких метрах от Вас. Конечно, Вы его не помните, наверняка не обратили внимания. А если случайно и заметили, то, наверное, подумали, что это одна из тех женщин, которые посещают подобные лекции под предлогом того, что хотят еще чему-то научиться — чтобы перейти в мир иной, до конца исполнив свой земной долг, и чтобы в конце пути не краснеть за то, что прожили свой век во мраке, — на самом же деле приходят лишь для того, чтобы хоть на минуту забыть о своем одиночестве, заполненном мыслями о смерти, или даже просто чтобы увидеть живое человеческое лицо.

---

[1] Цветение (*лат.*).
[2] Чеховский дом (*англ.*).

ном мыслями о смерти, или даже просто чтобы увидеть живое человеческое лицо.

Несмотря на свое одиночество, сударь, я не надоедаю людям своими воспоминаниями, населенными одними лишь мертвецами, как какое-нибудь необъятное кладбище, не хожу на лекции и не пишу писем незнакомым людям, чтобы заполнить свое время ожиданием ответа. Хотя, Бог свидетель, а теперь еще и Вы, написала я их за свою жизнь предостаточно. И почти все были адресованы одному-единственному человеку — Менделю Осиповичу.

Вам, знатоку его творчества (я здесь не стану указывать на кое-какие биографические неточности), не требуются подробные объяснения; Вы легко во всем разберетесь.

В стихотворении с загадочным названием «Стеллярный каннибализм» (т. 1, стр. 42) «встреча двух звезд, двух сущностей» является вовсе не «продуктом тесного взаимодействия досознательного и бессознательного», как утверждает госпожа Нина Рот-Свансон, а поэтическим осмыслением электрического удара, сотрясшего душу Менделя Осиповича в ту минуту, когда наши взгляды встретились тогда в редакции «Российских записок» (куда он зашел «по воле случая, вершащего судьбы»), в Париже, серым ноябрьским днем тысяча девятьсот двадцать второго года. Кроме того, М.О. в своих стихах периода эмиграции вовсе не воспевал свои «комплексы», как утверждает вышеупомянутая дама, наоборот, он всегда был, как сам, может быть не без доли иронии, говорит, «поэтом по случаю жизни».

Мне было двадцать три года... Впрочем, не обо мне речь, тут дело не во мне, вернемся к Менделю Осиповичу. В том же цикле в стихотворении «Откровение» «звезды-людоеды» — это не «подсознательные страхи, связанные с происхождением и изгнанием», и не «транспозиция кошмарного сна», и, уж конечно, не какие-то там «тотемы», но образ, имевший вполне конкретную подоплеку: в тот день Мендель Осипович прочитал в каком-то научно-популярном журнале, что существуют так называемые звезды-каннибалы, звездный, или «стеллярный», каннибализм — астрономическое явление, предполагающее наличие двойных и очень близких звезд (отсюда стих: «Звезды, соприкасающиеся лбами, челюстями»), поглощающие друг друга в далеких туманностях, где-то по ту сторону Млечного Пути. Это было первым толчком, другим явилась наша встреча. Два эти события соединились в одну картину. А поскольку у поэтов есть нечто от пророков, то и стихи о звездах-каннибалах оказались пророческими: наши жизни по-каннибальски слились.

О Менделе Осиповиче я, конечно, знала и до того, как его встретила; все те, кто в то время в России говорили на идише, да и не только они, знали про Менделя Осиповича. О нем ходили сплетни, как и о всякой сильной и незаурядной личности: что он всего лишь вульгаризатор Анского, что у него есть внебрачный ребенок, что он состоит в переписке с одной знаменитой немецкой артисткой, что с восемнадцати лет ходит со вставной челюстью (после того, как ему выбил все зубы один ревнивый муж, известный русский поэт), что свои стихи он пишет сперва на русском, а потом переводит с помощью своего отца, что собирается навсегда перебраться в Палестину и т. д. Однажды в газете я увидела его портрет работы Константина Ротова. Я вырезала его и наклеила в свой дневник, подумав: «Господи, вот как должен выглядеть мужчина моей жизни!» (Патетика нашей молодости.)

И вот теперь — Боже мой! — в редакции «Российских записок» передо мной стоял сам Мендель Осипович и пристально смотрел на меня. Я спрятала руки под стол, чтобы он не заметил, как они дрожат.

На следующий день он повел меня ужинать в один русский ресторан на Монпарнасе. Поскольку ходили слухи, что он, подобно Байрону, с презрением смотрит на женщин, которые едят на людях, я, хоть и была голодна, выпила только горький чай. Потом я, конечно, рассказала ему, к чему привела эта глупая молва. Так появилось то «анатомическое стихотворение», как его называет Безыменский, где «после пиршества плоти, словно вывернутая наизнанку кожаная перчатка, возникает идеализированная квинтэссенция внутренних органов, не только сердце, но и сирень легких, и меандры кишок». Таким образом, это стихотворение любовное *par excellence*[1], а не какие-то там «фантазии на тему материнской матки»!

Одним словом, наша любовь стала «неминуемой и неизбежной»; мы поняли, что, несмотря на все препятствия, должны соединить свои жизни. Нет нужды объяснять Вам, как много препятствий стояло у нас на пути: семьи, кланы, друзья, родственники, литературная организация. И, конечно, та несчастная больная девочка, которую всегда использовали в качестве последнего аргумента.

По его просьбе я вернулась в Россию и устроилась в московскую редакцию журнала «Штерн». Так мы могли видеться каждый день. Я жила вблизи него, чтобы не сказать, в его тени. (Стихотворение «Солнце под розовым абажуром» является лишь иронической репликой Менделя Осиповича по поводу этого моего замечания, а никакой не «метафорой менструальной крови»! О Господи!)

Вам известно, сударь, что М.О. в то время был уже женат и имел дочь (или, как выра-

[1] Преимущественно (*франц.*).

жается госпожа Нина Рот-Свансон, «М.О. свои юношеские фантазии уже воплотил в образе женщины-матери»). Как мне это ни тяжело, я должна вновь напомнить Вам о судьбе этого несчастного ребенка, о котором госпожа Нина Рот-Свансон умалчивает, как будто тот факт, что девочка была больна от рождения, мог бросить тень на жизнь Менделя Осиповича.

Я не собираюсь, сударь, оспаривать произвольные оценки критиков, а тем более рассуждения уже упоминавшейся Нины Рот-Свансон — я *в наименьшей и в наибольшей* степени обладаю таким правом, — однако же должна сделать здесь одно замечание: поскольку госпожа Н. Р.-С. отлично знает о существовании этой больной девочки, она с женским соучастием и, несомненно, под влиянием материнского инстинкта (не всегда уместного в критической статье) все стихи, в которых находит слово «kind», объясняет «как проявления страха перед гнетом Сверх-Я и свидетельство неизбывного чувства вины»! Бедный Мендель Осипович в гробу бы перевернулся, прочти он это. Не только из-за ужасающей банальности, хотя в первую очередь, конечно, из-за нее. Никогда, сударь, М.О. не делал ни малейшего намека на этого ребенка в своих произведениях: для него это было бы равносильно богохульству. Это я, сударь, тот «грешный партеногенез», я *majn kind* в его стихах, хотя он и был старше меня всего на семь лет. Итак, думаю, что уже все ясно с «глубинным анализом» госпожи Нины Рот-Свансон, которая на основании романов «Охотничьи собаки» и «Соляной столб», а также сборника «Падучая звезда» пытается выдвигать бессмысленный тезис о любви как инцесте, как «попытке нарушить табу и испытать, словно во сне, катарсис»! Простите, но по-моему, со стороны госпожи Нины Рот-Свансон было бы умнее избавить Менделя Осиповича от ее «тотемов и табу».

Надо ли Вам говорить, что М.О. не раз пытался разорвать путы, удерживающие его, как «двойная якорная цепь». Однако его несчастная дочь благодаря своей интуиции, какой обладают лишь дети и юродивые, едва он ступал на порог, угадывала решение М.О. произнести наконец судьбоносные слова, которые он повторял про себя как заклинание, точно школьник, идущий на экзамен. Сидя в кровати, обложенная подушками, она обращала к нему свой затуманенный взгляд и пыталась что-то сказать, но из горла ее вырывалось лишь жуткое животное мычание. Тут М.О., мучаясь раскаянием, садился подле нее, брал ее руку в свои ладони и вместо заготовленной речи опускал голову на колени своей законной супруге. «Этого ребенка Бог мне послал вместе с моим талантом, чтобы я не слишком возгордился», — твердил он прерывающимся голосом.

Побежденный, он искал прибежища в литературе — «Земле Обетованной». (Только вспомнить, с каким непониманием, с каким предательством ему пришлось столкнуться из-за этого стихотворения!) Тогда он принимал решение расстаться со мной. Как тот больной ребенок или юродивый, я угадывала его намерение по звуку звонка, по скрипу дверных петель. «Не надо никому причинять боль, — говорил он. — Я не имею права на любовь». Так мы по многу раз расставались «навсегда», разрывая нашу связь, как рвут шелковую нить, «и жемчужины катятся по желтым выскобленным доскам» (в моей московской квартире на последнем этаже дома на улице Мерзлякова), чтобы сразу вслед за этим броситься друг другу в объятия — «неминуемо». (Стихотворение «Чистилище» является отражением этих терзаний.)

В конце концов — я говорю «в конце концов», ибо должны были пройти годы страданий, расставаний, разрывов, — мы поняли, что наши жизни связаны навсегда и что своими слабыми человеческими силами нам не справиться ни с нашей любовью, ни с препятствиями, стоящими на ее пути. «Такая любовь рождается один раз в триста лет, — говорил М.О. — Она плод жизни, и лишь жизнь ей судья. Жизнь и смерть». Вот об этом-то и идет речь в стихотворении «Чистилище», которое, кстати сказать, госпожа Нина Рот-Свансон своим комментарием полностью обессмыслила. («Образ ручья, реки, используемый в поэтической речи, тем более опущенный, *оттесненный* на задний план, уходит корнями в подсознательный механизм сновидений, а во сне, вследствие комплекса ассоциаций, текущая река, пусть даже невидимая, только предполагаемая — «бездна звучащая», — несет в себе и журчание слов, и шум испускаемой мочи». Великий Боже, что это может значить?!)

Итак, сударь, Мендель Осипович не был моим мужем; он был для меня смыслом жизни, а я для него — «исцелением от тоски». (См. стихотворения-близнецы «Блудный сын» и «Гея и Афродита», т. 3, стр. 348 — 350). Это была любовь, которой не нужно «прожорливое счастье смертных», которой не нужны никакие доказательства, она жила сама по себе и сгорала сама собой, но — общим пламенем.

Таким образом прошло «время страстных разрывов», мы стали пленниками, заложниками друг друга; выровнялась температурная кривая нашей «прекрасной болезни». Я утратила всякое «достоинство» — жалкие остатки моего воспитания. Теперь я уже ничего от него не ждала, лишь постоянства — непоколебимого, как скала. Я изучила стенографию; это был метод Герен с кое-какими моими собственными дополнениями, понятными только мне. М.О. в то время уже был писателем на вершине славы, другими словами, его превозно-

сили и ругали, а я — еще красивой молодой женщиной, возбуждавшей зависть к нему у тех, кто был посвящен в нашу тайну. В нем утихли чувство вины, вечные муки совести. В те годы нашей совместной жизни, в то «время жестокости и нежности» М.О. написал свои лучшие произведения. (А что касается его драм с библейскими мотивами, не следует забывать, сударь, что они содержат опасные намеки, наличие которых в то «волчье время» в рукописи, пусть даже хранящейся в твоем собственном столе, означало смертельную опасность. Читая комментарии госпожи Нины Рот-Свансон — простите, но я все время натыкаюсь на нее, как на нелепый шкаф, водруженный посреди комнаты, — и ее толкование образа Моисея, в котором она усматривает «отражение глубоко запрятанной ненависти к отцу-раввину, отцу-тирану», я в изумлении спрашиваю себя, не проспала ли госпожа Нина Рот-Свансон всю свою жизнь, прошедшую в России «под жестоким небом старого доброго Моисея»; другими словами, то время, когда она еще не занималась «глубинным толкованием» поэзии, а была скромным переводчиком и редактором.) Я перепечатала или переписала от руки все произведения Менделя Осиповича, была повивальной бабкой при рождении всех его литературных детищ. (См., например, стихотворение «Она сказала: аминь», т. 2, стр. 94). Я годами жила с уложенным чемоданом, чтобы не тратить время на сборы, когда он позовет с собой в дорогу. Я помню «славные ночи звериной лихорадки» в кишащих клопами провинциальных гостиницах и комнатах, которые мы снимали. Помню — если я имею право помнить — наше волнение, когда мы впервые повесили вперемешку наши вещи в какой-то гостинице в Баку: наша одежда висела в шкафу на плечиках в трогательно-бесстыдной близости. (На этот раз я воздержусь от комментариев к толкованию, которое госпожа Нина Рот-Свансон дает стихотворению «Перемешанные шкуры», — оно не лезет уже ни в какие ворота.)

Вы, несомненно, задаетесь вопросом, сударь, какое все это имеет отношение к творчеству Менделя Осиповича. Да будет Вам известно, сударь, что это я — Полимния из одноименного стихотворения (и его значение становится ясным лишь в контексте нашей жизни). «В каждой моей строке, в каждом моем слове, в каждой точке присутствуешь ты, как пыльца», — говорил М.О. «На всем, что я написал, и даже на всем, что перевел, лежит твоя печать». «Песнь Песней» он переводил в течение 1928 года, то есть в то время, когда между нами уже не происходило этих мучительных разрывов (и бессмысленно утверждение Заниковского, что этот перевод «неадекватен»). Кое-какие отступления объясняются личной теорией Менделя Осиповича, и, стало быть, тут совершенно ни при чем его отец — «уважаемый Иосиф бен Бергельсон», на которого Заниковский сваливает вину; М. О. вносил в эти переводы и кое-какие собственные переживания и чувства. «Иначе разве бы я при всей насущности вопроса заработка переводил с таким удовольствием?» — говорил он мне (Катулла, «Канцоньере» Петрарки, сонеты Шекспира, которые он переводил с помощью покойного Изиркова, следует рассматривать под этим же углом зрения).

Я не стану, сударь, останавливаться на том историческом фоне, том суровом пейзаже, в котором протекала наша жизнь; когда я оглядываюсь назад, то вижу лишь бесконечную череду метелей, дождей, слякоти, «единство нестерпимого мороза». Однако уверяю Вас, сударь, что у Менделя Осиповича было вовсе не такое строгое лицо, какое можно предполагать, читая его аскетическую прозу; его письма ко мне были проникнуты духом барокко, подобно письмам Флобера. Эти письма говорили обо всем том, о чем говорят его произведения, и обо всем том, о чем они не говорят. О радости творчества и о творческих кризисах; о состоянии души; о городах; о геморроях; о пейзажах; о том, почему стоит покончить с собой, и о том, почему стоит жить; о различии между прозой и поэзией. В его письмах перемешивались любовные вздохи, эротические намеки, литературные теории, путевые записки, поэтические фрагменты. А еще я припоминаю описание розы и рассвета; вариации на тему клопов; рассуждения о возможности загробной жизни. Помню описание дерева; сравнение, когда цикады под окном его гостиничного номера в Крыму стрекочут так, словно кто-то заводит ручные часы; помню этимологию одного имени, названия одного города; толкование кошмарного сна. Все остальное, что сохранилось в памяти, это были слова любви: советы, как одеваться в зимние дни, как укладывать волосы; просьбы, «горячие излияния», сцены ревности — безосновательной, разумеется.

Потом я как-то получила письмо; это было в том страшном сорок девятом году. Вам, конечно, не надо рассказывать, что́ тогда произошло; Вам известно, сударь, что в тот год были перебиты все члены организации литераторов, писавших на идиш. То, о чем я говорю, случилось непосредственно перед трагическими событиями. Итак, мне в руки попало одно письмо, предназначавшееся не мне. Было бы чересчур ожидать от меня, чтобы я свое любопытство подчинила требованиям хорошего воспитания и поборола желание прочитать его, тем более что на конверте рукой Менделя Осиповича было написано мое имя. Нет-нет, это не было любовное послание; речь в нем шла о значении и смысле некоторых стихов — советы молодой литераторше, переводившей на русский стихи Менделя Осиповича. Однако во всем этом письме сквозила какая-то двусмысленность, «корибантский вос-

торг»[1], «неисправимая тетеревиная спесь» (как он сам выражался в своих стихах): ведь душа Менделя Осиповича не была для меня тайной. Я уверена, сударь, все еще уверена (если это только не попытка найти утешение и оправдание), что обычное *Liebesbrief*[2] меньше оскорбило бы и меньше потрясло меня; я могла бы простить ему «корибантский восторг»; во имя нашей любви, единственной и неделимой, думаю, я простила бы ему физическую измену — поэтам, как и богам, все простительно. Но тот факт, что он в своем письме говорил с этой молодой особой о своей поэзии, о своей душе, о таинственных источниках своего вдохновения; то, что в несколько двусмысленном контексте — повод к которому давало само стихотворение — делился с ней чем-то, что — как я думала — принадлежит только мне и ему, как *jus primae noctis*[3], это потрясло меня до глубины души, лишило всякого покоя. «Желтые доски» у меня под ногами вдруг провалились, словно пришли в движение тектонические массы, и я стала падать вниз, как в кошмарном сне. Я поняла: чтобы остановить это головокружительное падение, надо что-то предпринять: разбить зеркало, лампу с розовым абажуром — все его подарки, — китайский чайник или драгоценный термометр. Иначе мне придется сделать нечто гораздо более страшное. И тут меня осенило: письма!

Поскольку у него уже несколько раз делали обыск, Мендель Осипович перенес нашу переписку ко мне. «Мне жутко подумать, что *люди без лиц* могли бы сунуть нос в твои письма», — сказал он мне. Я перевязала письма лентой, которую он купил мне в начале нашего знакомства; эта черная бархатная лента упоминается в одном из его стихотворений, а *enjambement*[4] проходит через многие стихи, как полоска материи, вплетенная в волосы, тянется от виска к виску. Я разрезала ленту ножницами, которые оказались у меня в руках, — наверное, я собралась подрезать себе волосы, — и мое падение вниз замедлилось. В ту минуту, когда я порвала первое письмо, мне стало ясно, что возврата больше нет, вопреки пронзившей меня ножом мысли о том, что я пожалею, что уже жалею о содеянном. Наш роман теперь походил на драгоценную книгу, из которой вырваны листы, на те книги, что возвращают в магазин, потому что в них обнаружены дефекты. Ослепленная яростью и раскаянием, я едва различала что-либо, кроме смутных пятен марок, похожих на восковые печати. Вы, знаток творчества Менделя Осиповича, наверняка сейчас подумали, как бы *он* это нарисовал, эту сцену, этот фламандский портрет, этот свет, падающий сквозь занавески на лицо и руки молодой женщины. Не развел ли бы он ради света, ради картины огонь, не раздул ли пламя, не открыл ли дверцу печки? Не разжег ли камин? (Камина у меня не было, а железная печь была погашена, хотя на дворе стоял холодный март.) Не думаю. Ему бы вполне хватило «прозрачного сумрака», чтобы осветить лицо женщины у окна, а красные марки с портретом Ленина оказались бы вполне достаточной деталью, чтобы воспроизвести алое клеймо «царской крови». (Что касается «царской крови», объяснение, которое Вы приводите, совершенно верно.) Да что говорить, уж он-то нашел бы способ передать свет ада!

Он, конечно, уже обнаружил свою роковую ошибку. Увидев меня, он сразу понял, чем я занимаюсь: у ног моих лежала груда бумажных обрывков. Я поднялась с пола и сунула ему его книги. «Дарственные надписи я выдрала», — сказала я. Потом протянула ему конверт с фотографиями. «Те, на которых мы вместе, я уничтожила».

После этого я его видела еще только раз — на митинге, где он читал какое-то воззвание. Это был сломленный человек, предчувствующий скорый конец. Что было потом, Вам известно. Однажды ночью «люди без лиц» увели его и унесли с собой всю его оставшуюся переписку. Вот так собрание сочинений Менделя Осиповича оказалось без последнего, пятого, тома, а вся корреспонденция ограничилась теми двадцатью письмами издателям и друзьям. То, что не удалось уничтожить страшному «мечу революции», уничтожило неистовство любви.

Что было, то было. Прошлое живет в нас, и никуда от него не деться. Поскольку сны суть отражение того, иного мира и доказательство его существования, мы встречаемся в снах; он стоит на коленях у печки и сует в нее влажные поленья или зовет меня хриплым голосом. Тогда я просыпаюсь и зажигаю свет. Раскаяние и боль постепенно уступают место хмурой радости воспоминаний. Наш долгий страстный и страшный роман заполнил мою жизнь, дал ей смысл. Судьба, сударь, была ко мне благосклонна, и мне больше ничего не надо. Меня не будет ни в книгах Менделя Осиповича, ни в его биографиях, ни в примечаниях к тому или иному стихотворению. Я сама, сударь, *творение* Менделя Осиповича, точно так же, как и он — мое творение. Возможен ли удел счастливее?

Впрочем, не думайте, сударь, что я «смирилась с судьбой», что на всем поставила крест. Поскольку никто не знает, где могила Менделя Осиповича, я не помышляю о том, чтобы

---

[1] Корибанты — приверженцы богини Кибелы, прославлявшие ее оглушительной музыкой и воинственными танцами.
[2] Любовное послание (*нем.*).
[3] Право первой ночи (*лат.*).
[4] Перенос фразы в стихотворении с одной строки на другую (*франц.*).

«лечь подле него» (как заявила несчастная Z) . Если уж весьма материалистичный Дидро мог предаваться подобным фантазиям, почему я не могу надеяться вне всякой материальности, что мы встретимся на том свете. И я уповаю на Бога, что не встречу рядом с ним тени другой.

Постскриптум

(от автора)

Все новеллы в этой книге в той или иной мере объединяет одна тема, которую я бы назвал метафизической; начиная с песен о Гильгамеше, вопрос о смерти является одной из постоянных тем литературы. Если бы слово «диван» [1] *не предполагало более радужных красок и светлой атмосферы, то этот сборник мог бы иметь подзаголовок* «Западно-восточный диван» *не без доли иронии и пародии.*

«Симон Чудотворец» — *это вариация на тему одной из гностических легенд.* «Словарь католической теологии», *на который ссылается Жак Лакарьер, определяет* «борборитов» — *слово, которое встречается и в этой новелле, — как гнусных отщепенцев*: «Тертуллиан упрекает их в бесстыдстве и других богохульных преступлениях. Клемент Александрийский говорит, что они «погрязли в козлиной похоти и втоптали свою душу в грязь». Из-за непотребности их нравов слово «грязь» — *борборос* — служит для обозначения этих еретиков... В самом ли деле они валялись в грязи или это лишь метафора?» *Один благожелательно настроенный эрудит обратил мое внимание на схожесть между еретическими рассуждениями Симона, изложенными в новелле, и одним отрывком из Бориса Суварина, относящимся к 1938 году! Вот этот отрывок:* «Сталин и его подданные всегда лгут, каждую минуту, по каждому поводу; и так как всегда лгут, то уже и сами не сознают, что лгут... А когда лжет каждый, то уже никто, произнося очередную ложь, не лжет... Ложь является естественным элементом псевдосоветского общества... Собрания, съезды — театр, мизансцена. Диктатура пролетариата — величайшее надувательство. Спонтанный энтузиазм масс — тщательная режиссура. Правое, левое — ложь. Стаханов — ложь. Стахановское движение — ложь. Радость жизни — жалкий фарс. Новый человек — первобытная горилла. Культура — антикультура. Гениальный вождь — тупой тиран...» *Однако всякое сходство с приведенным текстом чисто случайно.*

Ян Валтен или Валтин в новелле «Посмертные почести»[2] — *реальное лицо. В растрепанной книжке под названием* «Out of the Night» [3] *он приводит этот эпизод, как действительно имевший место, хотя сюжет слишком уж напоминает темы, которые, что называется, носятся в воздухе. Фламандские мотивы в этом рассказе появляются под влиянием атмосферы картин Терборха, Рубенса, Рембрандта и их интерпретаций, а также воспоминаний о поездке в Гамбург в 1972 году. Отвратительные гладиолусы, которые за два-три дня до этого принесла О.В., я рисовал с натуры, как рисуют натюрморты.*

... «Энциклопедия мертвых» *впервые была опубликована в белградском журнале «Книжевност» за май-июнь 1981 года, а год спустя, 12 июля 1982 года, — в «Нью-Йоркере» в переводе Амиела Алкалая. Женщина, которой приснился этот сон и которой посвящена новелла, однажды с изумлением и трепетом узнала, что ее самые сокровенные видения воплощены в жизнь, материализованы в камне. Месяцев через шесть после этого странного сна и вскоре после того, как была напечатана данная новелла, в одном журнале под заголовком «Архивы» появилась следующая заметка:*

«В глубине Скалистых гор, к востоку от столицы штата Юта Солт-Лейк-Сити, находится один из самых удивительных архивов в Соединенных Штатах Америки. К хранилищу, размещенному в нескольких подземных залах, связанных между собой настоящими лабиринтами коридоров, ведут четыре тоннеля, пробитые в толще скал. Доступ к хранящимся здесь сотням тысяч микропленок имеют лишь-хорошо проверенные сотрудники, входы же в архив защищены толстыми стальными дверями, в дополнение к этому принимаются другие многочисленные меры безопасности .

При этом речь не идет о каком-либо государственном или военном архиве, содержа-

---

[1] Название сборника лирических стихотворений в восточных литературах.

[2] Первоначально она называлась "Похороны шлюхи". Редактор одного нашего журнала сообщил мне в письме, датированном 12 марта 1980 года, о том, что "редакция пришла к выводу о необходимости изменить название рассказа, который мог бы быть назван по имени героини "Мариетта" (что, как сказала М., прекрасное имя для шлюхи, но плохое название для рассказа). Таким образом редакция увидела в этой наивной лирической вариации некий политический намек! Редактор "Книжевности" освободил их от мучительных сомнений, напечатав рассказ в своем журнале в номере 7 за 1980 год. Название я изменил сам из сугубо литературных соображений: то, первое, показалось мне слишком уж прямолинейным. (*Прим. автора.*).

[3] "Из глубины ночи" (*англ.*).

щем сверхсекретные сведения. Тут хранятся имена 18 миллиардов людей, живых и мертвых, записанные на 1250 тысячах микропленок, собранных до настоящего времени «Генеалогическим обществом церкви Святых Судного дня». Так официально именуются архивисты-мормоны церкви Солт-Лейк-Сити, основанной сто пятьдесят лет назад неким Джозефом Смитом, последователей которого в Соединенных Штатах Америки насчитывается около трех миллионов и еще миллион в других странах.

Имена, хранящиеся в этом удивительном архиве, собирались по всему миру, переписывались из всевозможных списков и учетных книг, и работа эта продолжается по сей день. Своей конечной целью этот гигантский труд имеет увековечение на микропленках всего человеческого рода — как ныне живущих, так и уже переселившихся в иные миры.

Дело в том, что для мормонов генеалогия является существенным элементом религии. Благодаря этому фантастическому архиву любой мормон может вернуться назад в прошлое, спускаясь по своему генеалогическому древу вниз, и так задним числом произвести крещение своих предков, на которых, увы, не снизошло «божественное откровение».

К этой работе мормоны относятся с величайшей серьезностью. Поиски максимально безопасного и укромного места для размещения архива начались в 1958 году, горные же работы в толще скальных пород были начаты в 1961 году. Микропленки старательно оберегаются от любых внешних воздействий. В подземных залах поддерживается постоянная температура плюс 14 градусов и влажность от 40 до 50 процентов. Воздух, проходящий через вентиляционную систему, тщательно фильтруется, чтобы в хранилища не попало ни одной пылинки.

В шести огромных залах с двойными железобетонными стенами сейчас хранится такое количество данных, которым можно было бы заполнить шесть миллионов томов по три тысячи страниц каждый.

В дальнейшем мормоны планируют строительство новых подземных залов. Каждый месяц со всех концов мира поступает с десяток километров новых микропленок. Помимо них здесь хранятся и десятки тысяч книг, так или иначе касающихся генеалогии, специализированные журналы, исторические сочинения и т.д.».

(«Дуга», 19 — 23 мая 1981 г.)

...Рассказ «Красные марки с портретом Ленина», несмотря на обилие цитат, является вымыслом, хотя... хотя «я так и не понял, к чему придумывать книги или описывать вещи, которые так или иначе не случились в действительности» (Набоков).

Что касается «весьма материалистичного Дидро», речь, конечно, идет о том его письме, которое я обнаружил благодаря госпоже Элизабете де Фонтене:

«Те, кто любили друг друга при жизни и завещали похоронить их друг подле друга, возможно, не столь безумны, как обычно считается. Может быть, прах их перемешивается, сливается, образует одно целое... Кто знает? Возможно, их прах не утратил всякое чувство, всякое воспоминание о своем прежнем естестве; возможно, в нем каким-то образом продолжает тлеть искра тепла и жизни... О, моя София, так у меня остается хоть какая-то надежда на то, что я смогу, коснувшись Вас, почувствовать, что соединюсь с Вами, смешаюсь с Вами, когда нас уже не будет, если существует в нашей природе закон родства и если нам суждено достичь единства сущего; тогда бы я на протяжении веков мог составлять с Вами одно, а молекулы Вашего истлевшего любовника могли бы ожить, проснуться и броситься на поиски Ваших молекул, рассеянных в природе! Оставьте мне эту мечту, она для меня как бальзам, она могла бы подарить мне вечную жизнь в Вас и с Вами...».

■

МИЛОШ ФОРМАН
при участии ЯНА НОВАКА

Круговорот

Воспоминания

Перевод с английского ЕЛЕНЫ БОГАТЫРЕНКО

Пусть решает автор

Окончательный вариант «Рэгтайма» шел без малого три часа, то есть фильм получился очень длинным. Впрочем, мы замахнулись на эпическое повествование, и к тому же я всегда считал, что если фильм захватывает зрителей, то совершенно не имеет значения, насколько он длинный. А если зрители остаются безучастными, то и семидесятиминутная картина покажется им бесконечной.

Я знал, что скажет Дино, еще до того, как показал ему фильм, и Дино не разочаровал меня.

— Очень, очень длинно, — сказал он.

Я изложил ему мою теорию парадокса продолжительности фильма, которую разработал во время монтажа «Гнезда кукушки». Я пытался объяснить, что у каждого фильма есть свой темп, свой ритм повествования и что, если мы будем произвольно укорачивать его, в результате он может показаться еще длиннее, но Дино понемногу начинал беситься и настаивал, чтобы я вырезал здоровый кусок. А я был в постоянном напряжении, я был изнурен и раздражен монтажной тягомотиной.

— Не знаю, Дино, что ты хочешь убрать, — вздохнул я.

— Нужно выкинуть Эмму Голдмен. Всю. Целиком.

История Эммы Голдмен была совершенно самостоятельным сюжетом в фильме, но она имела большое значение для понимания эротической одержимости одного из персонажей, Младшего Брата, влюбленного в Эвелин Несбит, в другом сюжете. Речь шла о двадцатиминутном куске.

Я не хотел ругаться из-за этого с Дино. Должен сказать, что ни один из нас не унизился до размахивания контрактами и угроз передать дело адвокатам. В этом плане Дино, в отличие от Карло Понти, который чуть было не засадил меня в тюрьму в Чехословакии из-за ничего не значившей фразы, едва ли не опечатки, в контракте, был на высоте. Но мне ужасно хотелось сохранить в фильме Эмму Голдмен, и я решил, что сумею перехитрить Дино. Я предложил компромисс:

— А может быть, пусть автор романа посмотрит и решит?

Я был уверен, что Доктороу, мой собрат по искусству, решит в мою пользу. Я думал также, что ему захочется увидеть как можно больше из своего романа на экране. Я был так уверен в успехе моего замысла, что думал, Дино его не примет, но он, обдумав это как следует, к моему удивлению, согласился.

— Хорошо, Дино, что бы ни сказал Доктороу, так мы и сделаем! Это наше окончательное решение, пусть он и определяет, какой длины будет фильм!

Дино согласился, и мы пожали руки.

Доктороу уже видел мой 176-минутный вариант фильма, я вырезал двадцать минут, как просил Дино, и пригласил автора разрешить наш спор. Доктороу приехал в просмотровый зал со своим агентом Сэмом Коуэном, и я сел смотреть с ними фильм. Я чувствовал жгучую боль. Я помнил каждый кадр, каждую склейку, и я видел зияющую дыру в урезанном «Рэгтайме». Без этих двадцати минут мой младенец превратился в колченогого калеку. Это было совершенно очевидно.

Окончание. Начало см. в № 4.

© 1993 by Milos Forman. Used by permission of the author

Фильм закончился, в просмотровой зажегся свет. Доктороу и его агент встали.

— Ну что же, лично я не вижу большой потери, — сказал Доктороу.

Вот так. Убийственный апперкот в солнечное сплетение. По-моему, я не смог произнести ни слова. И ведь это я сам, дурак, предложил пригласить Доктороу быть нашим судьей!

Конечно, я вырезал эти двадцать минут, но это убило во мне всю радость, которую я обычно испытываю, заканчивая работу над фильмом. И по сей день я твердо убежден, что мы совершили ошибку, сократив «Рэгтайм» на двадцать минут без достаточных на то оснований. Сейчас фильм кажется инвалидом, он стал прекрасным примером того самого парадокса, когда более короткий фильм кажется более длинным.

Спустя несколько дней мне в глаза бросилось любопытное сообщение в «Вэрайети». Я прочел, что Сэм Коуэн только что подписал с Дино Де Лаурентисом договор о продаже права на экранизацию нового романа Э.Л.Доктороу «Гагачье озеро».

Может быть, это было просто забавное совпадение.

Питер Шеффер

Еще в 1980 году, когда я готовился к съемке «Рэгтайма», я приехал в Лондон, где должен был посмотреть актеров. У моего агента Робби Ланца были там какие-то дела в то же самое время, и вот однажды вечером он позвонил мне и спросил, не хочу ли я пойти с ним в театр. Я сказал, что пойду с удовольствием, и даже не спросил, на какой спектакль. Робби заехал за мной на машине. По пути в театр я наконец спросил, что мы собираемся смотреть.

— Это новая пьеса Питера Шеффера, — сказал Робби.

— Прекрасно.

— Она называется «Амадей», это про Моцарта и Сальери.

— А, черт! — сказал я. Еще в Чехословакии я видел много спектаклей и фильмов из жизни композиторов. Во времена Жданова и сталинизма эта тема считалась безопасной, потому что классическая музыка слишком абстрактна, чтобы наносить политический ущерб. Я видел фильмы о Мусоргском, Глинке, Сметане. Это все было ужасно скучно, и вот теперь меня везли на пьесу сразу о двух композиторах!

Если бы я мог выскочить из автомобиля, я бы удрал, но было уже слишком поздно, поэтому я приготовился смотреть на человека в напудренном парике, головой уходящего в облака, где всегда жила Музыка в такого рода биографических произведениях.

Когда поднялся занавес, моему изумлению не было предела. В этой пьесе могла идти речь о любых двух людях, связанных общим призванием и разделенных несправедливостью высшего дара. Я смотрел на Сальери, короля посредственности, бившегося в тисках чувств, которые он питал к гению. Трактовка образа Сальери как жертвы зависти и восхищения, благоговения и предательства, предложенная Шеффером, потрясла меня. Дивная музыка Моцарта была просто бесплатным приложением к захватывающей истории. Когда опустился занавес, я уже знал, что хочу снять фильм по этой пьесе.

В тот же вечер Робби познакомил меня с Шеффером, которого я прежде никогда не видел, хотя у нас с ним был один и тот же мудрый агент. Меня распирал энтузиазм, и я сразу же заговорил о нашем возможном сотрудничестве и о переносе пьесы на экран.

Месяц спустя в Нью-Йорке мы с Питером обсудили это подробнее. Я знал о нем только то, что он хороший драматург и что он во мне не нуждается. Я объяснил Питеру, что у кино, по-моему, есть собственные законы и при переносе пьесы на экран ее приходится разбирать по кускам и собирать заново. Готов ли он препарировать таким образом свою пьесу вместе со мной? Чувствует ли он в себе силы, чтобы решиться на такой жест слепой веры? Он использовал много исторических материалов, когда работал над пьесой, но эти материалы стали лишь отправной точкой его повествования. А теперь нам предстояло сделать пьесу отправной точкой нашего сценария.

Питер оказался храбрым человеком. Он сказал, что попробует.

Думаю, что мне повезло, потому что многие из пьес Питера уже были экранизированы и все фильмы по ним его разочаровали. Он даже сам написал сценарий

по пьесе «Эвкус», но результаты его все равно не удовлетворили, так что он был готов, если это необходимо, проявить жестокость по отношению к своему любимому детищу.

Прошло еще полтора года, прежде чем мы сели за сценарий, ведь мне еще надо было снять и закончить «Рэгтайм», и это оказалось нам на руку; несмотря на огромный успех пьесы, когда мой адвокат и друг Брюс Рэймер попытался пристроить ее в Голливуде, ему это не удалось. Против проекта выдвигалось четыре возражения: это был костюмный фильм; это был фильм о классической музыке; в нем шла речь об исторических событиях в отдаленном уголке Европы, до которого никому не было дела; производство обещало стать дорогим. Единственным продюсером, проявившим интерес к сценарию, был Рэй Старк. Но даже он говорил только о съемке спектакля. В конце концов мы с Питером принялись за работу под эгидой независимого продюсера — моего старого знакомого Сола Зэнца.

Питер не дрогнул, когда мы стали раздирать пьесу на куски для сценария. За четыре месяца мы вывернули пьесу наизнанку. Одна из главных задач состояла в том, чтобы найти подходящую форму повествования в фильме. Мы остановились на простом решении — подать его как исповедь Сальери, так, чтобы все драматическое действие фильма оказалось построено на его воспоминаниях. К этой мысли мы пришли с помощью простой логической цепочки: старый композитор совершил попытку самоубийства. В наши дни это стало бы основанием для появления в фильме психиатра, а что случилось бы в восемнадцатом веке? К старику прислали бы священника, и это было прекрасным решением для нашего фильма, потому что слуга Господа вразумляет богохульника Сальери, обвиняющего Создателя в пристрастном распределении таланта.

Как только мы придумали структуру сценария, все встало на свои места: мы сделали священника молодым человеком, говорящим примитивные банальности, ничтожеством, ничего не знающим о музыке; он никогда не слышал о старом композиторе, потому что Сальери стали забывать уже при его жизни (это было еще одной причиной его ярости). В сценариях самое простое решение всегда оказывается самым плодотворным.

Раньше я никогда не работал с таким приемом, как воспоминания, мне никогда не приходило в голову использовать их в фильмах, но в «Амадее» я сразу же решил воспользоваться именно этой формой повествования. Музыка Моцарта помогала нам сделать любой переброс из настоящего в прошлое. А с чисто технической точки зрения такая структура позволяет насытить фильм бóльшим количеством деталей и событий, чем при прямом развитии сюжета.

Меня до глубины души поразила покорность Питера. Он переписывал по многу раз сцены, которые были великолепны для театра, но которые не выдержали бы испытующего взгляда кинематографа. Он добавил несколько потрясающих новых эпизодов, и в результате написал изумительный сценарий.

По местам, где осталось мое сердце

Я хотел снимать «Амадея» в Праге. В решении снимать на родине большой американский фильм после десяти лет, проведенных за границей, разумеется, сыграло роль мое тщеславие, но присутствовал в нем и здравый смысл. Прага всегда обожала Моцарта. В 1791 году на его похороны в Вене собралась лишь горсточка знакомых, а на заупокойной мессе по Моцарту в соборе Св. Микулаша на Мала-Стране было шесть тысяч скорбящих прихожан. Остальные стояли снаружи, под дождем и мокрым снегом, воздавая последние почести гению, чья опера «Дон Жуан» впервые прозвучала в Праге в 1787 году.

Прага была также прекрасным местом для съемок фильма о восемнадцатом веке. Этот старый город «ста башен» — название пришло из тех времен, когда трехзначное число означало немыслимое количество, — стоит на холмах, возвышающихся над излучиной широкой реки. Через реку перекинут Карлов мост, массивное каменное сооружение, построенное в 1357 году и украшенное полными драматизма барочными скульптурами. Мост соединяет пражское Старе-Место — с его старым гетто и знаменитыми часами — и Градчаны с их темно-красными крышами, поднимающимися волнами.

Многие улицы города были проложены и застроены в восемнадцатом веке, они все еще вымощены булыжником. Теперь все меняется, но в начале восьмидесятых годов эти улицы, трогательные в своей бедности, тянулись до самых окраин, не

задетые войной, не испорченные коммерциализацией.

Наш продюсер Сол Зэнц, ловкий и жесткий бизнесмен, искал и другие города, кроме Праги, в которых сохранилась застройка восемнадцатого века. Мы осмотрели Вену — там на старинных улочках было слишком много неона. Кроме того, как только там звучало слово «Голливуд», цена производства удваивалась и утраивалась, и мы поспешили убраться оттуда.

Мы запросили архив Моцарта в Моцартовской библиотеке Моцартеума в Зальцбурге о возможности организации съемок в этом городе. Они захотели увидеть сценарий. Прочтя его, они наотрез отказались разрешить нам съемки и сразу же закрыли доступ к архивным материалам. Мы поехали в Будапешт, но оказалось, что в этом городе в девятнадцатом веке были перестроены целые кварталы. Нам не удалось найти ни одной улицы, которая сохранилась бы в первозданном виде.

Прага оставалась для нас лучшим выбором во всех отношениях. Единственная проблема состояла в том, что чешское правительство отказывало мне в разрешении посетить страну — даже на короткий срок — начиная с 1977 года, когда я принял гражданство США и смог подавать прошение о визе. Я хотел съездить в Часлав и в Прагу, чтобы воскресить в памяти былое, чтобы увидеть, как растут мои сыновья, выпить пива со старыми друзьями и поговорить на том языке, который не требует от меня усилий и на котором я могу точно выразить все свои мысли. Мне снова и снова отказывали без малейших объяснений причин. Жесткое неосталинистское правительство, «нормализовавшее» положение в стране после советского вторжения, только что бросило на четыре с половиной года в тюрьму моего школьного друга Вацлава Гавела; но я понимал, что мне разрешили бы приехать, если бы правительство могло извлечь из этого для себя какую-то пользу. Можно сказать, что съемки «Амадея» в Праге были для меня единственным шансом снова увидеть Чехословакию.

Я позвонил Иржи Пуршу, директору «Чехословакфильма», и сказал ему, что я работаю над дорогостоящим фильмом о Моцарте и что Прага была бы идеальным местом для съемок. Я сказал ему, что, разумеется, для решения такой проблемы нужно много времени, но этот фильм может принести большие деньги, поэтому я хочу приехать в Прагу и обсудить все на месте.

— Подавай на визу, — сказал мне Пурш, — а там посмотрим.

Я получил визу так быстро, что у меня сердце ушло в пятки. За границей я был далек от всякой политики, но в глазах коммунистического правительства я все еще оставался предателем-эмигрантом. Товарищи из госбезопасности были способны на все — им достаточно было подсунуть мне в багаж наркотики, и я никогда не выехал бы обратно из страны. Я решил, что не должен ехать в Чехословакию один.

Я попросил трех близких друзей, Жан-Клода Каррьера, Черил Барнс и Мэри Эллен Марк, поехать со мной. Наша поездка должна была стать паломничеством по самым памятным для меня местам, это было важнее любых дел, которые мне предстояло решать в стране. Я никогда не отважился бы поехать туда без своих друзей. Они были моим щитом; единственным недостатком такой компании было то, что я ни разу не мог остаться наедине со своими чувствами.

Двадцать второго апреля 1979 года наш самолет приземлился в Праге. После столь долгого отсутствия меня поразило, как мало изменился город. Все старые адреса и телефоны были действительны. Все магазины, бары, театры остались на своих местах, в них продавался тот же самый товар. Даже язык не изменился, потому что ему не приходилось искать названия для новых явлений действительности.

Вера и мальчики жили в нашей старой квартире в Дейвице. Вера по-прежнему пела и играла в театре «Семафор» и была счастлива. Официально мы не были разведены, но уже много лет не жили вместе, и теперь ее спутником стал сын Милоша Кратохвила, моего любимого старого профессора в Киношколе. У них был маленький сын, единоутробный брат Матея и Петра, так что и в этом старом мире можно было найти что-то новое.

Я встретился с моей первой женой, Яной, и мы долго сидели за обедом, предаваясь сентиментальным воспоминаниям; я выпил со старыми приятелями. После десяти лет разлуки я замечал разрушительные следы времени на их лицах, в их походке, и по выражению их глаз я видел, что и ко мне оно было таким же безжалостным. Только увидев их, я ощутил, насколько же состарился. Я уехал из страны молодым человеком; я вернулся туда, обремененный большим багажом ожиданий, опыта, приобретений и новых знакомств.

Я навестил старого приятеля, с которым мы вместе делали первые шаги в шоубизнесе. Мы открыли бутылку холодной водки, и мне показалось, что я просто

вернулся из длинного отпуска. Нам нужно было пересказать друг другу целую прожитую жизнь, и мы болтали до рассвета, а потом вдруг он повернулся ко мне:

— Знаешь, мы все смотрели на тебя снизу вверх, когда ты уехал. Ты был чем-то вроде символа того, чего мы могли бы добиться, если бы нам тоже повезло. А теперь своим приездом ты швырнул все наше уважение псу под хвост.

Для него я был американской шишкой — показушником-миллионером, который приехал посмотреть на их нищету, самим мистером Оскаром, наслаждающимся завистью других людей, сукиным сыном, который только о себе и думает. Наутро он расточал мне улыбки. Он проспался и, наверное, забыл о своих словах.

Я усадил Черил, Мэри Эллен и Жан-Клода в машину. Я хотел показать им те места, где я вырос, места, где осталось мое сердце.

Наш дом в Чаславе, старая школа и церковь показались мне ужасно маленькими и бесцветными, и я долго удивлялся этому, пока не понял, что в моей памяти они все еще оставались такими, какими видел их четырех-пятилетний ребенок, которому мир кажется совсем другим, огромным и ярким.

Находу, каким я его помнил, изменился не так сильно, как Часлав, и я приехал туда вовремя, чтобы повидать дядю Болеслава. Он жил в том же самом доме, где я когда-то пытался жульничать, играя с ним в шахматы. Он умер вскоре после моего приезда, и я счастлив, что успел обнять его.

В Подебрадах больные-сердечники все так же пили богатую железом минеральную воду и дремали на послеобеденных концертах. Только река стала уже. Я с легкостью мог перебросить камень через ледяной поток, который некогда пересекал на плавниках любви.

В дорогой мне гостинице «Рут» теперь размещался оздоровительный центр какой-то фабрики, и к старому зданию было много всего пристроено. Я с трудом узнавал местность, но прогулка вокруг озера Махи взволновала меня больше, чем вся остальная поездка по памятным местам. Здесь я, вероятно, был зачат, на этих берегах я потерял собственную девственность, на этой дороге с торчащими корнями сосен меня забрасывали камнями, здесь я проводил лучшие летние каникулы в жизни. Я так хотел хоть ненадолго вернуться в те времена!

Люди, жившие здесь когда-то вместе со мной, переехали в Прагу, или уехали из страны, или умерли, но когда я приехал во Врхлабы, я нашел там почти всех пожарников из моего «Бала пожарных» в той же самой таверне, где мы пили вместе. Они все еще работали на том же заводе и все еще добровольно служили в пожарной команде. Они играли в бильярд на том же столе, только и стол, и сами игроки здорово состарились. Они приветствовали меня как старого друга, которого считали погибшим, и мы снова хорошо выпили. Они сказали мне, что «Бал пожарных» остается самым большим событием в их жизни.

— По крайней мере, благодаря ему мы оставим какой-то след в жизни, — сказали они.

Из Врхлаб мы вернулись в Прагу, и я приготовился возобновить работу. Как только я настроился на переговоры с функционерами «Чехословакфильма», я стал смотреть на город другими глазами, я увидел его более ясно, с большей дистанции, с точки зрения американца, и теперь пражане показались мне грустными, усталыми, измученными бесконечными очередями, постоянными унижениями, полной бесполезностью существования. Только от барочной красоты Праги по-прежнему замирало сердце.

Анатомия соглашения

В те дни когда я работал в «Латерне магике», Иржи Пурш был незначительным клерком в Министерстве культуры. Сейчас этот высокий мужчина с выдающимся носом уже десять лет властвовал над чешским кинематографом.

Пурш стал членом ЦК компартии и собутыльником членов Политбюро и министров. Его сформировали Советы. Он был одним из немногих чехов, которые помогали КГБ подготовить советское вторжение в 1968 году. Вскоре после этого он и был назначен генеральным директором «Чехословакфильма», благодаря чему получал доступ к поездкам за границу, твердой валюте, взяткам и актрисам.

Руки Пурша, возглавлявшего студию «Баррандов», ответственного за производство и прокат всей кинопродукции, не были замараны кровью; он сумел защитить многих деятелей кино от свирепствовавших сталинистов. Но в то же самое время, продолжая выплачивать им зарплату, он полностью задушил все надежды чешской «новой волны». Национальный кинематограф оказался под его руководством в глубоком застое, и даже когда он наконец разрешил таким режиссерам,

как Хитилова и Менцель, снова заниматься своим делом, они так и не обрели ту живительную свободу, которая была у них в 60-х годах.

В 1980 году Пурш пригласил меня в свой царский кабинет, обставленный в народно-демократическом стиле, с большим письменным столом, тяжелыми диванами и креслами, обитыми кожей, с застоявшимся прокуренным воздухом. По сравнению с тем временем, когда он был мелким чиновником в министерстве, он приобрел брюшко и большую уверенность в себе. Мне было интересно, как он отнесется ко мне, но он вел себя как старый приятель. Мне даже показалось, что в «Амадее» он увидел для себя возможность какой-то реабилитации, возмещения того урона, который он нанес чешскому кино. Он быстро расставил все точки над «i». Он сказал, что лично ему хотелось бы, чтобы я снова работал в Праге, но что многие люди возражают против этого.

— Понимаешь, твои старые друзья-режиссеры с «Баррандова» громче всех вопят, что мы не должны пускать эмигранта и предателя обратно в страну, — сказал он. Он говорил о партийной организации киностудии и о режиссерах старой гвардии, таких как Секвенс, Чех и Кахлик. Эти товарищи недолюбливали меня еще со времен «Черного Петра».

— Но тут можно договориться, — продолжал Пурш. — Я полагаю, что в сценарии нет ничего политического, к чему они могли бы придраться, не так ли?

— Слушай, это же про Моцарта...

— Правильно. И насколько я знаю, ты ведь не подписывал никаких воззваний там, за границей?

— Так у меня же сыновья живут здесь!

— Отлично, доллары за твои съемки — это моя козырная карта. Нам действительно нужны деньги. У стариков главный аргумент, что ты хочешь сюда приехать, чтобы подбодрить наших диссидентов вроде твоего старого приятеля Вацлава Гавела. Короче, если ты дашь мне слово, что не будешь здесь искать встреч с диссидентами, тогда я, наверное, протолкну это дело.

Он протянул мне руку.

— Слушай, Иржи, я пожму тебе руку, если и ты мне кое-что пообещаешь, — сказал я. — Если какой-то диссидент сам, по собственному желанию, подойдет ко мне, вы не сделаете ничего плохого ни этому человеку, ни нашему фильму.

— Договорились, — ответил Пурш, но окончательное «добро» с чешской стороны было получено только после того, как наше рукопожатие одобрил Густав Гусак, президент и глава компартии.

Моцарт в Голливуде

Питер Шеффер когда-то сотрудничал с музыкальным издательством «Буси и Хоукс», так что он разбирался в музыке, но сделать сам музыкальное сопровождение для своей пьесы он не мог. На сцене музыка и слово часто мешают друг другу. Причина этого очень проста — оба средства выражения воздействуют на слух зрителей. Однако в кино изображение значит больше, чем слово, и музыка может сочетаться с изображением самым естественным образом, и при этом сила воздействия и музыки, и изображения только увеличивается. В фильме мы могли показать гений Моцарта, оставшийся за рамками пьесы. Мы считали музыку третьим главным персонажем фильма.

Оглядываясь назад, я могу сказать, что это было одним из самых умных наших решений. В монтажной я обнаружил, что музыка Моцарта не только творит чудеса со слушателями, она сама по себе могла рассказывать какие-то эпизоды нашего фильма. Я не такой знаток классической музыки, чтобы выбирать себе помощников, поэтому я обратился к чешскому пианисту-виртуозу Ивану Моравецу с просьбой порекомендовать мне крупнейшего специалиста по музыке восемнадцатого века. Он посоветовал обратиться к сэру Невиллу Мэрринеру или сэру Колину Дэвису.

Невилл Мэрринер оказался другом Питера Шеффера, так что прежде всего Сол Зэнц организовал нам встречу именно с ним. Невилл должен был остановиться в Нью-Йорке на пути в Миннесоту, где он руководил Миннесотским симфоническим оркестром, и вот Сол, Питер и я встретились с ним в конференц-зале аэропорта имени Кеннеди. У дирижера-аристократа был всего час времени между рейсами, и он подозрительно посматривал на нас. Когда мы рассказали о чем идет речь, он отреагировал весьма сдержанно. Наверное, он решил, что Голливуд собирается опошлить его искусство.

— Я сделаю это при одном условии, — сказал он наконец.

— При каком?

— Не менять ни одной ноты Моцарта в этом фильме.

Мы пожали друг другу руки, и в нашем фильме действительно не искажен ни один такт моцартовской музыки.

Затем я пригласил Туайлу Тэрп для постановки танцев в наших оперных фрагментах. Мне и в голову не приходило взять какого-то другого хореографа, и Туайла быстро отправилась искать танцовщиков в Праге. Она собиралась привезти для участия в «Амадее» ядро своей труппы из Нью-Йорка, но этих артистов ей было недостаточно. Кроме того, ей же предстояло найти оперных исполнителей. Им не нужно было петь, потому что Мэрринер собирался заранее сделать в Лондоне запись всей музыки, но я хотел, чтобы в фильме были заняты настоящие оперные певцы.

В большинстве случаев музыкальное сопровождение фильма делается в последнюю очередь, но в «Амадее», где музыка имела такое же значение, как в мюзикле, нужно было записать все заранее. Под эти записи мы собирались работать на площадке и ставить хореографические номера.

Туайла уехала в Прагу, когда я еще занимался подбором актеров в Нью-Йорке. Спустя несколько дней в три часа утра меня разбудил ее телефонный звонок; она была в ярости.

— Милош, я ухожу из фильма! Хватит с меня Праги и всех здешних маэстро! Я уезжаю!

Она хорошо выбрала время для звонка. Я был слишком сонным и растерянным, чтобы накричать на нее, или обидеться, или сделать что-нибудь еще, что я сделал бы, если бы находился в нормальном рабочем состоянии; ей просто повезло, что я еще не пришел в себя. Я лежал в постели с трубкой возле уха, и мной овладевала глубокая тоска.

— Скажи же что-нибудь, Милош, черт возьми! — сказала она.

Я не знал, что ответить. Я чувствовал себя таким раздавленным, что вообще не хотел разговаривать.

— Почему ты молчишь? Алло? Милош? Ты здесь?

— Что ты хочешь услышать, Туайла? Если ты уходишь от нас, то что я могу сделать?

Теперь уже Туайла чуть не плакала; но потом она выговорилась и немного успокоилась.

Вот что случилось. Когда Туайла приехала в Прагу, ее отвезли в Национальный театр посмотреть лучших певцов и танцоров страны. Все они отнеслись к ней с презрением. Они вели себя так, как будто она была им чем-то обязана, они едва снисходили до разговора. Ей в жизни не приходилось видеть такое скопище примадонн. В Чехословакии артист, попавший в Национальный театр, обеспечен синекурой до конца дней. Люди начинают называть его «маэстро», и все, что он делает для простых смертных, становится одолжением с его стороны. Разумеется, этому артисту уже незачем идти на творческий риск.

Туайла приехала в Прагу не за одолжением. Она привыкла к тяжелому труду и жила своей работой. Она не была расположена тешить самолюбие второразрядных артистов, которых она не могла уважать.

Когда она все рассказала мне, я позвонил своему другу в Праге, Яну Шмидту, и попросил его отвести Туайлу в городской театр оперетты, где танцоры еще не отвыкли от упорного труда, а успех еще не вскружил им головы. Нам нужны были не «артисты», а профессионалы. В конце концов Туайла осталась очень довольна чешскими танцорами. И ее работа в фильме была совершенно замечательной.

Конечно, моим оператором снова был Мирек Ондржичек, и именно он предложил найти художника по костюмам в Праге. Он считал, что местный художник будет лучше чувствовать время и место действия и что я должен остановить свой выбор на Доде Пиштеке, одном из лучших художников своего поколения. Я немного знал этого лысого, атлетически сложенного человека, но когда мы встретились за обедом, я открыл в нем искрометный юмор и необычайную восприимчивость. Дода источал нервную энергию, и в нем была немыслимая, почти детская шаловливость, которая была так нужна нам для этого фильма; я пригласил его на работу.

Дода создал костюмы более чем к ста чешским фильмам, но его очень обрадовала возможность опереться в работе на ресурсы американского кинопроизводства. В первый раз за долгую карьеру он мог использовать портных и ткани, которые оказались бы слишком дороги для любого баррандовского бюджета. Конечно, у этого обстоятельства была и обратная сторона — если бы

что-то не получилось, сослаться на какие-то трудности ему бы не удалось. Но Дода воспользовался предоставившейся возможностью, чтобы показать, на что он способен. Он закупил ткани в Лондоне, а костюмы шились в Италии. Они получились просто потрясающими.

В качестве художника для оперных фрагментов я не представлял себе никого, кроме Йозефа Свободы. Мой бывший коллега по «Латерне магике» стал одним из ведущих театральных художников Европы. Он перелетал из одного оперного театра в другой, но умудрился найти для нас время в своем заполненном графике и придумал нам чудесные и остроумные декорации.

Я, как обычно, просмотрел более тысячи актеров, чтобы найти своих исполнителей. «Амадей» пользовался большим успехом в театре, поэтому роли Моцарта и Сальери справедливо считались в Голливуде лакомыми кусочками, и Робби получал множество пожеланий и предложений от агентов знаменитых актеров.

Как-то вечером он позвонил мне из Лос-Анджелеса.

— Милош, произошло нечто совершенно невероятное, — сказал он. Он только что встретился за ленчем с высоким должностным лицом одной крупной голливудской студии. Студия предлагала свою марку, если мы согласимся взять Уолтера Мэттау на роль Моцарта.

— Уолтер помешан на Моцарте. Он знает его музыку до последней ноты, — сказало должностное лицо.

— Да, конечно, — ответил Робби. — Но дело в том, что Моцарт умер тридцати пяти лет от роду.

Последовала короткая пауза.

— Да, я знаю! — быстро сориентировалось должностное лицо. — Но послушайте, Робби! Кто еще в Америке это знает?

Позже я узнал, что Мэттау на самом деле хотел сыграть Сальери, что было вполне естественно; но должностное лицо просто не могло вообразить, чтобы звезда масштабов Мэттау захотела играть какого-то никому не известного типа по имени Сальери в фильме под названием «Амадей».

Однако к тому времени я уже твердо решил, что на выбор актеров не повлияют ни ходатайства влиятельных агентов, ни советы друзей, ни давление со стороны студий. Я буду упрямо руководствоваться только своей интуицией и возьму на главные роли неизвестных актеров.

Далеко не все знают, как выглядел Моцарт, и это было нам на руку. Это обстоятельство позволяло мне заполнить белое пятно в сознании зрителей по своему усмотрению, и у меня была возможность с первого же кадра убедить их, что перед ними тот, кого они пришли увидеть. Если бы я взял на эту роль звезду, такой возможности у меня не стало бы. А если великого Моцарта будет играть неизвестный актер, то, разумеется, никак нельзя брать кинозвезду на роль всеми забытого Сальери, потому что в противном случае внимание будет изначально приковано не к тому персонажу, а тонкая нить, по которой эмоции передаются с экрана зрителям, прервется.

В конце концов я нашел своего Моцарта в Томе Халсе, Сальери — в Ф. Марри Абрахаме, Констанцу, жену Моцарта, — в Мэг Тилли, а императора — в Джеффри Джонсе. И вот зимой 1981 года я прилетел из Нью-Йорка в Прагу, и начался наш подготовительный период.

Для исполнения роли Моцарта Том Халс научился играть на рояле. Раньше он никогда не играл, но теперь он неделями просиживал за инструментом по нескольку часов в день, и, по словам Невилла Мэрринера, в фильме его пальцы ни разу не взяли неправильную ноту. Тому пришлось также придумывать для себя пронзительный смех Моцарта, который Питер ввел в пьесу для большего драматического эффекта, зацепившись за небольшое замечание в письме некой сплетницы-аристократки, в котором она писала о шоке, постигшем ее, когда она услышала грубое кваканье, вылетавшее из уст Моцарта. По ее словам, когда человек, сочинявший такую божественную музыку, смеялся, он был больше похож на животное, чем на человеческое существо. Я видел шесть или семь постановок пьесы, и в каждой из них актер, игравший Моцарта, придумывал свой собственный смех, поэтому я предоставил Халса самому себе. Он перепробовал множество звуков, пока не остановился на диком визгливом хихиканье, которое ему отлично подошло.

Обоим нашим героям предстояло научиться дирижировать оркестрами восемнадцатого века, и это была серьезная проблема, ведь никто не знал, как вели себя дирижеры двести лет назад. Я попросил моего старого друга Зденека Малера,

тонкого знатока музыки, порыться в исторических источниках, и он выяснил, что в восемнадцатом веке никто не пользовался палочкой. В конце концов Мэрринер показал нам всем, как дирижировали в то время. Он продирижировал отрывками произведений, которые должны были исполняться в «Амадее», так, как, по его мнению, это делалось во времена Моцарта, и снял себя на видео. Халс и Абрахам, готовясь к съемке, просматривали эти записи и копировали движения Мэрринера.

В Праге и ее окрестностях мы нашли почти все интерьеры, которые были нам нужны, за исключением покоев нашего императорского дворца. Необходимую мне роскошь можно было найти только в Градчанском замке, но это была резиденция президента, и председатель компартии товарищ Гусак явно не был расположен уступить на время свои апартаменты американской съемочной группе. Я уже начал смиряться с мыслью о съемках в Вене, как вдруг кто-то посоветовал мне посмотреть резиденцию пражского архиепископа, которая по-прежнему принадлежала католической церкви.

В этом великолепно сохранившемся дворце я нашел именно то, что мне было нужно, и наши посредники с «Баррандова» обратились к нынешнему хозяину замка, престарелому кардиналу Франтишеку Томашеку, с вопросом, не согласится ли он пустить нас для работы. Они вернулись с обескураживающим ответом:

— Кардинал считает любой фильм орудием дьявола.

Это высказывание слишком отдавало средневековьем, и я засомневался. Я не жил в Праге десять лет, но у меня все еще оставалось здесь много друзей, и с их помощью мне удалось получить гораздо более спокойное объяснение отказа кардинала: коммунисты тщательно следили за католической церковью, и секретарем кардинала был агент госбезопасности. Именно он и настроил Томашека против нашего фильма. Он сказал старому церковнику, что мы все атеисты, что мы хотим привести во дворец голых баб, насмеяться над ним и осквернить его резиденцию.

Как только я понял, что произошло на самом деле, я стал искать способ выйти напрямую на самого кардинала. Мы вращались в разных кругах, но друг одного друга знал плотника, который как раз в это время что-то чинил в кабинете Томашека и видел его каждый день.

Кардинал пришел в ярость, когда плотник передал ему историю с дьяволом. Он никогда не говорил ничего подобного; он считал, что все это козни наших посредников, которые подошли к передаче его ответа в духе творческого марксизма, и он сразу же пригласил меня к себе.

— Представляете себе, с кем я тут имею дело на протяжении последних тридцати лет! — жаловался он.

Оказалось, что Томашек обожал музыку Моцарта, и ко мне он отнесся по-дружески. Я рассказал ему о нашем будущем фильме, и он тут же разрешил нам использовать для съемок свой дворец.

Мы начали съемки точно по графику, и все шло гладко до тех пор, пока Мэг Тилли не решила принять участие в уличном футбольном матче в Праге и не порвала связки на ноге. К этому времени мы еще не сняли ни одного эпизода с ее участием, и мне пришлось искать новую исполнительницу роли Констанцы уже в разгаре съемок.

Спустя несколько дней после несчастья с Тилли, в пятницу вечером, мы с Солом полетели в Париж, а оттуда на «Конкорде» — в Нью-Йорк. В субботу мы просмотрели пятьдесят актрис, в воскресенье вызвали некоторых из них на повторный просмотр и сократили список претенденток до двух женщин. Выбрать одну из них мы уже не успевали, поэтому я взял их обеих с собой в Прагу для дополнительных кинопроб.

В понедельник я уже был на съемочной площадке, так что мы не потеряли ни одного дня. В тот же вечер мы посмотрели кинопробы, и я принял твердое решение взять на роль Элизабет Берридж. У нее оставалось всего несколько дней между примерками костюмов для подготовки роли, но большего ей и не требовалось. Жена Моцарта была дочерью привратницы, и Элизабет сыграла резкую, земную, великолепную Констанцу. И в довершение всего в Праге она влюбилась в одного парня из чешской технической группы, работавшей с нами, и вышла за него замуж.

Аристократки и сыщики

Когда я снимаю фильм, я стараюсь не слушать сплетни, не вникать в мелодрамы и скандалы, сопровождающие каждую работу. Дело не в том, что мне неинтересно, кто с кем крутит роман, по поводу чего собачатся техники, кто напился до чертиков,

а кто сказал, что я — рабовладелец. Я очень любознателен, и мне хочется быть в курсе всех открытий и новых связей, которыми неизбежно обрастает группа ярких и энергичных людей, оторванных от дома и оказавшихся в экзотических условиях, но я просто не могу позволить себе отвлекаться.

В особенности это относилось к съемкам «Амадея». Эмоциональный фон в Чехословакии был весьма насыщенным, вся обстановка — достаточно напряженной. Мне было труднее сосредоточиться на работе, чем когда-либо раньше.

Отвлечения начались сразу, как только в январе 1982 года мы приехали в холодную и заснеженную Прагу. С помощью моих чешских знакомых мне удалось найти уютную частную комнату как раз возле лестницы Старого замка, ведущей вверх, к Градчанам. В этой части города расположены дворцы, принадлежавшие некогда семьям старой чешской аристократии, но после революции они были национализированы, проданы различным странам и превращены в посольства. Только один из домов, где раньше жила прислуга, был оставлен прежней владелице, даме из старинного дворянского рода, Аннетке Велфликовой.

Аннетка стала моей квартирной хозяйкой. Ей было за восемьдесят, и она жила вместе с золовкой в страшной бедности. Две старые дамы, в жилах которых текла самая голубая кровь страны, получали минимальную государственную пенсию и были вынуждены ходить дома в поношенных халатах и рваных домашних туфлях. Они были рады постояльцу, а я был рад оказаться под их кровом.

Вскоре после того как я поселился у старых дам, я вернулся домой очень поздно. Стоял морозный январский вечер, но снег, покрывший землю, отражал лунный свет, и на улице было не темно. Я привез с собой несколько ящиков спиртного и коробок сигарет, чтобы расплачиваться ими с людьми — так было принято в Праге, — и мой шофер Павел помог мне внести их в дом. Только я открыл калитку, вошел в сад и пошел за главное здание к старому дому для прислуги, как вдруг заметил кого-то, спрятавшегося в кустах. На фоне белой стены дома сквозь голые ветки человека было хорошо видно.

— Это вы, пани Велфликова? — спросил я. Я видел, как накануне вечером старая дама искала в саду кошку, и подумал, не случилось ли что-нибудь с хрупкой старушкой.

— Проходите! Проходите! — приказал мне молодой женской голос.

Я прошел, лег в постель и, укрывшись теплыми простынями, подумал, что, пожалуй, ЦРУ и ФБР далеко до чешской госбезопасности. Я уже знал, что Павел работает на органы. Я понял это с самого начала и совершенно не ожидал подтверждения с его стороны, но он вел себя со мной на удивление открыто.

— Ты, наверное, должен рассказывать им обо всем, что я делаю? — спросил я его, как только мы познакомились поближе. — Можешь не отвечать.

— Милош, подумай сам! Неужели они разрешили бы мне так просто возить тебя?

Время шло, мы стали больше доверять друг другу, и вот однажды я посмотрел в зеркальце заднего обзора и увидел автомобиль, тащившийся за нами.

— Вот эта «шкода», правильно? — спросил я.

— А что ты еще видишь? — спросил он.

Я стал присматриваться к машине, которая следовала за «шкодой» госбезопасности, и увидел, что она тоже не отстает от нас.

— Две машины, Павел? Неужели я настолько важная шишка?

— Такие правила.

— Почему?

— А посмотри, что будет, если я поеду по улице с односторонним движением.

Я увидел, как вторая машина остановилась у начала этой улицы. Спустя минуту она снова появилась в зеркальце.

— Что они делают? — спросил я.

— Предположим, что ты велел мне остановиться на улице с односторонним движением. После этого ты можешь выйти и пойти в противоположную сторону. И представь себе, что наш хвост оказался отрезанным другими машинами. Что тогда? Ты уйдешь! Поэтому нужна вторая машина. Она всегда ждет, чтобы проверить, что ты делаешь на этой улице.

— А откуда они знают, когда и куда ехать?

— Они переговариваются по радио.

Все время в Праге я вел себя так, как будто госбезопасность могла слышать каждое мое слово. Эта предосторожность была необходимой, потому что, когда я впервые пришел в свою комнату, Аннетка приветствовала меня следующей содержательной тирадой:

— Пан Форман, вас все так любят в Праге! У нас телефон был не в порядке два года, и мы никак не могли добиться, чтобы его исправили, но как только стало известно, что вы будете жить у нас, нам сразу же выдали новый аппарат! Посмотрите, какой замечательный!

Так она предупредила меня, что в телефон поставлен «жучок». Я сразу же понял, что прекрасно полажу со старыми дамами.

Обычно я завтракаю очень плотно, поэтому обе дамы вставали каждый день спозаранку и готовили мне цыпленка с паприкой. Они добросовестно записывали все сообщения, поступавшие на мое имя. Если я возвращался раньше десяти часов, Аннетка приносила мне листок бумаги, на котором были аккуратно записаны имена всех звонивших, а если я приходил поздно, я находил этот листок на кухонном столе.

Как-то раз я пришел домой за полночь. Я поискал список, нигде его не увидел и пошел спать. Не успел я лечь, как в дверь постучали.

— Войдите! — сказал я.

Дверь распахнулась, и в комнату вошла Аннетка в чем-то кружевном, пышном и потрясающем. Наверное, это было ее подвенечное платье. Волосы ее были тщательно уложены. Она шла так, как будто была сделана из тонкого фарфора.

— Вам звонили, пан Форман, — сказала она.

— А, хорошо, а кто?

— Князь Шварценберг из Вены.

— А что он сказал?

— Он ничего не передавал.

— Спасибо...

— Спокойной ночи, пан Форман.

Она повернулась и выплыла из комнаты.

Мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать случившееся, а потом я сообразил, что, если бы Чехословакия по-прежнему была королевством, князь Шварценберг был бы главой государства, и Аннетка просто не могла сообщить мне о звонке своего короля в старом, поношенном халате.

Осведомители и овощи

Мне было трудно объяснить американским и английским членам съемочной группы реалии повседневной жизни в Чехословакии. Они либо повсюду видели шпиков, либо не замечали, что за ними следят, а в их номерах установлены микрофоны. Им было не так-то легко понять, что нормальная жизнь должна изо дня в день идти под наблюдением, что от этого нужно просто отключиться и продолжать работать, что к этому можно привыкнуть и что это тоже может наскучить.

Мы привезли с собой только руководителей производственных групп, а в основном с нами работали чехи. Мы понимали, что некоторые из них были осведомителями, хотя главным для них было стучать не на нас, а на баррандовских служащих, сотрудничавших с нами. У меня было много других забот, и я даже не пытался вычислить стукачей, но вдруг наступил момент, когда они выделились из массы людей, за которыми следили. Всех их словно высветило беспощадным лучом прожектора.

Четвертого июля 1983 года, в наш обычный рабочий день, мы снимали большую сцену из «Свадьбы Фигаро» в театре «Ставовске дивадло». Зал был заполнен массовкой в костюмах восемнадцатого века, в оркестровой яме рассаживались музыканты, на сцене толпились певцы и танцоры. На репетиции все прошло гладко, как это всегда было в Праге, потому что наши чехи считали для себя честью работать в американском фильме, и вот я приказал зажечь свечи в тяжелых люстрах. После этого я попросил танцоров и массовку занять свои места.

— Мотор! — крикнул я.

— Есть, — ответил оператор.

— Фонограмма!

Я ждал начала моцартовской арии.

Внезапно старый театр потрясли мощные аккорды национального гимна США, и огромный американский флаг выскользнул из-под потолка и развернулся над оркестровой ямой. Наша истосковавшаяся по дому группа решила устроить сюрприз в День независимости Америки.

На секунду весь театр замер, а потом массовка поняла, в чем дело, и в зале началось ликование. И именно тогда гэбэшники оказались видны как на ладони. Массовка бешено аплодировала, а среди этой восторженной толпы то там, то здесь

стояли люди в одинаковых париках и костюмах, с кислым выражением на лицах. Примерно на десять ликующих чехов приходился один унылый. Овация продолжалась, и смущенные гэбэшники стали нервно переглядываться: что делать? Надо ли вмешиваться? На помощь! В конце концов они так и не сделали ничего, чтобы пресечь эту, на их взгляд, возмутительную политическую провокацию.

Я испытывал к Америке некритическую любовь иммигранта, и этот флаг и проявление энтузиазма глубоко тронули меня. В то же самое время я пришел в ужас при мысли о том, что госбезопасность может помешать съемкам фильма из-за этого инцидента. Мы были для них легкой мишенью. Нам могли вывести из строя генераторы, повредить декорации, с нами могли сделать все что угодно. Но ничего не произошло. Мы сняли флаг и продолжали работу, и чешские товарищи ни разу не напомнили нам об этой «провокации».

С самого начала между нашей производственной группой и руководством «Баррандова» возникли трения. Все началось с того, что мы захотели кормить ленчем всех, занятых на площадке. На Западе это совершенно обычное дело, но в чехословацком государстве рабочих сотрудники студии должны были приносить завтраки с собой из дома.

Вначале «Баррандов» даже отказался выделить нам комнату для еды. Когда мы нашли гримерную, которой никто не пользовался и которая показалась нам подходящей для этой цели, руководство согласилось. Нам разрешили кормить всех иностранцев, но чешским членам группы бесплатный ленч был не положен. «Баррандову» был ни к чему подобный прецедент. Студия не хотела, чтобы ее сотрудники избаловались.

Однако Сол проявил твердость в этом вопросе. Он не собирался позволить баррандовским шишкам разделить нашу группу на тех, кто имел и кто не имел права на ленч, и тем самым разрушить прекрасный моральный климат на съемках. После двух-трех ультиматумов боссы студии со скрежетом зубовным разрешили нам кормить всех работавших над «Амадеем». Со стороны Сола это был правильный шаг. Два раза в неделю нам привозили из ФРГ свежие овощи и фрукты. В стране, где зимой в магазине можно было купить только какие-нибудь сморщенные яблоки и заплесневелые помидоры, запаха мандаринов или хруста ананасов, предназначенных исключительно для американцев, было бы вполне достаточно для объявления забастовки.

Самый драматический инцидент произошел во время съемок в театре имени Тыла, старом историческом здании, где на каждом камне читались следы прожитых лет. Я хотел снять там отрывок из «Дон Жуана», потому что именно в этом театре состоялась премьера оперы, но чехи не соглашались, хотя это был не музей, а работающее учреждение. Я понял их опасения, осмотрев помещения за сценой. Они были в катастрофическом состоянии, все было в пыли и паутине, повсюду валялись старый хлам и куски сгнившего дерева. Мы должны были освещать сцену свечами и факелами в соответствии с исторической правдой, а здание могло вспыхнуть как пороховой склад, и нам пришлось пообещать, что мы наймем столько пожарных, сколько, по мнению руководства, необходимо для обеспечения безопасности театра.

В результате пожарные стояли у нас за декорациями на сцене, прятались в каждой ложе, в каждом проходе. По-моему, всего на площадке было несколько сот пожарных, но нам все-таки почти удалось подпалить исторический памятник.

Это произошло не из-за нашей неосторожности. Во время репетиций мы не хотели зажигать в старинных люстрах и канделябрах тысячи свечей. Требовалось слишком много времени, чтобы потом заменить все свечи, и мы решили зажечь их только тогда, когда будем готовы включить камеру.

Первая репетиция эпизода, в котором Дон Жуан встречается лицом к лицу со статуей Командора, прошла очень хорошо.

Певец, изображавший Дон Жуана, в великолепной шляпе с павлиньими перьями, открывал рот под величественные звуки фонограммы. Он должен был встретить статую, зашататься, опереться на стол, на котором стоял красивый подсвечник, и начать арию.

Я сидел в оркестровой яме возле камеры и смотрел. Мне показалось, что все отлично, и я приказал зажечь свечи.

Дон Жуан увидел статую, зашатался и, чтобы не упасть, ухватился за стол. Он сделал все в точности, как на репетиции, но теперь на столе горели свечи, и длинные перья с его шляпы свешивались прямо над их огнем. Когда павлиньи перья задымились, я похолодел. Прошла секунда, потом еще и еще одна, все было как в дурном сне. Театр был полон пожарных, я ждал, чтобы они что-то сделали. Теперь

по перьям плясали крошечные огоньки, я смотрел на них и ждал, но ничего не происходило. Дон Жуан со страстью изображал пение, не видя, что горит его плюмаж.

Где же эти чертовы пожарные?

Прошла еще целая вечность, прежде чем один из них выглянул из-за декорации. Он был молод и застенчив, и он обратился ко мне со смущенной улыбкой.

— Пан Форман, — сказал он робко, — простите, вы не могли бы остановить камеры? Тут у вас актер горит.

И он быстро спрятался за декорацию, чтобы не испортить кадр.

Я ни разу не сталкивался с таким воздействием магии кино. В двух шагах от пожарного горел человек, стоявший на пороховой бочке, но боец с огнем не осмеливался прервать съемку, потому что были включены камеры.

— Стоп! — завопил я, поняв, что с огнем должен сражаться я сам. — Стоп! Стоп! Стоп!

И тут же толпа возбужденных пожарников выскочила из-за декораций и с воплями набросилась на бедного, ничего не подозревающего Дон Жуана; они сбили элегантную шляпу с его головы и начали яростно топтать ее. Создавалось такое впечатление, как будто на нашей площадке внезапно начали снимать фильм Мела Брукса.

Как и следовало ожидать в социалистической Праге, над нашей работой витал дух Франца Кафки. «Амадей» был большим событием для Чехословакии, это был самый масштабный кинофильм, который когда-либо видела страна. Мы вмешивались в жизнь многих людей в Праге, мы перекрывали улицы, мы притягивали толпы зевак, мы вносили беспорядок в уличное движение. Все в городе знали о наших съемках, но ни в газетах, ни по радио, ни по телевидению о нас или о нашем фильме не говорилось ни слова. У коммунистов было правило — никогда даже не упоминать имен эмигрантов. Я был эмигрантом, поэтому чешские средства массовой информации не замечали нашего присутствия.

Единственной рекламой «Амадея» стала заметка в местной газете маленького городка, где изготовлялись шляпы для нашего фильма. В ней сообщалось, что фабрика, изготовившая исторические головные уборы для фильма «Амадей», перевыполнила план. Редактора газеты уволили за то, что он позволил просочиться в печать таким подрывным сведениям.

Несмотря на постоянный надзор, съемки невидимого, не подлежащего упоминанию фильма в Праге стали для меня волнующим жизненным эпизодом. Люди отводили меня в сторону, чтобы рассказать мне не слишком достоверные истории о Моцарте, передававшиеся из поколения в поколение. И не было дня, чтобы какой-нибудь чех — техник, или участник массовки, или грузчик — не взял меня за руку, когда нас никто не видел, и не сжал ее.

— Спасибо, — говорили они. — Спасибо вам!

Их, да и меня тоже, переполняли родственные чувства. Через меня эти люди общались со всем миром, вызывавшим столько иллюзий, а я считал для себя честью быть их скромным посредником в этом общении.

Погружение в Моцарта

Осенью 1982 года я вернулся на студию «Фэнтэзи рекордс» в Беркли, место, с которым у меня связаны чудесные воспоминания. Я монтировал там «Амадея», и меня не оставляло это странное и знакомое ощущение, когда надеешься на лучшее и готовишься к худшему.

Самое трудное в работе над фильмом — выбрасывать эпизоды, которые хороши со всех точек зрения, кроме одной: они снижают напряжение или нарушают ритм фильма. Когда я монтировал «Амадея», мне пришлось вырезать три эпизода — один маленький и два больших — с участием покойного Кеннета Макмиллана, актера, которого я очень любил. Он сыграл шефа пожарников в «Рэгтайме», а в «Амадее» он играл богатого человека, чья дочь брала уроки игры на фортепиано у нашего безответственного гения. У Кеннета было огромное комедийное дарование, я любил смотреть, как он работает, но когда я увидел черновой вариант фильма, я понял, что именно эти эпизоды тормозят развитие сюжета. Мне было больно расставаться с ними, но пришлось признать, что персонаж Макмиллана не дает ничего нового для драматургии фильма.

Во время монтажа всегда замечаешь вещи, на которые не обращал внимания во время съемки. Я узнал и полюбил Моцарта еще тогда, когда мы с Шеффером писали сценарий. Но каким-то образом до сих пор я недооценивал истинное волшебство его искусства. В монтажной я понял подлинный масштаб Моцарта. Например, в пьесе Шеффера в конце первого акта есть незабываемая сцена: Констанца приходит к Сальери с просьбой о помощи. Вольфганг Амадей совершенно непрактичный человек, и у Моцартов опять нет денег. Может быть, придворный композитор, такой влиятельный человек, будет так добр и закажет что-нибудь Моцарту.

— Он действительно много работает, — говорит Констанца и показывает Сальери толстую пачку сочинений Моцарта, чтобы подтвердить это. Сальери понимает, что она принесла ему оригиналы произведений Моцарта, и ему не терпится взглянуть на рукописи этих извержений творческого вулкана. То, что он видит, буквально убивает его: первые наброски Моцарта выглядят так, как отшлифованные окончательные варианты рукописей других композиторов. Там почти нет исправлений. Даже в листах нотной бумаги отражается мощь моцартовского гения, и осознание этого больно бьет по комплексу неполноценности Сальери. Теперь он отчаянно хочет наставить рога Моцарту, победить его хоть в чем-то, взять над ним верх любым доступным способом.

Перед тем как опускался занавес, Сальери говорил Констанце, что он поможет ее мужу, но только при условии, что она придет повидаться с ним вечером, одна. Было видно, что Констанца в отчаянии готова на все, чтобы спасти семью, и в театре я не мог дождаться начала второго акта. Пойдет ли Констанца к Сальери? Уступит ли она ему? Не приготовила ли она ему какой-то подвох? Сумеет ли она вовремя остановиться?

Занавес поднимается, и Констанца соглашается на условие Сальери. Она идет к нему в комнату, она готова отдаться ему, но Сальери не берет ее. С него довольно и ее унижения, и он ее выгоняет.

Я хотел сохранить сочный драматизм этого эпизода. И Ф. Марри Абрахам, и Элизабет Берридж тонко понимали ситуацию, и они прекрасно сыграли сцену, когда Сальери показывает свою власть над Констанцей. Я смонтировал эпизод, он выглядел прекрасно, но, когда я добавил музыку, я понял, что под ее могучим воздействием смысл эпизода полностью изменился. Когда я смотрел на крупные планы лица Сальери, разглядывающего нотные тетради Моцарта, и слышал при этом звуки четырех или пяти небесных мелодий, записанных в этих самых тетрадях, когда я вслушивался в инструментовку, ощущал все богатство чувств, настроений и воображения, я был так же ошеломлен гением Моцарта, как и Сальери. А как только я ощутил могущество этой музыки, мне уже ничего не было нужно, потому что я понял, что никакая супружеская измена, никакое унижение в глазах света не смогут повредить ее величию. Я бы никогда не поверил, что такое возможно, но музыка внезапно превратила тонкую, полную драматизма сцену в мелкую, банальную и совершенно ненужную.

В окончательном варианте фильма Сальери смотрит на рукописи, слышит соответствующие каденции, и это ошеломляет его. Он уже не думает о соблазнении, о мести, о рогах, об унижении. Он просто получает окончательное подтверждение собственного ничтожества. Он швыряет листы на пол и пробегает по ним, он бежит из этой комнаты, от этой женщины, от музыки, от духа Моцарта. На этом эпизод заканчивается.

Когда стали появляться рецензии на фильм, многие музыкальные критики очень ругали нас за вольное обращение с историческими фактами биографии Моцарта. Я находил их возражения педантичными, а их страсти — раздутыми. Наш фильм никогда не претендовал на то, чтобы быть точным биографическим описанием запутанных взаимоотношений двух людей. Это была фантазия, основанная на реальных событиях, драматическая реконструкция, размышления об упущенных возможностях, историческая шутка.

Кинозрители оценили фильм по-другому. «Амадей» был и остается кассовым фильмом.

Весной 1985 года «Амадей» был выдвинут на одиннадцать «Оскаров», причем Том Халс и Ф. Марри Абрахам оспаривали титул лучшего актера. Фильм получил восемь «Оскаров», но я считаю своей главной наградой зрелище, которое неизменно наблюдаю в конце каждого просмотра «Амадея». Зрители всего мира сидят как приклеенные на своих местах на протяжении шести минут финальных титров, слушая божественную музыку Моцарта.

Демон самоосознания

В истории кинематографа было всего несколько режиссеров, которые могли успешно сниматься в собственных фильмах. Входить в образ и выходить из него, удерживая при этом в руках весь карточный домик постановки, так же трудно, как быть одновременно матерью и повитухой при сложных родах. С этой точки зрения к наивысшим достижениям кинематографистов следует отнести работу Чарли Чаплина и Орсона Уэллса.

В 1956 году, будучи ассистентом Радока в «Дедушке-автомобиле», я набирал массовку и исполнителей самых незначительных ролей. Одной из таких ролей была роль летчика, который должен был пройтись по аэропорту «Рузине» в Праге и при этом хорошо выглядеть в своей форме. Я взял на эту роль молодого актера, который подходил по всем статьям. Ему не нужно было произносить ни единого слова, ему даже не нужен был сценарий, так что я посчитал свою работу выполненной.

Однако этот парень, видимо, не проснулся вовремя, не пришел к назначенному времени, а потом стало ясно, что он вообще не придет. Позже я узнал, что накануне он напился и проспал свою кинокарьеру.

Съемку необходимо было начать именно в тот день, потому что нам надо было подстроиться под график работающего аэропорта. Радок привык работать в более упорядоченных условиях, а я не хотел еще больше волновать его, поэтому я сам натянул форму пилота. Она оказалась мне впору, это меня успокоило. Роль была настолько проста, что я бы мог сыграть ее даже во сне. Мне нужно было всего-навсего пройтись по аэропорту со стюардессой и что-то ей показать — словом, детская забава.

Я пришел на площадку, выслушал непременные в таких случаях шуточки, занял место возле стюардессы и стал ждать сигнала от Радока. Когда я пошел по аэропорту с молодой женщиной, я понял, что играть очень трудно.

Внезапно мною овладел демон самоосознания, и я увидел как бы со стороны, насколько высоко я поднимаю ноги при ходьбе. Я почувствовал, что моя походка стала неестественной и неровной, и больше я уже не мог думать ни о чем другом. Молодая женщина возле меня превратилась в призрак, мир вокруг нас — в галлюцинацию. Я останавливался и указывал на что-то, как мне было сказано, но жесты выходили совершенно неестественными, театральными, глупыми. Я приказал себе прекратить это безобразие, но к концу первого дубля я был уже комком нервов.

Радок ничего нам не сказал. Он просто велел сделать второй дубль. Мы прошлись еще раз, и Радок перешел к следующему эпизоду; наверное, наше исполнение его удовлетворило.

Я стоял возле него, все еще в форме, и понемногу приходил в себя после страшной встречи с камерой. Успокоившись, я стал ждать, что меня похвалят или отругают, хотя бы как-то отреагируют на мою игру, но никому не было до меня никакого дела.

На следующий день, когда мы просматривали отснятый накануне материал, я получил еще большую травму: я с трудом узнал себя на экране. Я смотрел на парня в летной форме, гулявшего по аэродрому, и понимал, что мог бы пройти мимо него на улице и ни за что на свете не признал бы в нем самого себя — это было очень странное чувство.

Недели две я восстанавливал душевное равновесие, но новый опыт помог мне понять некоторые вещи, о которых я с тех пор старался не забывать. Игра перед камерой, хоть и может показаться легким делом, на самом деле очень сложна. И для актеров, исполняющих мелкие роли, она еще сложнее, чем для главных героев. Хотя эти актеры обживают уголки кинематографического мира, приносят в него ощущение и размах настоящей жизни, они часто ничего не получают взамен. Они всегда нуждаются хотя бы в слове одобрения или в дружеском замечании. Я понял также, что актер ничего не получает от просмотра отснятого материала; это может даже помешать его дальнейшей работе. Кинематографический образ оказывается сильнее нормальных критических способностей человека.

В 1981 году Майк Николс попросил меня сыграть роль в «Изжоге». Я попытался сказать «нет». В это время я был в простое, а Майку требовался актер на роль югославского культурного атташе. У меня был акцент и грубоватая славянская сила, нужные для роли, но я все еще не оправился от той давней эмоциональной травмы, связанной с попыткой сыграть пилота, и поэтому я стал отказываться. Беда в том, что я был должником Майка. Он разрешил нам снимать его детей в «Рэгтайме», так что я чувствовал себя обязанным выполнить его просьбу. Я приготовился бороться с собой, со своей застенчивостью, с взрывами самоосознания, с желани-

ем сбежать, с горькими сожалениями. Однако потом, когда дошло до дела, я уже хотел, чтобы работа над «Изжогой» никогда не кончалась.

В главных ролях фильма по автобиографическому роману Норы Эфрон снимались Джек Николсон и Мерил Стрип. Это было масштабное производство — за мной был закреплен собственный автобус, который каждое утро забирал меня из гостиницы и привозил на площадку. Внешне я прекрасно подходил на роль грубоватого славянина, и единственное, что я должен был сделать, — это выучить текст. Но я до сих пор не знал, как нужно произносить заученные слова, чтобы они казались произнесенными впервые. Я старался не смотреть на наклеенные на пол полосы, обозначающие расстояние до камеры. Я должен был помнить о том, чтобы не загораживать никого на площадке. Мне нужно было держать в голове всю сложную хореографию, придуманную для этого кадра, и говорить правду.

Майк просматривал снятое за день со своей группой, и я пошел в зал, чтобы еще раз убедиться в правильности моего старого вывода: актеру не нужно смотреть отснятый материал. Глядя на себя, я мог думать только о том, что растолстел, что надо лбом у меня вылезло уже порядочно волос, остальные волосы поседели и на лице появились морщины. Впрочем, я не смотрел в пол на отметки для камер и никого не загораживал.

Но главное впечатление, вынесенное мной из «Изжоги», состояло в том, что режиссеру очень полезно иногда встать по другую сторону камеры и, говоря незабываемыми словами Джеймса Кегни, попытаться «сказать правду» перед этим великим детектором лжи. Сама работа кинорежиссера почти что требует от него врожденной самоуверенности и дерзости, чтобы он мог сказать: «Я знаю лучше, я скажу вам, что надо делать», но эта самоуверенность может быть палкой о двух концах — из-за нее режиссер может стать менее чувствительным к человеческим проблемам, стрессам и огорчениям. Я считаю, что игра в фильме дала мне хорошую дозу смирения.

«Опасные связи»

Когда я работаю, я становлюсь нервным и взвинченным и не могу дождаться конца работы. Когда я не работаю, я чувствую себя несчастным и завидую тем, у кого есть чем заняться. Но, решив посвятить себя новому фильму, я добровольно вычеркиваю два года из жизни, поэтому я всегда должен хорошо обдумать свое решение.

Несмотря на то что «Гнездо кукушки» было, как может показаться, мне предназначено самой судьбой, я не верю, что режиссерам на роду написано снимать какие-то определенные фильмы. Выбор часто зависит от случая, от возможностей, меняющих ваш путь, от того, в какой стадии находится ваша карьера. Все остальное, как ни странно, связано только с календарем, с некоей психологической и эмоциональной зрелостью; это напоминает циклы плодородия. Когда вы готовы к работе, вы просто хватаете первый же материал, не оставивший вас равнодушным, и влюбляетесь в него.

После «Амадея» мне понадобилось четыре года, чтобы найти сюжет, который взволновал бы меня, как бывает, когда кто-то другой ясно выражает то, что я лишь смутно ощущал, или то, о чем я думал по-другому. Однажды в Лондоне я пошел посмотреть пьесу Кристофера Хэмптона по «Опасным связям», роману в письмах, написанному в восемнадцатом веке Шодерло де Лакло. Я читал эту книгу, когда был студентом Милана Кундеры в Киношколе в Праге, и по пути в театр она живо всплыла в моей памяти. История двух людей, преуспевших в сексуальных похождениях и запутавшихся в собственных отношениях, произвела тогда сильное впечатление на неотесанного двадцатилетнего парня.

Теперь в театре я был потрясен вольностями, которые позволил себе Хэмптон при переносе романа на сцену. Я всегда считал, что к литературному первоисточнику следует относиться как можно бережнее, но Хэмптон полностью исказил запомнившийся мне сюжет.

Я был так заинтригован, что решил перечитать книгу, и тут меня подстерегало еще большее удивление: оказалось, что Хэмптон был верен первоисточнику настолько, насколько это вообще возможно при переделке длинного романа в пьесу. Он точно передал все события и ухватил самый дух книги. Это моя память сыграла со мной шутку. Я стал задумываться: а что же другие воспоминания, неужели и в них я так же далек от реальности?

Мне было необходимо покопаться поосновательнее в этом материале, и когда продюсер, имевший права на экранизацию пьесы Хэмптона, позвонил и предло-

жил мне посмотреть премьеру пьесы в Нью-Йорке, я ответил ему, что уже видел «Опасные связи», но с удовольствием схожу на спектакль еще раз. Я рассказал ему также о моих «неправильных» воспоминаниях о романе и о том, что мне было бы очень интересно поставить по нему фильм.

Я еще раз посмотрел пьесу, договорился о встрече с Хэмптоном, чтобы обсудить возможность нашего сотрудничества, и в июне 1987 года прилетел в Лондон. В назначенный день я пришел в Гайд-парк, но Хэмптон так и не появился. Я провел в Лондоне пять дней, и все это время я звонил всем, кому мог, чтобы узнать, не случилось ли с ним чего-нибудь, не произошло ли какого-то недоразумения или еще чего-нибудь в этом роде, но никто не мог дать мне ответа.

Позже Хэмптон написал Робби письмо, в котором объяснял, что ждал меня в Гайд-парке именно такого-то числа, но на месяц раньше и что я обманул его. Честно говоря, я так до конца и не понял, что произошло — то ли мы неправильно поняли друг друга, то ли это была какая-то путаница, ошибка, отговорка, Бог его знает. Может быть, Хэмптону что-то не понравилось в моем намерении взяться за экранизацию романа, хотя он ни слова не сказал мне об этом. Может быть, он ошибочно решил, что мой замысел перечеркивает его работу. Сейчас это уже не имеет никакого значения.

Еще до приезда в Лондон я, как обычно, выполнил «домашнее задание». Я подготовил план фильма, и этот план в основном отражал мои личные воспоминания о книге. Я продолжал обдумывать его, дожидаясь Хэмптона в Гайд-парке. К тому времени, когда я понял, что мне не удастся встретиться с Хэмптоном, и выехал из отеля, я уже знал, каким будет мой фильм по роману Лакло.

Мои старые друзья Клод Берри и Поль Рассам выразили желание стать продюсерами оригинальной киноверсии «Опасных связей», я снова пригласил Жан-Клода Каррьера, и мы с ним вместе написали собственный сценарий. Мы назвали его «Вальмон», по имени главного героя этой истории.

«Вальмон»

Перед тем как ставить какую-то сцену, я обязательно должен так или иначе проверить ее по моей собственной шкале ценностей. Я должен убедиться в достоверности изображаемых характеров и поступков персонажей, и для этого я сравниваю их с тем, что сам испытал или ощутил. Я без труда понял характер Вальмона из «Опасных связей». Всю жизнь я был связан с женщинами — иногда подолгу, иногда не очень. Я потратил много времени на погоню за тем опьянением и благодатью, которые снисходят на человека, когда во всем мире остаются только двое — он и его любовь. Это состояние, естественно, не может длиться вечно, но когда оно наступает, оно ни с чем не сравнимо.

По моей версии, Вальмон стремился именно к этому состоянию. Он бабник, он распутник, на его счету много побед, но лишь потому, что он стремится познать более глубокие чувства. Когда же он находит ту, которую искал, и, по иронии судьбы, ею оказывается госпожа де Турвель, не в меру стыдливая супруга судьи, это так пугает Вальмона, что он оставляет ее и соглашается на самоубийственную дуэль.

В романе самые длительные отношения связывают Вальмона с его корреспонденткой, госпожой де Мертей. Она остроумна, очаровательна и в общении с противоположным полом не менее опытна, чем он. Эти два человека равны во всем. Он хвастается и исповедуется ей, он состязается с ней, но истинная суть их взаимоотношений в книге так и не раскрывается: отношения между Вальмоном и Мертей напоминают какой-то странный флирт, похожий на те, что часто возникают между режиссером и исполнительницей главной роли. У меня, во всяком случае, так было всегда.

Я всегда окружаю женщин, занятых в моем фильме, своими самыми нежными чувствами и фантазиями. Я выказываю настоящую нежность по отношению к ведущей актрисе, тем самым я поддерживаю в ней желание открыть свое сердце, свое настоящее «я», свои самые сокровенные мысли. И когда она делает это, я особенным образом влюбляюсь в нее — особенным потому, что мы оба знаем, что это странное эмоциональное взаимодействие идет на пользу нашему фильму.

Я отступаю перед ней, я заставляю ее еще больше искушать меня, глубже узнавать меня, очаровывать меня и показывать мне, что она сделает все, о чем я попрошу. В то же время я осторожен, я не допускаю, чтобы между нами родилось более глубокое чувство; я боюсь, что она может увидеть меня обнаженным. Я не хочу оказаться уязвимым перед ней. Наши профессиональные взаимоотношения требуют присутствия определенной доли тайны и власти с моей стороны, но я всегда жду

окончания работы над фильмом, надеясь, что тогда-то я смогу сделать свои фантазии реальностью. Но когда съемки заканчиваются, я обнаруживаю, что эта актриса мной уже не интересуется, что у нее начался новый флирт с новым режиссером, что она нашла кого-то еще, кого-то, кто ничего не скрывает от нее.

Я основывал мое понимание загадочных уз между Вальмоном и Мертей на этом странном противоборстве чувств, на этих нереализованных вожделениях, которые сопровождали почти каждый мой фильм. Как только у меня создалось ясное представление о характерах персонажей и их взаимоотношениях, я почувствовал, что могу искать актеров.

У Мишель Пфайфер были красота, шарм, ум и эмоциональная сдержанность, необходимые для великолепной госпожи де Мертей, поэтому несмотря на всю свою нелюбовь к работе со звездами Голливуда я предложил ей роль. К моему удивлению, она отказалась. Спустя несколько дней я узнал, что она будет играть роль стыдливой госпожи Турвель в экранизации пьесы Хэмптона, постановщик которой, молодой английский режиссер Стивен Фрэрз, как раз в это время набирал актеров.

Вскоре я встретил актрису, которую сразу же и без всяких сомнений представил себе в роли госпожи де Мертей. Ее звали Аннет Бенинг, у нее было театральное образование, и публика ее плохо знала, хотя всего через год эта ситуация полностью изменилась. Аннет отличали острый, как бритва, ум, жесткость и неторопливая уверенность, как нельзя лучше подходившие для женщины, которая смогла завоевать себе место в высшем свете французской монархии благодаря своей внешности, своему остроумию и дерзости.

Гораздо труднее было найти Вальмона. Я просмотрел многих американских актеров, нередко в них сочетались грубая мужественность, искушенность и искрометное очарование, которые были мне нужны в этой роли, но их произношение не подходило к расшитому золотом камзолу, отточенной шпаге и безупречным манерам Вальмона. Я видел моего героя аристократом самых голубых кровей; голоса американцев не могли произвести надлежащего впечатления на мои иммигрантские уши. В конце концов мне пришлось примириться с мыслью о том, что эту роль должен обязательно сыграть англичанин; я перенес свои усилия на другой берег Атлантического океана и там нашел Колина Фирта, молодого английского актера, сыгравшего много ролей в кино.

Найти г-жу де Турвель было легко. Я сразу же увидел в роли этой добродетельной супруги, которую Вальмон соблазняет на пари и в которую потом горячо влюбляется, Мэг Тилли.

В нашем сценарии рассказывалась также и история молодых влюбленных Сесиль и Дансени, которые оказались вовлеченными в интриги Вальмона и Мертей. Эти юные создания получали чувственное воспитание в постелях наших главных героев, и я хотел сделать их такими же молодыми, как и в романе, потому что истинную невинность — с ее любопытством, возбудимостью, стыдливостью и неуклюжестью в сексе — очень трудно воспроизвести искусственно. Я взял на роль Сесиль четырнадцатилетнюю Фейрузу Бэлк, а на роль Дансени — шестнадцатилетнего Генри Томаса (в фильме Спилберга он сыграл мальчика, с которым подружился инопланетянин).

К лету 1988 года я нашел всех актеров и уехал в Париж на подготовительный период. Когда я приехал туда, там как раз заканчивались съемки «Опасных связей» Фрэрза. В той группе работа шла быстрее, и их фильм должен был выйти раньше моего. Кто-то дал мне сценарий «Опасных связей», но я так и не раскрыл его; не хотелось сравнивать наши прочтения и терять сон из-за соперников. Оба фильма существовали, с этим фактом надо было примириться, и я просто выкинул «Опасные связи» из головы.

В Париже ко мне присоединились Мирек Ондржичек и Дода Пиштек. Поль Рассам и Клод Берри уже заключили контракт с несколькими выдающимися французскими художниками. Им удалось также найти во Франции много изумительных исторических интерьеров, им даже удалось арендовать для съемок нашей кульминационной сцены Королевскую часовню в Версале. Для съемок моего четвертого — или пятого — исторического фильма все было готово. (Точное число зависит от того, к какой категории отнести «Кто-то пролетел над гнездом кукушки» — фильм казался современным, когда я снимал его, но в нем были и элементы исторического. Применение примитивной электрошоковой терапии и мощных доз наркотиков практиковалось в пятидесятых годах, а в середине семидесятых эти методы уже не применялись ни в одной психиатрической лечебнице за пределами Советского Союза.)

После «Гнезда кукушки» я снимал только исторические фильмы. Я доволен

тем, что живу совершенно свободно, и мне долгие годы казалось, что такая ориентация моих американских фильмов была делом чистого случая, что я просто наткнулся на четыре прекрасных произведения, которые — так уж вышло — оказались историческими.

Но в период подготовки к «Вальмону» — когда я изучал полотна Ватто, Фрагонара, Буше, Гюе и Шардена — я наконец был вынужден признать, что в Америке я нашел себе применение именно в фильмах на исторические темы. Я начинал свою карьеру как документалист, и меня всегда волновала достоверность ситуации. В Чехословакии я никогда не позволял исполнителям читать сценарии, и благодаря этому моя камера могла наблюдать за их непосредственными реакциями на драматические ситуации. Только в спонтанном поведении проявляется такая ранимость, нерешительность, проблески чувства, восторг от открытий. Кроме того, я отличаюсь крайне конкретным и земным воображением, и мне необходимо чтобы действие моих фильмов происходило в правдоподобном, естественном мире. Такова данность, таковы особенности моего вкуса, артистической сущности, чего-то, спрятанного глубоко внутри меня, за пределами объяснимого. И именно мое стремление к достоверности привело к тому, что я стал снимать исторические фильмы в Америке, где я не мог подняться до такого уровня, который нужен для достоверного показа современной жизни.

Роми и Давид

Снимая «Вальмона» в Париже, я обнаружил, что с этим городом у меня связано много воспоминаний. Самые яркие из них относились к событиям пяти- или шестилетней давности, событиям настолько трагическим, что они никогда не изгладятся из моей памяти.

В начале восьмидесятых годов я оказался в Париже во время открытого чемпионата Франции по теннису и посмотрел много матчей. Как-то в пятницу вечером мне позвонил Поль Рассам и спросил, не смогу ли я взять с собой на соревнования сына Роми Шнайдер. Роми где-то снималась, у гувернантки мальчика в субботу был выходной, а Поль, который собирался взять его к себе, был занят. Я, конечно, согласился.

С Давидом, смышленым и дружелюбным десятилетним мальчуганом, мы провели прекрасный день на кортах. Мы играли в бессмысленные словесные игры, заходили в раздевалки, где я познакомил его с Мартиной Навратиловой и другими спортсменами; в общем, все было замечательно. Мы не особенно наблюдали за игрой. Я думал о собственных мальчишках и жалел, что никогда не смогу так же проводить время с ними.

На следующее утро мне надо было уезжать из Парижа; Давид отправлялся на воскресенье к бабушке. Когда утром он пришел к ее дому и позвонил, никто не открыл ему дверь, и он решил проникнуть в дом через окно. Он залез на узорную железную ограду, встал и вдруг нога у него соскользнула. Он упал и напоролся на острый железный прут. Какие-то потрясенные прохожие быстро сняли его с изгороди и усадили на тротуаре. Они от всей души хотели помочь Давиду, но оказалось, что они убили его. Железный прут воткнулся в тело, не задев ни одного жизненно важного органа. Сидя на тротуаре в ожидании «скорой помощи», Давид истек кровью. Если бы прут оставался в ране, такого обильного кровотечения могло не быть, и Давид и Роми были бы живы и сегодня.

В последний вечер своей жизни Давид был переполнен впечатлениями от нашего посещения теннисного турнира. Наверное, он много говорил обо мне, и последние воспоминания Роми о ее мальчике неразрывно переплетались с моим именем. Во всяком случае, именно это сказал мне Поль Рассам, сообщив, что Роми страшно подавлена и хочет меня видеть. Давид был ее единственным сыном, и она очень тяжело переживала эту трагедию.

В следующий раз я оказался в Париже проездом. Я прилетел поздно вечером и должен был улетать на следующее утро. У меня никак не получалось зайти к Роми, и я решил, что увижусь с ней на обратном пути.

Я вошел в мой номер в отеле «Ланкастер» в одиннадцать часов вечера. Я еще не дал чаевых коридорному, как вдруг зазвонил телефон. Это был Поль.

— Милош, Роми знает, что ты в городе. Ты можешь с ней увидеться? — спросил он.

— Да, конечно.

— Я сейчас приеду и подожду ее вместе с тобой.

Мы прождали до часу ночи. Когда Роми пришла, она выглядела совершенно

потрясающе. Наверное, она вызвала парикмахера, чтобы он в полночь сделал ей прическу. Кроме того, было видно, что она выпила.

— Пожалуйста, Милош, расскажи мне все о Давиде, — попросила она.

Я рассказал ей все о том, что мы с Давидом делали в ту чудесную субботу, которая оказалась последним днем его короткой жизни. Роми цеплялась за каждое слово, как будто я мог помочь ей вернуть мальчика. Было невыносимо больно видеть, как она страдала. Прошел год после смерти Давида, но она все еще не могла примириться с этой потерей.

Каким-то образом я стал для Роми медиумом, ее связью с умершим сыном, но я мог передать ей только воспоминания о четырех или пяти часах того солнечного дня. Мы говорили и говорили, это был мучительный разговор, он то прерывался, то начинался опять, он сопровождался бесконечным питьем, слезами, попытками утешения, видениями, отчаянием.

— Ты должна немного поспать, Роми, — мягко предложил я в четыре утра.

— Нет! Я не хочу спать, я никогда не хочу спать.

Роми снились кошмары, в которых она снова и снова теряла своего мальчика. Мы проговорили до рассвета. Потом я улетел.

Когда спустя несколько дней я вернулся, Роми была мертва. Она пила, чтобы забыть обо всем, принимала снотворное, чтобы прогнать сны, и ее сердце не выдержало.

Поль отвез меня к ней в дом. Там был ее друг Лоран Петен, а также Ален Делон, Мишель Пикколи, Клод Берри и многие другие люди, близко знавшие Роми. По французскому обычаю, ее тело все еще лежало на кровати, и друзья заходили в спальню, чтобы сказать ей свое последнее «прости». Все говорили, что она и в смерти осталась одной из красивейших женщин мира, но я не смог заставить себя посмотреть на нее.

Мысли о доме

Премьера «Вальмона» состоялась 17 ноября 1989 года, и фильм с треском провалился, что, по идее, должно было надолго уложить меня в постель. Но в тот же самый день на другом конце планеты произошло событие, от которого все мои огорчения как рукой сняло. Студенческая демонстрация в Праге вызвала панику коммунистического правительства, и оно бросило своих боевиков на несколько тысяч молодых людей. Студентов страшно избили, но с этого события началась «бархатная революция», которую возглавил мой старый школьный товарищ из Подебрад.

Спустя две недели коммунистическое правление в Чехословакии стало историей. И я в Нью-Йорке, вместо того чтобы сокрушаться над рецензиями на «Вальмона» и изучать безрадостную статистику в «Вэрайети», читал во всех газетах потрясающие сообщения из Праги и переключал телевизор с одного канала на другой, чтобы поймать еще хоть какую-то информацию. Мой телефон разрывался на части, мне сообщали все новые и новые слухи о перевороте, контрперевороте, вторжении и убийствах. У чехов и словаков самой распространенной реакцией на скоропостижный конец коммунизма было ощущение, что все это происходит во сне. Такое же тревожное чувство было и у меня, но надо добавить, что «бархатная революция» совершенно изменила перспективу моей собственной жизни. Ошеломляющий провал «Вальмона», причиной которого стало мое стремление воскресить старые воспоминания о книге, непризнание — внезапно все это показалось мне пустяками, не стоящими внимания.

В конце декабря 1989 года Гавел был избран президентом Чехословакии — выбирали его члены старого коммунистического законодательного собрания. Они голосовали за него, скрежеща зубами, но голосовали единогласно: им никогда и в голову не приходило, что можно голосовать против.

Я наблюдал за инаугурацией Гавела по телевизору на своей ферме в Коннектикуте. Он пообещал стране свободные выборы, первые за последние сорок лет, и новую конституцию. Он поклялся, что снова сделает Чехословакию страной, где правит Закон, и будет добиваться превращения командной системы экономики в свободный рынок.

Я гордился своей Родиной и президентом Вацлавом, так гордился, что стал все чаще и чаще думать о том, что же на самом деле сделало моим домом старую ферму в Коннектикуте. На протяжении многих лет у меня было очень простое определение дома. Дом — это место под крышей, где лежит мой чемодан. Дом — это также и место, где я могу спокойно работать, и мне было гораздо легче снимать

фильмы на западном побережье Атлантики, чем в Центральной Европе или где-нибудь еще. Но теперь, после «бархатной революции», я понял, что когда моя энергия начнет иссякать, когда я захочу уйти на покой, как это сделал Джеймс Кегни, тогда центростремительная сила может снова толкнуть меня туда, где прошла моя юность, туда, где я провел детство, туда, где воспоминания принимают самые ясные очертания.

Может быть. Кто знает?

«Адский лагерь»

Неудача «Вальмона» заставила меня снова взяться за работу, то есть читать, читать, читать. Я протоптал дорожку на ковре от кресла до холодильника, но так и не нашел ничего, ради чего стоило выкинуть еще два года из жизни.

Мне предлагали хорошие сценарии, для которых нужен был просто профессиональный исполнитель. Я же, наверное, искал какой-то полуфабрикат, недоработанную идею, которую я мог бы сделать своей. Но единственным, что пришло мне в голову, был сюжет, который я видел когда-то в передаче «60 минут». Там рассказывали о школе японских менеджеров, которую неофициально называли Адским лагерем. Эта школа находилась у подножья Фудзи, и все окончившие ее, несмотря на такое страшное название, отличались завидным энтузиазмом. Мне показалось, что эта школа могла бы стать местом действия увлекательного фильма.

Примерно в то же время я решил вернуться к одному давнему замыслу. Это была история о молодой супружеской паре и о муже, оказавшемся параноиком. Однажды бессонной ночью я размышлял над тем, как соединить эти два сюжета, и вдруг мне пришла на ум довольно-таки пугающая мысль: а что, если я опять стану работать так, как раньше, в Чехословакии? Что, если я просто сяду с кем-то за стол и попробую написать оригинальный сценарий? Неужели за последние двадцать два года я узнал об Америке недостаточно, чтобы сделать здесь фильм, начав с нуля? Но осмелюсь ли я отказаться от всех костюмов, декораций и хореографов и снова посмотреть на мир ясными глазами через объектив камеры?

Потребовалось какое-то время, чтобы я освоился с мыслью о возвращении к простому кинематографу, но в конце концов я собрался с силами. Я занялся изучением Японии и скоро открыл для себя борьбу сумо, суровый и живописный вид спорта, который казался созданным для кино. Постепенно в моей голове начал созревать черновой план сценария о двух американцах в Японии — конечно, о двух неудачниках. Сюжет увлек меня. В это время японцы все громче стали заявлять о себе в киноиндустрии, и с этой точки зрения моя идея тоже представляла практический интерес. Я встретился с Питером Губером, руководителем «Сони пикчерс энтертейнмент», компании-учредителя «Коламбии» и «Трай-стар». Я рассказал ему, что хотел бы снять изящную комедию о двух любовных историях, в которых участвовали бы представители двух разных культур, в том числе — борцы сумо.

— Никому больше не говорите об этом! Мне это нравится! — сказал Губер и направил меня к Майку Мидавою из «Трай-стар». Я знал Мидавоя уже лет двадцать, и мне было легко с ним говорить. Мы решили запустить проект под названием «Адский лагерь», со сценарием, который я рискну написать сам, а «Трай-стар» должна была подстраховать мои усилия.

Я нашел талантливого молодого кинорежиссера, Адама Дэвидсона, и весной 1990 года мы вместе вылетели в Японию. «Сони» обеспечила нас лучшими переводчиками, гидами и связями. Перед нами открывались все двери. Дэвидсон поступил в Адский лагерь и прошел там двухнедельный курс обучения, а я в это время съел горы божественного суси и посмотрел много соревнований по сумо. Я сходил в театр Кабуки, где один из персонажей спектакля выходил на сцену, держа отрубленную руку, — это был необъяснимый, странный и могучий образ, и страна была полна такой символики.

Вернувшись в Америку, мы с Дэвидсоном написали сценарий о молодом американце, чей брак разваливается именно в тот момент, когда компания переводит его на работу из Нью-Йорка в Токио. В самолете он знакомится с Джо, тучным парнем, который мечтает найти применение своему огромному телу в сумо.

В Токио выясняется, что у парня на счете нет ни цента, а молодого служащего увольняют. Заливая свое горе вином, они встречают двух молодых японок. С этого и начинается основная история.

Мидавою сценарий понравился, и я подписал контракт на постановку фильма для «Трай-стар»; моим продюсером должен был стать Майкл Хахусман. Мы с

Дэвидсоном пригласили японскую писательницу Сигэко Сато, чтобы она сказала нам, насколько достоверно показаны японские персонажи с японской точки зрения. Сато предложила сделать несколько поправок и признала сценарий реалистичным, после чего я послал его нашим представителям в Японии, которые должны были подыскать основные места для съемок. Тут начались осложнения, которые, впрочем, так и не кончились.

Сценарий возмутил руководителей Адского лагеря под Фудзи: они считали, что на первом месте в фильме должна быть именно их школа, но, как это часто бывает при создании сценария, первоначальный замысел стал всего лишь отправной точкой для нашего сюжета. Однако новая расстановка акцентов настолько разочаровала людей из Адского лагеря, что они отказались пустить нас на съемки в свои помещения.

Я спокойно принял это известие. Каждый сценарий можно истолковать поразному, и список учреждений, где мои сценарии были неправильно поняты, весьма обширен и любопытен. В нем вы найдете армию США, Моргановскую библиотеку, архив Моцарта, многочисленные психиатрические больницы, а также высокие правительственные инстанции старой Чехословакии. Я полетел в Японию и расщедрился на несколько пышных обедов для руководителей Адского лагеря. Я шутил, пил пиво и сакэ, приводил тонкие аргументы между тостами, согласился внести несколько изменений в сценарий. После долгих разговоров и еще нескольких попоек лидеры Адского лагеря согласились впустить нас в школу.

В нашем сценарии было два небольших эпизода, происходящих в токийском аэропорту. Это могли быть ночные сцены, так что мы никоим образом не нарушили бы график, но нас не пустили ни в один аэропорт города. Ни на день, ни на ночь, ни за реки сакэ.

Я решил забыть об аэропорте. Сцены были так незначительны, что я мог себе это позволить. Но я никак не мог снять свой фильм, не заручившись поддержкой «рикиси», борцов сумо, и доступом на старинную арену для сумо в Токио, строгий и красивый стадион, без которого мы никак не могли обойтись в истории нашего тучного паренька. Японцы считают сумо национальным видом спорта, выражением своего национального характера, и мы не знали, как именно отреагирует Ассоциация сумо на желание американцев снимать фильм на ее священных циновках, поэтому мы стали искать человека, пользующегося влиянием в мире сумо, который мог бы замолвить за нас словечко. Нам удалось наладить сложную сеть контактов, которые вывели нас на г-на Дэвауноми, занимавшего второй по значимости пост в Ассоциации сумо. Он прочел наш сценарий и сразу начал нам помогать. Он обратился к работникам японского телевидения, транслировавшим все соревнования, с просьбой оказать нам всяческое содействие.

Но тут в игру вступил Нобору Кодзима. Это был суровый и элегантный господин лет пятидесяти с небольшим, историк, изучавший императорские войны в Японии, и член всемогущего Комитета Ёкодзуна, ведавшего делами борьбы сумо. Вначале я не понял, насколько влиятельным человеком был Кодзима, но впоследствии оказалось, что его суждения совершенно непререкаемы для руководящих деятелей сумо.

Когда Кодзима прочел сценарий, он заявил, что сюжет очень напоминает ему пропагандистские американские фильмы о второй мировой войне. Он считал, что Саюри, молодая японка, полюбившая американца, отличалась «легкими нравами». Еще больше его оскорбило то, что Адский лагерь, «низшее», по его мнению, заведение, соседствовал с возвышенным искусством сумо. Эти два явления, заявил он, просто не могут сосуществовать бок о бок в одном повествовании.

Я решил, что эти возражения совершенно нелепы; это было так же дико, как если бы американец стал утверждать, что бейсбол будет опошлен, если его покажут в одном фильме с мотогонками.

— Знаете, мистер Кодзима, — сказал я ему, — как раз вчера вечером я видел по вашему телевидению рекламу, в которой борцы сумо танцевали «Лебединое озеро». Они были в пачках. Они прыгали. Они выглядели далеко не почтенным образом. Это вас не тревожит?

— Это их хобби, — улыбнулся Кодзима.

— Да, мистер Кодзима, но снимать кино — это *мое* хобби.

Я упрашивал историка быть немного терпимее, но он лишь снова улыбнулся и стал рассказывать о своем сыне, который жил с женой в Лос-Анджелесе. Отпрыск пригласил отца приехать к нему в гости в Калифорнию.

— Я пообещал, что приеду, как только моя невестка забеременеет... — сказал мне Кодзима.

Мне так и не удалось поколебать Кодзиму, не удалось убедить его в том, что он неправильно понял наш сценарий, и нас не пустили на арену для борьбы сумо. Ассоциация сумо даже не позволила нам работать с ее борцами. Но мы не могли убрать сумо из сценария. Хрупкая конструкция нашего сюжета нуждалась в обеих подпорках, нуждалась в истории тучного парня и его страстной мечты, нуждалась в эффектных церемониях сумо. Без всего этого сценарий просто погибал.

После бесконечных встреч, стратегических совещаний, перелетов через Тихий океан, и бесполезных отчаянных переговоров «Адский лагерь» приказал долго жить; это произошло за четыре дня до того, как по плану должны были начаться съемки. Двести человек лишились работы, несколько молодых, неизвестных актеров потеряли шанс на блестящий дебют. Что до меня, я потерял год. А в моем возрасте время уходит все быстрее.

Хотя мне не удалось снять фильм, «Сони» не расторгла мой контракт. Мне заплатили деньги, и теперь я могу сказать, что случившееся с «Адским лагерем» напоминает мне странную партию в пинг-понг, сыгранную мной тридцать лет назад. Когда мы с Яной были еще красивой блестящей пражской четой, нас пригласили на просмотр в китайское посольство. В совершенно бесконечном фильме, помимо всего прочего, шла речь о создании национального гимна Китая. Композитор, как заправский картежник, перебирал почтовые открытки с видами Китая и вслушивался в звуки своей земли, которые медленно, очень-очень медленно соединялись и превращались в мелодию.

После просмотра, пытаясь найти какую-то приятную тему для разговора с культурным атташе, я спросил его, играет ли он в пинг-понг.

— Все китайцы играют в пинг-понг, — сказал он со смехом.

— Нам с вами надо как-нибудь сыграть партию, — предложил я в шутку, потому что когда-то в Подебрадах я входил в команду по настольному теннису. Не успел я сказать это, как передо мной собралась толпа китайцев и что-то защебетала без всякого выражения. После длинного разговора атташе повернулся ко мне, улыбаясь до ушей.

— Да, да, мы сыграем, вы и я.

Спустя десять минут мне протянули листок бумаги с напечатанным текстом. Там был указан адрес, довольно позднее время и дата — спустя три месяца.

— Здесь нет ошибки? — спросил я, указывая на месяц.

— Нет, нет, — сказал атташе.

— Хорошо, я приду.

Через три месяца я взял ракетку, явился по указанному адресу и оказался участником темпераментного сражения в присутствии ликующей толпы китайцев. Дело происходило во время очередного приема, и я был в костюме и лакированных штиблетах, в то время как китайский культурный атташе надел шорты и теннисные туфли, но дело было не в этом. Атташе играл в пинг-понг куда лучше меня. Его подачи были так закручены, что мячики просто соскальзывали с моей ракетки. Может быть, все три месяца он тренировался, может быть, ему вообще не надо было тренироваться, чтобы сразиться со мной; как бы то ни было, в первой партии он разгромил меня со счетом двадцать один — восемь.

Китайцы подбадривали своего атташе. От шума дребезжали стекла. Проиграв вторую партию со счетом двадцать один — двенадцать, я положил ракетку и обошел стол, чтобы пожать руку победителю от культуры. Вокруг меня поднялась суматоха.

— Матч не закончен, матч не закончен! — кричали зрители.

— Мы играть три партии! Всегда три, — сказал атташе на ломаном чешском.

— Да, но я уже проиграл две, так что третья ничего не изменит.

— Три партии, три партии, — настаивал атташе, и все поддержали его.

— Хорошо, согласен,— сказал я и снова взял ракетку, чтобы доставить им удовольствие.

Теперь зрители перенесли на меня свои симпатии и аплодировали каждой моей подаче, а когда третья партия закончилась в мою пользу, двадцать один — двенадцать, они разразились овацией. Было ясно, что атташе дал мне возможность выиграть эту партию — но лишь после того, как я уже все проиграл.

«Это я могу придумать»

В истории с «Адским лагерем» я проиграл не все; я просто потерял год жизни. Не могу сказать, что я сумел все понять и обрести полный покой, но что-то во мне словно перегорело, мое вечное стремление побеждать куда-то ушло, и, как ни стран-

но, я не жалел о нем. Мне пришлось заставить себя прочесть все сценарии, скопившиеся на моем столе, пока я боролся за «Адский лагерь».

В моей жизни стало происходить что-то непонятное: когда я шел по людным улицам Нью-Йорка, мне казалось, что я уже видел всех идущих мне навстречу людей, слышал случайно долетавшие до меня обрывки разговоров; запах любых духов напоминал мне о женщине, с которой я был когда-то. Я начинал читать новый сценарий, а через десять — пятнадцать страниц уже вспоминал продолжение.

Может быть, моя память постепенно брала верх над моим воображением? Может быть, воображение — это удел молодых, может быть, оно только возмещает недостаток опыта. Если это так, я не хочу слышать об этом — я черпаю мужество в истории об Отакаре Бржезине, которую мне когда-то рассказали.

На рубеже веков, когда этот чешский поэт, обладавший поистине космической силой предвидения, был уже старым человеком, он отправился на свою ежедневную прогулку по улицам Праги. С ним шла его молодая секретарша. Вдруг на улицы высыпал народ. Собравшиеся, задрав головы, смотрели на небо. Они были свидетелями чуда. Над Прагой жужжал первый аэроплан.

— Пан! — воскликнула потрясенная секретарша. — Смотрите! Первая летающая машина!

Старый поэт и не подумал поднять глаза от тротуара.

— Это я могу придумать! — пробормотал он и продолжал свою прогулку, как будто только в глубине его сердца еще таилось то, что могло удивить его.

Но, может быть, в тот день у него просто было плохое настроение. Откуда мне знать?

■

КЭНДЗАБУРО ОЭ

МНОГОСМЫСЛЕННОСТЬЮ ЯПОНИИ РОЖДЕННЫЙ

Нобелевская лекция 1994 года

Вторую Нобелевскую премию получает японский писатель. Первая — у Кавабата Ясунари (1899 — 1972), «Красотой Японии рожденного» («Уцукусий Нихон-но ватакуси»). Так он назвал свою Нобелевскую речь, и в этом суть того, что́ он оставил после себя в надежде разбудить в людях инстинкт Красоты. Смысл сказанного Оэ (р.1935), казалось бы, противоположен: «Многосмысленностью Японии рожденный» («Аймай-на Нихон-*но* ватакуси»). И опять та сакраментальная частица «но», которая соединяет писателя с Японией, какой он ее видит, и частице этой нет аналога ни в нашем, ни в другом языке: это знак всеобщности, всеединства; сущее соединяется между собой единым витком спирали, на которую так похожа частица «но» по написанию. Оба свидетельствуют о своей причастности, один — «Красоте Японии», другой — «Двойной Японии», но в том и в другом случае мы находим со-участие, со-чувствие происходящему на Земле. И потому их соединили вместе одной Наградой, мировым признанием их нужности людям XX века, и пусть для Кавабата основа сущего в изначальной Красоте, как законе Бытия, который ведет мир к Спасению, для Оэ главное — увидеть и понять то, что происходит рядом. Увидеть и ужаснуться, ужаснувшись, опомниться. Опомнившись, избавиться от той двойственности, которая раздирает нацию и душу каждого с тех пор, как Япония стала модернизироваться.

Позиция Кавабата Над схваткой, Над всякой двойственностью («на два вершка над землей», как характеризуют дзэн). Позиция Оэ — внутри событий, в горниле жизни, но их взгляды сближаются, хотя Оэ моложе, его детство в уединенной деревушке пришлось на военные годы, и этим объясняется его тяга к бунтарству, к сопротивлению всякому насилию. С высоты Кавабата Япония видится единой, с глубины Оэ — двойной, но она действительно едина и не-едина. И нужно было иметь мужество, чтобы назвать Японию «двойной», разъятой между Востоком и Западом, сказать это японцам, гордившимся, и не без оснований, своим единством, единой Японской душой (Ямато дамасий), единым «телом государства» (кокутай). Раньше японцам удавалось сохранять свое единство, взаимодействуя с другими культурами, скажем китайской, благодаря умению уравновешивать одно другим, следуя Закону вселенского равновесия («ва», этим же иероглифом пишется древнее название Японии — Ямато — страна, призванная нести Гармонию в мир). То есть можно брать чужое, но не в ущерб собственной душе, и потому уже в IX веке провозглашается принцип «вакон кансай» — «японская душа — китайские значения». Однако в XIX веке при соприкосновении с европейской системой ценностей, после «открытия дверей», этот принцип не сработал, что свидетельствовало о разнице мировоззренческих систем, о глубинном различии культур. Оэ не случайно напоминает заключительные слова из речи Кавабата: «В моих произведениях находят Пустоту, Небытие, но это совсем не то, что означает европейское слово «нигилизм». Думаю, что различаются их духовные истоки». И это очень существенно. Пустота для традиционного мышления японцев (не только буддистов) есть ненавязчивость, непринужденность или полнота, свобода духа, движения мысли. (Японские философы называют этот принцип мышления «логикой Небытия», полной непредвзятости.) Нигилизм же действительно нечто противоположное — абсолютное отрицание, безверие, закономерное следствие той логики, которая держится на принципе властвования одного над другим, начале «архе», подчинении второстепенного главному, периферии — центру, то есть сама структура сознания исключала возможность полной свободы мысли, вела к утверждению одного,

отрицанию другого или к двойственности. Не в этом ли причина того, что и Япония подверглась раздвоению, прежде всего раздвоению личности, что заставило Оэ говорить об утрате чувства самоидентичности как нации в целом, так и отдельного человека. И это стало его основной темой. «Возвращаясь мысленно к окружавшей меня в юности среде, должен признать, что в культурном аспекте в истории Японии, думается, не было другого периода, когда так отчетливо противостояли друг другу «центр» и «периферия» («Письма к молодежи»). С другой стороны, и эти границы между Западом и Востоком относительны, и личность самого Оэ, которому близки мысли Блейка, Йейтса, Достоевского, свидетельствует об этом. Но важно понять, где начало этой границы, чтобы относительное не стало абсолютным.

И все же Оэ, хотя и восстает против чрезмерной приверженности традиционным идеалам, остается японцем, которому не дает покоя ощущение раздвоенности, утрата гармонии, традиционной Середины, чувства самоиндентичности. И он ищет возможность снять, преодолеть эту двойственность между Востоком и Западом, «центром» и «периферией», между индивидуальным и коллективным сознанием, стремясь «к идентичности личности с *культурным ядром сообщества*». Говоря о замысле романа «Игры современников», он выражает свою идею; Оэ хотел создать в лесах свое «сообщество», государство, тяготеющее к периферии, к типу культуры, которая противостояла бы «типу центростремительному, абсолютистскому». «Японская культура — модель мира, вершину которого заключает символ центростремительной силы — император, потомок вечного Небесного Божества (Амацуками). Ей противостоит модель мира с Земным Божеством (Куницуками), множеством нитей связанным с периферией. В этом романе я преследовал цель в рамках именно такого культурного типа гипотетически создать желаемое *культурное ядро сообщества*, с которым оптимальным образом взаимодействовало бы *ядро личности*» («Письма к молодежи»). Стало быть, он остается в рамках традиционной модели, лишь переносит акцент с центра на периферию, с центростремительной силы на центробежную, что в общем соответствует ритму японской истории, ее колебанию от одного порядка к противоположному (дзюн-гяку) во имя сохранения устойчивости. Но это соответствует и ощущению того, что судьба Японии кровно связана с судьбой остального мира, как часть с целым более высокого порядка. Его интересуют общие законы, которым следует все сущее; его социальность космична, это социо-космос. Оттого изображение голографично, вмещает идею Целого и потому достоверно.

Итак, те душевные раны, которые нанес человечеству XX век, заставили его взяться за перо, признается Оэ в своей исповедальной речи. Но, значит, он не думает, что человечество безнадежно, обречено жить по законам абсурда, верит в возможность его преображения, если проснется инстинкт Сострадания, который столь же изначален в человеке, как инстинкт Красоты. Что же нужно для этого? Прежде всего преодолеть отчуждение человека от Природы. Отчуждение от Природы внешней, что дана нам в ощущение, привело к разрушению Природы внутренней, самого человека. Чем более человек теряет себя, тем более разрушает эту Землю, приближая собственную гибель. И Оэ спешит предупредить людей о надвигающейся катастрофе, которая неминуемо приближается как возмездие за грехи человеческие. Говоря с критиком Ватанабэ Хироси по поводу романа «Объяли меня воды до души моей...», Оэ признается, что у него такое чувство, что Великий потоп, означающий конец мира, поднялся уже до самой груди, еще немного — и покроет человека с головой. Но люди не замечают, что экологическая катастрофа, кризис духа приведут к их физическому исчезновению и день, когда «исчезнет последний кит, будет последним днем человека». И это гораздо серьезнее, чем может показаться. По крайней мере, появляется человек, который способен ощутить связь с живым миром, общаться с душами деревьев и китов. Это Ооки Исана, герой романа «Большое дерево — Смелая рыба», ушедший из общества, чтобы слышать голоса деревьев и китов. И когда все кончится и уйдет последний человек, очистив эту землю, «киты, обращаясь к своим неизменным друзьям — деревьям», пошлют сигнал «*все хорошо*! Каждый листочек, каждая травинка присоединят свой голос к могучему хору: *все хорошо*!» Изможденная земля вздохнет облегченно, освободившись от своего мучителя, вообразившего себя властелином Вселенной, которому все дозволено.

Но Оэ не писал бы свои романы-предупреждения, если бы не верил в «новые чувства, новые мысли», что человек вернется к себе сущему и возлюбит другого больше, чем себя, и через это возродится все на Земле — и Слово, и Дело, и затянутся раны, и воспрянут души, если человек увидит себя в другом и другого в себе.

Т. ГРИГОРЬЕВА

В последнюю страшную мировую войну я был маленьким мальчиком и жил в окруженной непроходимыми лесами деревне на острове Сикоку Японского архипелага, за тысячи миль отсюда. В то время были две книги, которыми я был поистине околдован: «Приключения Гекльберри Финна» и «Чудесное путешествие Нильса». Мир тогда захлестывали волны кошмара. Чтение «Гекльберри Финна» позволяло мне оправдаться за то, что я уходил в горы и ночевал в лесу, где приходило чувство безопасности, которого я никогда не испытывал под крышей дома. Главный герой «Чудесного путешествия Нильса», превратившись в маленького человечка, выучивается понимать птичий язык и совершает увлекательное путешествие. Эта история доставляла мне ощутимую радость по самым разным причинам. Во-первых, я сам жил среди непроходимых лесов острова Сикоку, совсем как мои предки много лет назад, и вот оказывалось, что этот мир и такая жизнь даруют истинную свободу. Во-вторых, я чувствовал симпатию к Нильсу, мало того, отождествлял себя с этим маленьким шалуном, который пролетел над всей Швецией, то дружа, то сражаясь с дикими гусями, и потихоньку сделался подростком, еще совсем невинным, робким, но уже поверившим в свои силы. Вернувшись наконец домой, Нильс беседует с родителями чуть ли не как равный с равными. Думаю, наслаждение, испытанное мною от этой книги, объяснялось главным образом ее языком, ведь я и сам почувствовал ощущение, духовный подъем, повторяя за Нильсом его слова. Вот они (я пользуюсь английским и французским переводами): «Мама, папа, — крикнул он. — Я большой. И я опять стал человеком».

Меня просто покорила эта фраза: «Я опять стал человеком». Выросши, я постоянно оказывался перед лицом тяжелых конфликтов, касалось ли это моей семьи, отношений с японским обществом да и вообще жизни, как она у меня складывалась во второй половине XX столетия. Я выдержал, потому что эти мои переживания воссоздал в романах. И, работая над романами, я постоянно ловил себя на том, что повторяю: «Я опять стал человеком». Вспоминать об этом, да и вообще говорить все о себе да о себе и не следовало бы сейчас: не тот повод и не та ситуация. Но все-таки позвольте мне сказать, что мои книги, такие, как они есть, прежде всего оттого, что я всегда отталкиваюсь от собственных непосредственных переживаний и соотношу их с обществом, страной, миром. Надеюсь, вы позволите мне еще чуточку задержаться на том, что мною было пережито.

Полвека назад, живя среди непроходимых лесов, я читал «Чудесное путешествие Нильса» и открыл в этой книге две мысли, оказавшиеся пророческими. Одна заключалась в том, что настанет день, когда я смогу понимать язык птиц. Другая — что и я как-нибудь улечу с дикими гусями, и лучше бы всего в Скандинавию.

Я женился, и наш первый сын оказался от рождения умственно неполноценным. Мы назвали его Хикари, что по-японски означает «свет». В младенчестве он откликался только на птичьи голоса и никогда — на человеческие. Однажды летом, когда ему было шесть, мы жили в нашем загородном доме. Он услышал пару щебечущих пастушков у озера за рощей и сказал голосом орнитолога, объясняющего на пластинке, какие сейчас прозвучат птичьи голоса: «А вот пастушки». Так мой сын впервые произнес человеческие слова. И только с той минуты я и моя жена начали общаться с нашим сыном посредством слов.

Теперь Хикари работает в Центре профессионального обучения для умственно отсталых, причем в его организации используется методика, что пришла к нам из Швеции. Одновременно он сочиняет музыкальные произведения. Пение птиц послужило ему толчком и для его музыкальных композиций, где слышны сходные мелодии. Мне кажется, то, что произошло с Хикари, — воплотившееся пророчество, что когда-нибудь я начну понимать язык птиц. Должен также сказать, что жизнь стала бы для меня невозможной, если бы не моя жена, наделенная нечасто встречающимися у женщин отвагой и мудростью. Не иначе как в одном из своих прежних воплощений она была Аккой, гусыней-водительницей дикой стаи, с которой путешествовал Нильс. Вместе с ней я теперь прибыл в Стокгольм, и, таким образом, к моему восторгу, сбылось и другое пророчество.

Кавабата Ясунари, первый японский писатель, который поднялся на эту трибуну как лауреат Нобелевской премии по литературе, произнес речь, названную «Красотой Японии рожденный». Название красивое и неясное. Японский эквивалент второго слова — aimaina. Оно может быть по-разному передано в английском переводе. Кавабата самим заглавием своей лекции хотел подчеркнуть, что тут не нужна строгая определенность. Можно понять это заглавие как «я — часть прекрасной Японии». Неясность создается японской частицей «но», которая соединяет понятия «я» и «прекрасная Япония».

Эта неясность создает возможность самых разных интерпретаций смысла. Помимо прочтения «я — часть прекрасной Японии», частица «но» соединяет понятия так, что можно говорить об отношениях, когда одно владеет другим, или этому другому принадлежит, или тесно с ним соотносится. Допустим еще один смысл: «Прекрасная Япония и я», в таком случае частица связывает существительные по принципу приложения, как это и понято в

© The Nobel Foundation,1994

английском переводе лекции Кавабата, сделанном одним из самых выдающихся специалистов по японской литературе. Он перевел так: «Япония, красота и я». Это очень квалифицированный перевод, исключающий мысли о том, что переложение превратилось в подвох.

В своей речи Кавабата говорил о том неповторимом мистицизме, что отличает не только японское сознание, но вообще сознание Востока. Под словом «неповторимый» я подразумеваю устремление к дзэн-буддизму. Будучи писателем XX столетия, Кавабата все-таки передает свое понимание мира, прибегая к стихам, написанным в середине века монахами дзэн. Обычно эти стихи не говорят о том, что словами невозможно воплотить истину. По мысли авторов, слова замурованы в своих непроницаемых раковинах. И читателям не следует надеяться, что когда-нибудь слова освободятся от оков, в которые они заключены, если используются поэтом, и шагнут к нам. Понять стихи этих монахов невозможно, как невозможно и полюбить их, так что остается лишь отдаться на волю авторов, попытавшись без предвзятости проникнуть в закрытые раковины слов.

Что дало Кавабата смелость прочитать эти совершенно эзотерические строфы на японском языке перед аудиторией в Стокгольме? Я едва ли не с ностальгическим чувством думаю о том неподдельном мужестве, которое Кавабата обрел под конец своего блистательного творческого пути — оно ему не изменило и когда он формулировал свой символ веры. Кавабата был художником-пилигримом на протяжении тех десятилетий, когда им созданы его многочисленные шедевры. И лишь вслед этому паломничеству, лишь после того, как он открыто признал, что зачарован непостижимыми японскими стихами, которые исключают всякую возможность до конца их понять, — лишь после всего этого он счел возможным говорить о себе как «красотой Японии рожденном», то есть говорить о мире, в котором он жил, и о литературе, которую создал.

И знаменательно, что Кавабата закончил свою речь следующими словами: «В моих рассказах находят «небытие». Но это совсем не то, что называется нигилизмом на Западе. По-моему, сами основы наших душевных устройств различны. Сезонные стихи Догэна, озаглавленные «Изначальный образ», воспевающие красоту четырех времен года, и есть дзэн»[1].

Здесь я тоже нахожу мужество и прямоту, с какой он отстаивает свои воззрения. С одной стороны, Кавабата говорит о себе, что по сущности своей он принадлежит философии дзэн и соответствующей художественной тональности, которую мы обнаруживаем во всей литературе Востока. С другой же — он специально прерывает ход своей мысли, чтобы объяснить, что его чувство небытия не то же самое, что западный нигилизм. И тем самым Кавабата обращал свои искренние слова к тем грядущим поколениям, с которыми связывал свои надежды и веру Альфред Нобель.

Не стану скрывать, что больше, чем с моим соотечественником Кавабата, стоявшим на этой трибуне двадцать шесть лет назад, я чувствую духовное родство с ирландским поэтом Уильямом Батлером Йейтсом, который был удостоен Нобелевской премии в области литературы семьдесят один год назад, когда ему было примерно столько же лет, как мне сейчас. Разумеется, я далек от мысли сравнивать себя с гениальным Йейтсом. Я всего лишь его скромный последователь, живущий совсем в иной стране. Хочу вспомнить, что Уильям Блейк, чьи произведения Йейтс сумел в нашем столетии по-настоящему оценить, доказав их огромное значение, — как-то написал: «Мчась чрез Европу, чрез Азию — к Китаю, Японии молнией».

На протяжении последних нескольких лет я был погружен в работу над трилогией, которую хотел бы считать кульминацией моего литературного творчества. Пока опубликованы две первые части ее, а недавно я окончил работу над третьей, заключительной. По-японски она называется «Пылающее зеленое дерево». Я заимствовал это название из стихотворения Йейтса «Непостоянство», где есть такая строфа:

Есть дерево, от комля до вершины
Наполовину в пламени живом,
В росистой зелени наполовину...[2]

Не скрою, моя трилогия на каждом шагу выдает влияние Йейтса, всего его поэтического мира. По случаю присуждения Йейтсу Нобелевской премии ирландский сенат решил поздравить поэта, что и было сделано, причем адрес изобиловал такими выражениями: «...признание того, сколь многого достигла нация, чей выдающийся вклад в мировую культуру становится очевиден благодаря Вашему триумфу», «...народ, который до настоящего времени не считался равноправным среди других народов», «...имя сенатора Йейтса станет символом нашей культуры», «...всегда сохраняется угроза, что те, кто как будто не склонен к безумию, сделаются его жертвами, подхваченные буйствующей толпой, которой овладе-

[1]Перевод Т.Григорьевой.
[2]Перевод Г.Кружкова.

ла страсть к разрушению».

Йейтс — писатель, примеру которого я хотел бы следовать. Я хотел бы сделать это во благо и другого народа, который также лишь с недавних пор признан «равноправным среди других», но главным образом лишь благодаря достигнутому им в области электроники, технологии и производства автомобилей. И я хотел бы многое перенять у Йейтса как представитель нации, которой тоже овладела присущая буйной толпе «страсть к разрушению». Причем и у себя дома, и на землях соседних народов.

Как человек, живущий в мире, каким он стал сегодня, и хранящий неизгладимые горькие воспоминания о временах прошедших, я не могу вслед за Кавабата сказать о себе, как о «красотой Японии рожденном». Я уже коснулся неопределенности смысла этого выражения, давшего заглавие лекции Кавабата и суммирующего ее главную идею. В дальнейшем я хотел бы использовать слово «многосмысленный», придавая ему то значение, в котором оно употребляется выдающейся английской поэтессой Кэтлин Рейн, — касаясь Уильяма Блейка, она однажды сказала, что он не столько неопределенный, сколько многосмысленный. О себе самом я не могу сказать иначе, чем «многосмысленностью Японии рожденный».

По моим наблюдениям, спустя сто двадцать лет после открытия страны и начала модернизации, сегодняшняя Япония находится как бы между двумя полюсами многосмысленности. И я как писатель живу, чувствуя, что эти полюса отпечатались во мне, словно глубокие рубцы.

Множественность смыслов — настолько важный и всеобъемлющий фактор, что он приводит к глубокому расколу и в жизни государства, и в сознании населяющих его людей, причем этот раскол обретает самые различные проявления. Модернизация Японии проходила под знаком изучения Запада и его имитации. Однако Япония расположена в Азии и неизменно сохраняла традиционную азиатскую культуру. Эта двойственная ориентация Японии привела страну к тому, что для Азии она стала чужеродным агрессивным началом. С другой стороны, культура современной Японии, которая, как предполагается, полностью открыта для Запада, на протяжении долгого времени виделась Западу чем-то смутным, всегда непостижимым или, по меньшей мере, сложным для понимания. Более того, Япония оказалась в изоляции от остальных азиатских стран не только в политическом плане, но также в социальном и культурном.

В истории современной японской литературы наиболее откровенными и ясно сознающими свою миссию стали те писатели, которые начинали сразу после последней войны, — их так и называют «послевоенными»; глубоко травмированные тогдашней катастрофой, они, однако, были полны надежд на возрождение. Всеми силами они стремились как-то исцелить раны, оставленные бесчеловечными злодеяниями японской армии в азиатских странах, а также преодолеть глубокий разрыв, пролегший не только между развитыми странами Запада и Японией, но между Японией и странами Африки или Латинской Америки. Только этим способом полагали они возможным обрести хотя бы шаткое примирение их страны с окружающим миром. Для меня всегда остается живым стремление продолжать ту линию в литературе, которая идет от этих писателей, до самого конца.

Нынешнее состояние японского общества и народа, вступивших в постсовременный период, является также многосмысленным и иным быть не может. Как раз тогда, когда модернизация Японии находилась на середине пути, началась вторая мировая война, которая отчасти и произошла по причине тех просчетов, которые сопровождали модернизацию. Японии и японцам, которые несли вину за то, что война разразилась, поражение в ней дало пятьдесят лет назад возможность попытаться после бедствий и страданий, запечатленных писателями «послевоенной школы», создать новое общество. Моральной основой стремления японцев к подобному возрождению служили идея демократии и решимость никогда не допускать новой войны. Парадоксально, что японцы и Япония, выбравшие для себя эти основы, пришли к ним не по причине своей незапятнанности, а как раз потому, что были запятнаны собственной историей насильственного захвата других азиатских стран. Эти моральные основы также были очень важны в отношении жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, в отношении их детей, которые страдали от последствий радиоактивного заражения (включая десятки тысяч тех, чьим родным языком является корейский).

В последние годы в адрес Японии звучат критические выпады, сводящиеся к тому, что страна должна была бы более широко поддерживать военные усилия Объединенных Наций, тем самым весомее помогая поддержанию и восстановлению мира в различных районах земного шара. Когда мы слышим подобные высказывания, сердце останавливается. По окончании второй мировой войны для нас стало категорическим императивом декларировать в качестве главного пункта новой конституции отказ от войны. Японцы избрали принцип вечного мира как основу морального возрождения после войны.

Я верю, что этот принцип мог бы оказаться наиболее понятным Западу с его давней

традицией терпимости по отношению к сознательному отказу от военной службы. В самой Японии некоторыми силами постоянно предпринимались попытки предать забвению статью конституции, провозглашающую отказ от войны, и с этой целью использовался любой повод, чтобы заговорить об угрозе нашему государству извне. Но убрать из конституции статью, возвещающую вечный мир, было бы не чем иным, как актом измены по отношению к народам Азии и жертвам атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Для меня как писателя не составляет труда представить себе, какими могли бы оказаться последствия этой измены.

Конституция, существовавшая в Японии до войны, подчиняла демократические принципы принципу абсолютизма, и эта конституция пользовалась определенной поддержкой среди населения. И хотя у нас полвека действует новая конституция, в народе по-прежнему сохраняется симпатия к старой, а в некоторых кругах на нее и ориентируются. Если бы Япония выбрала для себя не тот главенствующий принцип, которого мы придерживаемся последние пятьдесят лет, родившаяся на послевоенных развалинах решимость провести настоящую модернизацию, а не ту, что кончилась катастрофой, — эта наша решимость перенять общечеловеческие гуманные принципы увенчалась бы ничем. И мысль о том, что такое было возможно, не оставляет меня, когда я высказываюсь как рядовой человек.

То, что я назвал японской «многосмысленностью», есть вид хронического заболевания, которое то и дело о себе напоминало все новейшее время. Японское экономическое процветание тоже не свободно от этой «многосмысленности», ведь оно сопровождается всевозможными потенциальными опасностями, иметь ли в виду структуру мировой экономики или сохранение окружающей среды. «Многосмысленность» в этом отношении, похоже, будет лишь усиливаться. Вероятно, это более очевидно для мира, критически нас оценивающего, чем для нас, живущих в нашей стране. Когда мы после войны переживали крайнее экономическое обнищание, надежда на оживление придала нам сил. Могут найти такой ход мысли экстравагантным, но все-таки мы, похоже, обрели способность выстоять перед лицом тревог, вызываемых опасностями, которые обнаруживает нынешнее процветание. Есть и иная точка зрения, согласно которой сейчас складывается новая ситуация, когда японское процветание со временем поможет потенциальному расцвету производства и потребления повсюду в Азии.

Я — один из писателей, стремящихся создавать серьезные литературные произведения, противостоящие тем романам, которые всего лишь удовлетворяют запросам потребителей культуры, заполонившей Токио, и субкультур остального мира. Какого рода идентичность следует мне искать как японцу? У.Х.Оден однажды дал такое определение романиста:

...быть с праведными
Праведником, павшим среди павших,
Быть человеком в слабости его,
Смиренно вынося изъяны и пороки.

Вот что составляет мой «принцип будничной жизни» (пользуясь выражением Фланнери О'Коннор), а писательство — это профессия.

Для того чтобы осознать, какого рода японская идентичность для меня желательна, я воспользуюсь словом «достойный», которое было среди наиболее часто употреблявшихся Джорджем Оруэллом вместе со словами «человечный», «трезво мыслящий» и «не роняющий себя», — все это характеристики человеческого типа, наиболее ему близкого. Этот обманчиво простой эпитет может показаться несовместимым с понятием «многосмысленность», создав ему контраст, и меня спросят, почему же я тогда говорю о себе как о «многосмысленностью Японии рожденном». Однако есть явное, даже смешное несоответствие между тем, как выглядят японцы со стороны и какими они хотели бы казаться.

Я надеюсь, Оруэлл не был бы на меня в претензии за то, что я употребил слово «достойный» как синоним «человечный» — того, что французы именуют «humaniste», — ведь оба эти слова включают в себя такие понятия, как толерантность и гуманизм. Среди наших прародителей было несколько таких, кто первыми, не жалея усилий, пытались соотнести японскую идентичность с «достоинством» и «гуманностью».

Одним из таких людей был профессор Кадзуо Ватанабэ, специалист в области литературы и философии французского Возрождения. Работая в атмосфере до безумия накаленных патриотических чувств в разгар и в конце второй мировой войны, Ватанабэ, оставаясь одиночкой, лелеял мечту соединить гуманистический взгляд на человека с традиционным японским восприятием красоты и Природы, которое, к счастью, не было до конца истреблено. Должен тут же пояснить, что у профессора Ватанабэ была собственная концепция красоты и Природы, отличная от той, что изложена Кавабата в его лекции «Красотой Японии рожденный».

Способ, при помощи которого Япония пыталась построить современное государство,

следуя модели Запада, был чреват катаклизмами. Отчасти противодействуя, но до определенной степени и считаясь с этим процессом, японская интеллигенция пыталась преодолеть разрыв между Западом и своей страной, причем сделать это, затрагивая самые глубокие уровни. Это не могло не оказаться тяжелейшей работой, р о д о в ы м и м у к а м и, но мукам сопутствовала и бившая через край радость. Исследования профессора Ватанабэ о Франсуа Рабле были поэтому одним из самых заметных и ценных достижений в японском интеллектуальном мире.

Ватанабэ учился в Париже перед второй мировой войной. Когда он сказал своему научному руководителю о желании перевести Рабле на японский язык, выдающийся французский филолог старшего поколения так оценил притязания молодого японского ученого: «Не имеющий прецедентов опыт перевода на японский непереводимого Рабле». Другой французский филолог сказал еще откровеннее, не скрывая, что он поражен: «Истинный дух Пантагрюэля». Но, вопреки этому скепсису, Ватанабэ сумел осуществить свой грандиозный план в годы нищеты и бедствий, принесенных войной и американской оккупацией, а тем самым в меру своих творческих возможностей способствовал перенесению на почву Японии того времени, где господствовали потерянность и разброд, стиля жизни и образа мысли тех французских гуманистов, которые были предшественниками, современниками и последователями Франсуа Рабле.

И в жизни, и в творчестве я остаюсь учеником профессора Ватанабэ. Он оказал на меня решающее влияние в двух смыслах. Во-первых, речь идет о моем методе сочинения романов. По его переводу Рабле я понял тот принцип, который Михаил Бахтин называет образной системой гротескового реализма, или смеховой народной культурой, то есть важность материальных и физических начал, соотношение между космосом, социумом и физическим миром, тесная соотнесенность смерти и устремленности к новому рождению, смех, который ниспровергает любую иерархичность.

Эта образная система позволила такому писателю, как я, родившемуся и выросшему в провинциальном, отдаленном от центра регионе провинциальной, отдаленной от центра страны — Японии, искать в литературе метод, являющийся универсальным. Опираясь на подобную трактовку творчества, я говорил об Азии не как о новой экономической силе, но только как о стране, соединяющей в себе неизбывную нищету с самыми разнообразными формами изобилия. Пользуясь старыми, известными, но до сей поры не омертвевшими метафорами, я ставлю себя в один ряд с писателями типа Ким Чи Ха из Кореи, Чон И и Му Чен из Китая. Для меня единство мировой литературы состоит в такого рода конкретно обозначенных связях. Я однажды принимал участие в голодовке с требованиями политической свободы для одного талантливого корейского поэта. Сейчас я глубоко озабочен судьбой тех одаренных китайских писателей, свобода которых ущемляется со времени событий на площади Тяньаньмынь.

А во-вторых, профессор Ватанабэ повлиял на меня своей приверженностью гуманистической идее. Я считаю эту идею квинтэссенцией Европы как живой целостности. Это та же самая идея, к которой все время возвращается Милан Кундера, толкуя о духе романа. Основываясь на тщательном изучении исторических источников, Ватанабэ создал несколько критико-биографических книг, в центре которых фигура Рабле, окруженная персонажами от Эразма до Себастьяна Кастеллона, а также женщины, связанные со двором Генриха IV, — от королевы Маргариты до Габриэль Д'Эстре. Ватанабэ хотел таким способом научить японцев гуманизму, прививая им мысль о том, как важен дух терпимости, как уязвим человек перед лицом собственных предрассудков или им же созданных механизмов. Дух абсолютной чистоты перед собой побудил Ватанабэ привести замечание датского филолога Кристофера Ниропа: «Тот, кто не протестует против войны, становится соучастником войны». В своих устремлениях привить Японии гуманизм как главное завоевание западной мысли Ватанабэ не остановился, даже когда ему говорили о «не имеющей прецедентов попытке» и об «истинном духе Пантагрюэля».

Как человек, испытавший гуманистические влияния Ватанабэ, я вижу свой долг романиста в том, чтобы и те, кто выражает себя посредством слова, и их читатели сумели совладать с собственными страданиями и бедствиями своего времени и исцелить свои души от тяжелых ран. Я уже сказал, что чувствую в себе конфликт из-за соединения противоположных полюсов многосмысленности как японских черт. Мною было приложено много стараний, чтобы исцелиться от этих болей и обрести целостность посредством литературы. Мною приложено много стараний, чтобы избавить от этих болей моих японских сограждан, вернув целостность и им тоже.

Если позволите еще раз упомянуть об этом, мой умственно неполноценный сын Хикари был пробужден голосами птиц к восприятию музыки Баха и Моцарта и в конечном счете к созданию собственных произведений. Маленькие музыкальные фрагменты, которыми он начинал, отличались свежестью, радостью и сиянием. Они казались каплями росы на траве. Слово «невинность» включает отрицание «не» и понятие «вина», то есть значит: не имею-

щий, не знающий вины. Музыка Хикари в этом смысле была естественным душевным излиянием, запечатлевшим его невинность.

Чем больше произведений сочинял Хикари, тем отчетливее слышал я в них, не мог не расслышать «голос плача и мрака души». Для умственно неполноценного, как он, напряженные усилия, увенчавшиеся созданием музыки, то, что его «принцип будничной жизни» соотносился с постижением техники композиции и углублением осознанного начала, помогло ему обнаружить в глубинах собственного сознания мрак печали, которую он прежде был не в состоянии выразить словами.

«Голос плача и мрака души» прекрасен, а передавая этот голос музыкой, Хикари исцеляется от своей мрачной печали: происходит акт духовного выздоровления. Более того, его музыка воспринимается как способ исцеления, оздоровления и для тех, кто его слушает. Вот что дает мне основание для веры в верховную силу искусства.

Эта моя вера не является полностью доказательной. Однако «слабый человек», такой, как я, опираясь на свою недоказуемую веру, хотел бы «смиренно выносить изъяны и пороки», которые выявило XX столетие в результате чудовищного развития техники и коммуникаций. Как человек, ведущий провинциальное, маргинальное, далекое от магистрали существование, я пытаюсь обнаружить, как я могу что-нибудь сделать для излечения и примирения человечества, способствуя этому своей, как мне бы хотелось надеяться, непритязательной, однако достойной и гуманной деятельностью.

Перевод с английского НАТАЛЬИ СТАРОСЕЛЬСКОЙ

■

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ
ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД?

Заглавие романа, пять лет назад принесшего Т. Корагессану Бойлу самый большой успех за его литературную карьеру, конечно, предполагает некоторую игру с читателем. Не только в том смысле, что сразу появляется эффект узнавания: еще бы, и не открывая книг Киплинга, кто же не слышал, что есть у него знаменитые строки про Восток и Запад, которым «не встретиться никогда». Однако американскому прозаику важнее, что это узнавание — ложное. Лишь по невежеству можно полагать, что Киплинг писал о несовместимости двух цивилизаций. На самом деле он писал об их встрече или, как теперь бы выразились, диалоге. А поскольку и для Корагессана Бойла это главная тема (или, по меньшей мере, создающая сюжет), стоит напомнить прославленную киплинговскую «Балладу», которую, кажется, не часто перечитывают.

Кое-что из нее, кстати, повторено в событийной канве романа, называющегося «Восток есть Восток» (см. «ИЛ», 1994, № 8): скитания в дебрях, преследование, поединок. И не суть важно, что герой этого романа, бывший помощник кока на японском сухогрузе, терпевший унижение за унижением, вовсе не схож с лихим Камалом, который так ловко похитил любимую кобылу английского полковника. А уж тем более не схож с бросившимся в погоню полковничьим сыном агент Иммиграционной службы Эберкорн. Тот действовал с бесстрашным напором, рискуя головой и демонстрируя достоинства истинного рыцаря, а Эберкорн чуть ли не дегенерат, которому, впрочем, хватает изобретательности подстроить ловушку, прибегнув к коварству на грани подлости.

Тем не менее Киплинг непременно вспомнится, если рассматривать книгу Корагессана Бойла как некий палимпсест. Так называли старые пергаменты, на которых, если приглядеться, различимы строки, стертые, чтобы нанести другие. Сейчас больше в ходу панибратское определение «матрешка», и отчего-то считается, что лишь постмодернизм сделал привычными такого рода тексты, вбирающие в себя рудименты других, ранее созданных текстов или осознанно с этими текстами соотносящиеся. Но как тип поэтики палимпсест существовал, когда о постмодернизме не было и помину: не считать же постмодернизмом гигантские пласты литературы от шекспировских хроник до поэзии Давида Самойлова. Роман Корагессана Бойла соприкасается с этой литературой прямо и непосредственно.

И дело не только в том, что повествование пестрит набранными курсивом цитатами из Юкио Мисимы, в свою очередь часто представляющими собой только переложение текстов Дзётё, которому принадлежит трактат о самурайской этике, глубоко повлиявший на одного из самых ярких японских писателей нашего времени. Эти параллели самоочевидны и подчеркнуты, а палимпсест — это присутствие каких-то важных ассоциаций, которые как раз едва распознаваемы, почти зашифрованы.

Они обнаружатся, но пока займемся теми, которые лежат на поверхности, — перекличками с японскими текстами. Уместность и необходимость таких перекличек в романе легко объяснить, восстанавливая историю несентиментального воспитания его главного героя. Помните? Он ведь, удирая с сухогруза, захватил с собой свое единственное сокровище, книжку Мисимы, переложившего главные идеи Дзётё. И эта книжка остается с ним до самого конца.

Когда-то семнадцатилетним подростком, мучившимся своей неполноценностью в глазах окружающих, Хиро Танака случайно отыскал самурайский кодекс чести в обработке Мисимы и был потрясен явленным ему откровением. С той поры он уже не грезил о завоевании собственного места в обществе, которое «помешалось на вещизме, заразилось мелочностью». У Хиро окрепло чувство, что он лучше и чище тех, кто его изводит, называя презренным «гайдзином» — полукровкой, белой вороной, паршивой овцой, с которой не взять и клока шерсти. Что на самом деле его мучители, пусть в расовом отношении они стопроцентные японцы, стали «нацией клерков в белых рубашках и европейских костюмах», напоминая «племя дрессированных обезьян», которых выучили изготовлять высококачественные магнитофоны. А вот он, Хиро Танака, будет другим, он сумеет отринуть « материальное, плоское да и самое смерть». Он одержит нравственную победу, как учил Мисима. И еще прежде — Дзётё.

Итак, становление личности, вдохновляющейся чьим-то примером? У кого-то,

возможно, и возникнут ассоциации хотя бы с историей Дон Кихота, который восторженно поглощал рыцарские романы, чтобы затем от чтения перейти к действиям по книжному образцу. А переносясь в более близкие времена, кто-то, допустим, вообразит юношу, «обдумывающего, делать жизнь с кого», — Маяковский рекомендовал: «Делай с товарища Дзержинского». Ему бы в руки трактат Дзётё, этому юноше, ему бы в самую пору призывы ради великого дела покончить с «обычным состоянием духа», признать сущей иллюзией свободу воли и т.п. Понятно, между бескомпромиссным самураем и «железным Феликсом» существуют некоторые различия, но не такие уж принципиальные. В конце концов, преобладающим побуждением и там, и тут остается фанатизм, вытеснивший все живое.

Но от соблазнов вроде бы напрашивающихся уподоблений все же следует избавиться уже по той причине, что Корагессан Бойл написал книгу, лишь внешне напоминающую роман воспитания.

А на самом деле результаты воспитания героя — или самовоспитания, неважно, — интересуют писателя намного меньше, чем сама его одиссея в чужой стране и неприемлемой духовной среде. Контакт, столкновение, сближение или, напротив, несочетаемость, — одним словом, встреча совершенно разнородных культур, состоявшаяся после бегства Хиро с корабля, определила и замысел романа, и его магистральный сюжет.

Вот отчего, соотнося книгу с палимпсестом, надо прежде всего назвать не Мисиму и не Дзётё, сколько бы ни приводилось из них цитат, а Киплинга, пусть он упомянут, и то без имени, лишь в заглавии. Но для Киплинга основной темой неизменно оставалась именно эта: вправду ли никогда не встретятся, не найдут общего языка Восток и Запад, и за кем правота в их вечном споре, и возможно ли преодоление этого антагонизма здесь, на земле, или понадобится суд у Престола Божия? А для Мисимы, не говоря уже о его предтече, собственно, не существовало таких вопросов. Их нет ни в «Золотом храме», ни в «Исповеди маски», книгах, принесших японскому мастеру мировую славу, а не так давно наконец-то ставших и достоянием наших читателей.

Мы теперь можем оценить и накаленный драматизм этой прозы, и постоянно (хотя, может быть, непреднамеренно) возникающие в ней переклички с философскими коллизиями Достоевского. Вообще можем оценить масштаб и яркость творческой личности Мисимы, художника, обладающего исключительно сильным дарованием. Совершенно естественно, что его сопоставляют с теми мастерами, которые черпали вдохновение, обращаясь к вечным или, скажем осторожнее, труднейшим проблемам человеческого бытия. Подразумевая современников, Мисима никому из этих мастеров не уступит, но и отличается ото всех: тем, что его повествование по самому своему существу монологично.

Оно отвергает даже допущение, что существует неложная система ценностей, противостоящих запечатленным в «Хакагурэ» или хотя бы не укладывающихся в формулы этого средневекового самурайского трактата, к которому Мисима написал комментарии. Оно заряжено пафосом проповеди, и настолько сильным, что проповедующему, очевидно, доступны какие-то непреложные истины. Оно всякий раз мыслится автором как опыт духовного целительства, которое призвано произвести оздоровление социума. Неуверенность в себе, сомнения, «мильон терзаний» вступающими в этот мир — и принявшими его — должны быть отметены с порога.

Киплинг все-таки совсем другой, что бы ни говорилось о его амбициях пропагандиста иллюзорных непреложностей. Разумеется, и у него тоже ощутима предвзятость, приправленная спесью колонизатора, который отягощен сознанием «бремени белых», взваленного на свои плечи. Он бывает и велеречив, и ригористичен, но лишь недоброжелатели обвинят Киплинга в глухоте и нетерпимости к другому мнению, другой позиции. Этого у него нет. Построив «Балладу о Востоке и Западе» как описание поединка, он изображает противоборство равных, иными словами, создает ситуацию, которую без натяжек признали бы диалогической. У Мисимы ничего подобного нельзя и вообразить.

Его герои не дискутируют, не допускают и мысли, что у антагониста тоже может быть своя правота. Они лишь стараются искоренить все человеческие слабости, постигая высшую необходимость действовать без колебаний, чтобы не превратиться в труса, и обретая чувство счастья в том «союзе лучезарной молодости со смертью», который всегда волновал Мисиму как самая притягательная тема.

Она доминирует в рассказе «Патриотизм», сделавшемся как бы визитной карточкой японского писателя. И хотя у Корагессана Бойла отсутствуют прямые отсылки к этой хрестоматийной новелле, она, можно не сомневаться, входила в набор текстов, перевернувших представления о жизни, которые складывались у юного Хиро Танака. Эта новелла, изображающая неудавшийся офицерский путч, завершается сценой харакири, к которому в абсолютно безвыходной ситуации прибегает поручик, заставляя последовать за собой и жену, пусть ей далеки понятия самурайской чести, что превыше жизни. Развязка романа американского пи-

сателя выглядит почти как цитата, возвращающая к самым знаменитым страницам Мисимы.

Для чего эта прозрачная аналогия? Ведь ход действия у Корагессана Бойла, а главное, его мотивация совершенно иные. И Хиро — никак не фанатик. В общем-то — и не японец, если под типичным японцем подразумевать воина-ронина или гения дзюдо в исполнении Тосиро Мифунэ.

Но, может быть, самое яркое впечатление от этой книги — сгущающееся от эпизода к эпизоду ощущение несвободы, когда герой, затравленный, загнанный и преданный, оказывается вынужден прибегнуть к страшному ритуалу, как к последнему жесту, символизирующему непримиренность, и становится воплощением самурайской психологии вопреки всей своей человеческой сущности. К такой развязке роман подводит ненавязчиво и логично, однако, в отличие от Мисимы, она лишена оттенков трагического героизма. В ней только вынужденность и никакой патетики.

Для рассказываемой истории с самого начала ключевое значение приобретает тот факт, что герой по рождению принадлежит Востоку не больше, чем Западу, и все время сознает свою невольную раздвоенность. Он не только наполовину американец, он сын хиппи, одного из безобидных бунтарей, которые лет тридцать назад искали истину жизни в дзэн-буддизме и старались постичь ценности Востока, отвергая западную цивилизацию за то, что она разошлась с духовностью.

Генеалогия этого поколения знакома всем любящим американскую прозу. Самое глубокое художественное свидетельство о нем — Сэлинджер, рассказ «Тедди» и повесть «Выше стропила, плотники». В ней, между прочим, есть эпизод, непосредственно соотносящийся с потрясающей сценой сожжения храма в романе Мисимы: когда Симору Глассу было двенадцать лет, он бросил камнем в прехорошенькую девочку, игравшую с котенком, так как не мог вынести мысль, что на земле возможна такая совершенная и недоступная красота. Реальный случай, навеявший сюжет Мисиме и метафорический ход Сэлинджеру, — поджог буддийского храма в Киото, считавшегося святыней, — произошел в 1950 году. Повесть Сэлинджера напечатана в 1955-м, роман Мисимы — еще год спустя.

Тут, кажется, впору вспомнить пушкинское: «Бывают странные сближенья». Но странными их в общем-то не назвать. Существовал достаточно сильный импульс, предопределивший одно время характерное для западных интеллектуалов увлечение идеями вечного круговорота жизни и учением о воздаянии за все доброе и злое, что ты сотворил (карма). Существовала атмосфера, когда кто-то из сэлинджеровских Глассов вполне мог бы оказаться знаком с отцом Хиро, поскольку все это был один, не такой уж тесный круг. При всем прозаизме, а подчас и трагикомичности обстоятельств своего появления на свет Хиро — дитя этой атмосферы, когда стали рушиться перегородки, делавшие общение Востока и Запада затрудненным или вовсе невозможным. Его отца тянуло к Востоку, сам он задумывается об Америке, и не подозревая, как сильно будет обманут. Идея соприкосновения восточного и западного миров присутствует в романе изначально, создавая важнейший повествовательный узел. И трагическая развязка также предуказана, но неотвратимой ее делает вовсе не то обстоятельство, что соприкоснувшиеся миры несовместимы.

На самом деле ходом вещей они сближаются больше и больше, но одновременно лишь усиливается инерция готовых мнений, накапливавшихся десятки, если не сотни лет. И представления, окрашенные то примитивностью, то фантастикой, по сути, снимают саму идею диалога, хотя для него сейчас как будто созданы все предусловия. И на исходе XX века грезы о всемирной культуре, синтезе духовных ценностей, единстве человечества, обретенном вопреки этнической и национальной разнородности, — все это оказывается не меньшей отвлеченностью, чем теории просветителей, впервые провозгласивших прекрасные, но такие расплывчатые идеи братства и сродства.

Ясно, отчего эта тема привлекла внимание американского прозаика. Он с первых же своих рассказов, а потом в романах — «Пробуждающиеся надежды», «Конец мира», получившем Фолкнеровскую премию, — старался, воссоздавая будничное, касаться дилемм неочевидных, но значительных. А может ли быть что-то значительнее, чем дилемма Восток/Запад, пока в этих отношениях по-прежнему преобладают незнание, непонимание, недоверие?

Сколько философских и культурологических доктрин было создано ради объяснения — и возможного преодоления — этой разделенности, сколько предлагалось вариантов органического сочленения: от идеи мировой литературы, владевшей мыслями стареющего Гёте, до нашего евразийства. Но и по сей день антагонизма намного больше, чем желания выслушать и понять другую сторону без предубежденности, пусть давным-давно в глубокомысленных, уснащенных новейшим интеллектуальным жаргоном рассуждениях о Востоке, ни в чем не схожем с Западом, повсюду видны «белые нитки и истертые локти».

«Истертые локти»— из письма Тургенева Герцену 23 октября 1862 года: «Мне начинает сдаваться, что в столь часто повторяемой антитезе Запада, прекрасного сна-

ружи и безобразного внутри — и Востока, безобразного снаружи и прекрасного внутри, — лежит фальшь, которая еще держится даже в замечательных умах — что она, во-первых, не сложна и удобопонятна, а во-вторых a l'air d'être tres ingênieuse et neuve. Но и все твое красноречие не спасает ее от зияющей могилы».

Вот в последнем утверждении Иван Сергеевич как раз ошибся, поскольку и теперь те же самые материи укладываются в удобопонятные антитезы, а в шаблонных антитезах — странное дело! — все так же находят что-то необычайно изобретательное и дерзостно новое. Спор Тургенева и Герцена, начавшийся с их лондонской встречи в 1856 году, вертелся вокруг «социально-славянофильской браги» и отозвался потом в полемике Лаврецкого с Паншиным в «Дворянском гнезде», а подразумевая Герцена — в «Концах и началах». До чего актуален и век с четвертью спустя сюжет, казалось бы, полностью принадлежащий истории русской литературы, и до чего выразительно характеризует эта полемика нынешние умонастроения. Если, конечно, не придавать чрезмерной важности тому, что для российских литераторов за нею стояла отечественная злоба дня, сводившаяся к опасениям, что после реформы мужики явятся «буржуазией в дубленом тулупе».

Этого Тургенев, как выяснилось, опасался зря. А вот мифы о нравственно разъеденном западном обществе, которому противостоит неразвитый, загрубелый, но мистически светоносный Восток, и сегодня все те же популярные мифы, которые обладают способностью зачаровывать сознание. И та же идея противостояния, разводящая Восток и Запад по разным полюсам, все еще постоянно извлекается на свет, чтобы, говоря тургеневским языком, произнести «диагнозу современному человечеству».

Не об этом ли роман Корагессана Бойла? С одним уточнением: для него тут не кабинетный спор, а живая реальность. С нею теперь приходится сталкиваться на каждом шагу.

Мимоходом упомянутые в произведении вьетнамцы, которые, став жителями Калифорнии и обзаведясь микроволновыми печами (наверняка сделанными на американских заводах японских фирм), жарят в этих духовках собак, — превосходный по яркости образ того будничного Вавилона, каким предстает современный мир на самых разных его широтах. У себя в Лос-Анджелесе агент Иммиграционной службы давно привык к невообразимому смешению лиц и состояний: турки поджигают ковровые лавки иранцев, гватемальцы палят в сальвадорцев, и уж наверняка есть растянувшийся на километры чайнатаун с его декоративными буддами и распорядком жизни, ничуть не изменившимся из-за того, что вокруг не рисовые поля, а мегалополис, навевающий мысли об урбанизме XXI века. А где-нибудь поблизости отыщется сборный пункт вуду-истов, практикующих те же шаманские ритуалы, которые отправляли в джунглях и тысячу лет назад. А чуть дальше потянутся кварталы, заселенные камбоджийскими беженцами, или мексиканцами, едва объясняющимися по-английски, или недавними гражданами Мозыря и Житомира, дождавшимися своих вожделенных зеленых карт, — и все это, во всяком случае номинально, один мир, Соединенные Штаты, Запад.

Почти полтора века непоколебимым доверием пользовалась идеология «плавильного котла»: в Америке, стране иммигрантов, каким-то образом соединятся, переплетутся, притрутся один к другому элементы самых разных культур, этническое отступит перед всечеловеческим, возникнет народ народов, сочетающий в себе лучшее и наиболее устойчивое, что выработано каждой общностью. До какой-то степени прогноз оправдался, но лишь до какой-то степени. Во всяком случае, под конец этого уникального эксперимента выяснилось, что у многих или хотя бы у некоторых общностей — прежде всего восточных и африканских — путь через «плавильный котел» увенчался сознанием своей особости и уникальности, причем уж никак не менее сильным, чем чувство приобщенности американскому единству. На исходе века перевешивает, пожалуй, как раз первое, хотя ясно, что о таких вещах можно говорить только предположительно.

Но уже без всякой предположительности можно сказать, что тут есть проблема, причем все более отчетливо ощущающаяся с ходом времени, хотя периоду переплавки вроде бы давно пора завершиться. И проблема, помимо прочего, состоит в том, что при интенсивности бытовых контактов духовное размежевание уж по меньшей мере не стирается. Да и не может быть иначе, ведь стремление замкнуться в пределах своей этнической общности неизбежно порождает мифологию о собственном этносе и ощущение чужеродности всех остальных. А такая мифология обладает одним неискоренимым свойством — она моментально перерождается в набор закаменевших клише, которые можно назвать предрассудками, самообманами, фобиями, но невозможно хоть очень приблизительно соотнести с истиной.

Возникают по-своему логично построенные, но чаще всего чрезвычайно неточные языки, системы представлений и ценностей, и они не предполагают общения с другой языковой группой, у которой иные понятия и жизненные стимулы. А вслед этому начинаются разговоры о таинственной цельности восточного менталитета и плоской одномерности западного или наоборот — важен

не тон оценок, важна категоричность размежеваний и противопоставлений. Это далеко не такое невинное занятие, как могло бы показаться. Читатели Корагессана Бойла получили возможность удостовериться, что тут исток тяжелых жизненных потрясений.

Опять вспомнится Киплинг с его романтикой, которая многим видится безвкусной, с его риторикой, всеми этими «дар за дар» и «риск за риск». И с твердой убежденностью, что «обычай для всех один». Но Хиро на своем травмирующем опыте убедился: нет, разный. Вот откуда все его злоключения, от непереносимости существования в качестве изгоя, каким в японском окружении сделала героя текущая в нем отцовская кровь, и от невозможности обрести американское самосознание, даже если бы, как мечталось, он сумел добраться до больших городов, где понятия более широкие, чем в патриархальной Джорджии.

Но и там остался бы некий барьер, которого не перейти. И лишь прекрасной грезой выглядят для прочитавших историю Хиро заключительные строки киплинговской баллады, где сказано, что «нет Востока и Запада, нет, если двое сильных мужчин, рожденных в разных концах земли, сошлись один на один».

Так бы и должно быть, и вовсе не обязательно, чтобы ощущение равенства приходило лишь в поединке сильных. Однако реальность такова, что совершенный Хиро «прыжок в неизвестность, навстречу гибели» увенчивается для героя лишь новыми унижениями, затравленностью и трагическим концом. То, что Мисима называл «взрывом чистого действия», быть может, и способно стать проверкой душевных качеств личности в ситуации из тех, которые принято называть экстремальными. Но власть предубеждений и стереотипов такие взрывы разрушить не в состоянии. Пожалуй, наоборот, лишь помогают закрепиться поверьям, — во всяком случае, подразумевая самый распространенный, чтобы не сказать банальный взгляд на Японию, который утвердился в массовом сознании, и не только американском.

Правда, у типового американца тут свои мотивы и счеты. Что-то осталось еще со времен войны, когда усиленно лепили образ врага, что-то возникло в качестве примитивного оправдания или психологической компенсации за потаенное чувство вины, вызываемое Хиросимой. А теперь ко всему этому прибавляется непереносимый для обывателя факт массированного и успешного экономического наступления японцев: их автомобили продаются лучше, чем отечественные, им принадлежат небоскребы на Манхэттене, под их контроль переходят голливудские студии... Какой удар по национальному самолюбию!

Но, за вычетом этой ущемленности, в общем-то легко вычленить общеупотребительные особенности восприятия японского менталитета, насколько сама категория неэфемерна, — с такими моментами сталкиваешься повсюду. Для человека толпы непреложна уверенность, что сугубо японский менталитет не только существует, но поддается легкой дешифровке. Кстати, представления о нем очень во многом созданы историей Мисимы. Ее в свое время облюбовала индустрия новостей, так что о неудавшемся штурме казармы и последовавшем за этим харакири хоть краем уха слышал едва ли не каждый. И вот он, убедительный пример в подтверждение старой истины, что волка сколько ни корми, он все в лес смотрит. Не так ли и японцы? Им, конечно, удалось совершить промышленное чудо, по части ультрасовременных технологий они обогнали даже Америку, у них невероятная электроника, оптика и пр. Но на поверку они как были, так и остались азиатами, иначе говоря, жестокими фанатиками и коварными дикарями.

Мученический путь Мисимы к леденящему душу финалу, режущий глаз элемент театральности, пусть проливается не клюквенный сок, а самая настоящая кровь, — для сознания, находящегося в плену стереотипов, все это не обладает ни малейшим значением. Важен лишь сам жест, бесконечно тиражируемый телеэкраном. Важна лишь гладкость формулы, освобождающей от необходимости что-то сопоставлять и над чем-то задумываться.

В Америке Хиро придется все время сталкиваться с этим мышлением формулами. Они бывают обезоруживающе прямолинейными («про япошек надо уразуметь главное: это примитивнейшая нация на свете»), или подкрашенными экзотикой («харакири, камикадзе, самураи и все такое»), или даже с претензией на интеллектуальность («манеры, вот что для вас самое главное. Общество создается манерами»), но все равно это только формулы, готовые блоки, окостеневшие стереотипы. Парад стереотипов — не это ли ключ к построению рассказа у Корагессана Бойла? Он не боится почти плакатной наглядности даже в эпизодах, которые, кажется, требовали бы трагического накала. Сыщик с его неандертальской психологией, охотник за рыбками-альбиносами, ставящий целью жизни отыскать еще не описанный вид, богатая старуха, которая посещает симфонические концерты, — все они в плену таких стереотипов, просто у каждого свои. И нескончаемым потоком они тянутся через повествование, создавая внешне связную, но на поверку фантастическую картину чужой реальности, откуда незваным гостем явился на остров Тьюпело Хиро Танака: сацумский фарфор — метод Судзуки —

трудитесь, как один большой улей, — икебана — чайная церемония — гейши — роботы в робах — сакура — волосатый айну...

Больше всего впечатляет непробиваемая уверенность, что из этих ромбиков и фигурок, как в детской игре, можно сложить очень понятную картинку с Фудзиямой, телевизором «Сони» и черепашкой ниндзя, а присутствие этих непреложностей обеспечивает здравое и веское суждение о японском образе мира. Последнее время такие забавы сделались модой и в сфере высокой культурологии, не исключая российской, где опыты построения «национальных образов мира» чаще всего столь же изобретательны и убедительны, как теории, которые перед голодным Хиро развивала дама-меломанка, сдуру принявшая беглого поваренка за выдающегося дирижера японского происхождения.

Но культурологические выкладки, основанные на предположении, что острый соус к шашлыку и обязательность обрезания преотлично объясняют образ мира, созданный бедуинами, остаются невинным жонглированием фикциями, и только. Опасность возникает, когда схожие идеи овладевают массами. Это Хиро почувствовал на собственной шкуре. За ним гонятся, его травят, устраивают на него охоту вовсе не оттого, что так уж криминален безвизовый въезд в страну. Такое то и дело происходит на мексиканской границе, да и «Маленькая Япония» посередине Нью-Йорка населена и теми, кто сумел обвести ведомство иммиграции вокруг пальца. Но Хиро — случай особый, потому что в нем не хотят увидеть всего лишь несчастного подростка, которого издевательствами буквально вынудили к «прыжку в неизвестность». Для толпы, преследующей его на острове, а потом в болотах, он вообще не человек, а преимущественно некий знак, олицетворение того самого «образа мира», который вызывает у нее неприятие, да что там, нескрываемое отвращение. И самый обычный эпизод из полицейской хроники, о котором скорее всего упомянули бы двумя строчками на двадцатой полосе, благодаря власти стереотипов превращается в драму, где главному герою противостоит сонмище врагов, которые, «как стервятники, ждут кровопролития, насилия, уголовщины... эксцессов и унижения, словно лекарства, чтобы разорвать коросту скуки на своей жизни».

О состоянии общества, питающего неодолимую склонность к такой терапии, сильно написанные сцены погони говорят очень выразительно. Никто не обвинит автора в предвзятости по отношению к Востоку. Уж скорее наоборот, слишком тягостны картины будничности, в которую окунулся герой, дезертировав с судна.

Писательская колония, где все коттеджи носят имена поэтов-самоубийц, а само имение называется «Танатопсис», т.е. «Обитель смерти», — вот образец той плакатности символов, которая и прежде отличала Корагессана Бойла, а в его наиболее известном произведении только усилилась. Фигура неудачливого ихтиолога Саксби даже кажется позаимствованной из какого-нибудь откровенно антиамериканского романа классом пониже, чем «Тихий американец» Грэма Грина. Как не вспомнить эту эфемерную прозу, читая описание неизменного распорядка жизни наследника поместья, оставленного миллионером, который отравился лошадиной дозой секонала: «Погрузиться в воды Атлантики, в вечное качающееся безмолвие морского дна; потом первый благоуханный глоток водки; Рут; крабное печенье и салат из цикория; бренди; бильярд; любовь».

Подумается: Тургенев не понапрасну восставал против принижения Запада, «безобразного внутри». Но в оправдание Корагессана Бойла надо заметить, что у него и Восток безобразен не только снаружи. Будни камбуза остались в памяти Хиро сущим адом из-за того, что он был «поганым маслоедом», вечным чужаком, парией. И напоминания о расовой неполноценности глубоко его ранили, как бы ни убеждал себя Хиро, что ему, читателю Дзётё и Мисимы, доступен уровень, «где земные тревоги и боль не имеют значения». Восток — так это почувствовал Хиро — тоже символ нетерпимости. Ведь бежать он был просто принужден, поняв, что метисам в Америке легче, чем в японском обществе, не признающем чужой крови.

Представления об Америке у него не менее формульны, стереотипны и плоски, чем бытующие понятия американцев обо всем японском. Хиро видится что-то наподобие гигантской бесплатной обжорки, зачем-то предоставленной в пользование лодырям и неряхам, о которых его японские сородичи отзываются даже не с ненавистью, просто с презрением. Он и сам пропитался этим презрением, лишь усиливающимся по мере близкого знакомства. И хотя где-то он вычитал, что Филадельфия основана квакерами, а оттого именуется Городом Братской Любви, доверие героя к этой простой метафоре подорвано задолго до конца действия.

Отчего?

Трудно ошибиться с объяснением, тем более что автор его подсказал. И заглавием книги, носящим оттенок невеселой иронии. И подразумеваемыми отсылками к Киплингу, который выглядит безусловным оптимистом на фоне того, как та же коллизия Восток/Запад осмыслена у Корагессана Бойла. И тональностью, усиливающейся с каждым эпизодом.

А намечена эта тональность сценой

первой встречи Хиро с Рут, сыгравшей такую большую роль в его судьбе. Хиро для нее поначалу «просто большой ребенок, напуганный, больной и голодный». И это самые верные слова о нем, пусть Рут затем от них отречется: не публично, так, в помыслах и последовавших за ними действиях, направлявшихся заботой об одной себе, что было синонимично предательству.

Оправдания, разумеется, нашлись, но не нашлось искупления той минуте, когда среди болота она, выполнявшая функцию приманки, опять увидела перед собой «несчастного измученного мальчика» и помогла его схватить. С первых страниц готовившаяся развязка все равно оставляет жестокое впечатление. Все сказано с ясностью и до конца, хотя автор обошелся без шокирующих деталей. За вычетом самых необходимых.

У Мисимы соответствующий эпизод в «Патриотизме» выписан более подробно и — обычное, хотя, возможно, недостоверное впечатление — даже с привкусом мазохизма. Корагессан Бойл этого избегает, ему важны иные коннотации. Не та безусловность выбора смерти, о которой говорит Мисима, поставив своего поручика в ситуацию, когда под угрозой честь. Скорее — безвыходность, униженность, предательство, коротко говоря, положение, когда, по слову поэта, «житье тошней недуга». И оно, по логике романа, неотвратимо, это положение всеми травимого и для всех чужого, всем внушающего антипатию, если не озлобленность. А причина лишь та, что Восток есть Восток и Запад есть Запад, тогда как Хиро Танака не принадлежит ни тому, ни другому, он между.

Скажут, что состояние «между» в принципе нормально и естественно для людей, не ослепленных шовинизмом. Что границы должны быть прозрачными, а диалог неиллюзорным, что миру надлежит стать единым культурным пространством, а все старания избороздить его рвами и обезобразить надолбами отдают анахронизмом.

По существу все это безусловно верно. Но, увлекшись повторением такого рода неоспоримых истин, мы нечасто вспоминаем о реальности, где пока что существуют — и в каком изобилии! — рвы, и надолбы, и барьеры непонимания, усиливаемые нежеланием хотя бы выслушать другого. Где происходят вспышки фанатизма, подпитываемого страхом за незыблемость этнических, конфессиональных, культурных рубежей, и производятся чудовищные насилия, которые всегда пробуют оправдать разговорами об ущемленной национальной гордости. Где на такой почве завязываются — и без репетиций, без возможностей что-то поправить и смягчить, — разыгрываются драмы поистине жестокие — как та, о которой мы узнали, последовав за Хиро Танака, когда он прыгнул за борт у побережья Джорджии, закрепив обернутую в целлофан книжку Мисимы на груди, ближе к сердцу.

■

АЛЬБЕР КАМЮ (ALBERT CAMUS; 1913 — 1960) — французский писатель, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии (1957). На русский язык переведены многие его произведения, в том числе роман «Чума» («La peste», 1947, р.п. 1969), повесть «Падение» («La chute», 1956, р п.1969), пьеса «Калигула» («Caligula»,1944). В «ИЛ» напечатаны: повесть «Посторонний» (1968, № 9), пьесы: У. Фолкнера и А. Камю «Реквием по монахине» (1970, № 9), «Осадное положение» (1990, № 10), главы из книги «Человек бунтующий» (1990, № 5,6), роман «Счастливая смерть» (1992, № 2), рассказ «Ренегат, или Смятенный дух» (1993, № 3) и др.
Главы из романа «Первый человек» печатаются по изданию 1994 года («Le premier homme». Paris, Gallimard).

РЕНЕ ШАР (RENÉ CHAR; 1907 — 1988) — французский поэт и автор лирической прозы; в годы второй мировой войны — участник Сопротивления. Автор книг «Листки Гипноса» («Feuillets d'Hypnos», 1946), «Ярость и тайна» («Fureur et mystére», 1948), «К судорожной безмятежности» («A une sérénite crispée», 1951), «Поиск основания и вершины» («Recherche de la base et du sommet», 1955), «Слово-архипелаг» («La parole en archipel», 1962) и др.
Публикуемые стихи взяты из книги «Рене Шар. Избранные стихи и проза» (René Char. Poèmes et prose choisis». Paris, Gallimard, 1963).

ДЖЕРОМ ДЭВИД СЭЛИНДЖЕР (JEROME DAVID SALINGER; род. в 1919 г.) — американский писатель. Широкую известность принес ему роман «Над пропастью во ржи» («The Catcher in the Rye», 1951; опубликован в «ИЛ», 1960, № 11). В русском переводе вышел также сборник «Грустный мотив» (М., 1963), куда вошли многие его рассказы, сборник повестей и рассказов «Выше стропила, плотники» (М., 1965). В «ИЛ» напечатан рассказ «Тедди» (1982, № 10).
Рассказ «Раз в неделю - тебя не убудет» («Once a week won't kill you») был напечатан в журнале «Story» XXV (Nov.—Dec., 1944).

ТИМОТИ ФИНДЛИ (TIMOTHY FINDLEY; род. в 1930 г. в Торонто) — канадский писатель. Учился в Лондоне в Центральной театральной школе. Возвратясь в Канаду, работал актером в театре, на телевидении и радио. Начал писать прозу в пятидесятые годы и, получив одобрение Торнтона Уайлдера, посвятил себя литературе. Теме второй мировой войны посвящен первый роман Т. Финдли «Последний из безумцев» («The Last of the Crazy People», 1967). Из последующих его произведений наиболее известен роман «Войны», удостоенный премии Генерал-губернатора («The Wars», 1977; Governor-General's Award).
Перу Т. Финдли принадлежит также пьеса «Ты еще меня видишь» («Can You See Me Yet», 1977), поставленная в Национальном центре искусств в Оттаве, сборники рассказов «Обед на берегу Амазонки» («Dinner Along the Amazon», 1984), «Камни», из которого взят одноименный рассказ («Stones». Toronto, Penguin Books, 1989).

ИВО АНДРИЧ (IVO ANDRIĆ; 1892 — 1975) — югославский сербский писатель, академик, лауреат Нобелевской премии, премии Антифашистского веча Народного освобождения Югославии и других литературных и общественных премий. Произведения Иво Андрича — романы «Мост на Дрине» («Na Drini Ćuprya», 1945), «Травницкая хроника» («Travnička kronika», 1945), «Барышня» («Gospodica», 1945), повести и рассказы многократно издавались в нашей стране. В «ИЛ» печатались рассказы и очерки (1966, № 7; 1975, № 11; 1980, № 6; 1984, № 10), статьи о его творчестве.
Фрагменты книги «Знаки вдоль дороги» и эссе Иво Андрича печатаются по изданию: И. Андрић. Сабрана дела, тт. 10, 14, Београд, 1977.

ЭРИХ КЕСТНЕР (ERICH KÄSTNER; 1899 — 1974) — немецкий писатель, поэт, публицист, автор многочисленных книг для детей, лауреат международных премий, был президентом ПЕН-клуба ФРГ. На русский язык переведены: роман «Фабиан» («Fabian», 1931), «Эмиль и сыщики» («Emil und die Detektive», 1928), сборник стихов «Маленькая свобода» («Die kleine Freiheit», 1952), автобиографическая проза «Когда я был маленьким» («Als ich ein kleiner Junge war», 1957).
В 1995 г. в издательстве «Прогресс» выйдет двухтомник «Эрих Кестнер для детей» и «Эрих Кестнер для взрослых».
«Дневники» Э. Кестнера, фрагменты из которых публикуются в номере, печатаются по изданию «Notabene 45». Zürich, Atrium Verlag, 1961.

РОАЛД ДАЛ (ROALD DAHL; 1916 — 1991) — английский писатель, поэт, родом из Норвегии. В годы второй мировой войны был военным летчиком. Первые рассказы Р. Дала, отражавшие его военный опыт, вошли в сборник «Тебе» («Over to You», 1946). Известность писателю принесли рассказы из более поздних сборников «Вроде тебя» («Someone Like You»), «Двадцать девять поцелуев» («Twenty-Nine Kisses»), «Чарли и шоколадная фабрика» («Charlie and the Chocolate Factory»), «Огромный крокодилище» («The Enormous Crocodile») и др. В «ИЛ» напечатан его рассказ «Семейный пансион» (1992, № 7).
Рассказ «Генезис и катастрофа» («Genesis and Catastrophe») взят из сборника «Несколько рассказов о неожиданном» («More Tales of the Unexpected». London, Penguin Book, 1983).

ДАНИЛО КИШ (DANILO KIŠ; 1935 — 1989) — сербский прозаик, переводчик, лауреат премии имени И. Андрича и других литературных премий. Автор романов и книг новелл «Псалом 44»

(«Psalom 44», 1962), «Сад, пепел» («Bašta, pepeo», 1965), «Песочные часы» («Peščanik», 1972), «Могила для Бориса Давидовича» («Grobnica za Borisa Davidoviča», 1976), «Энциклопедия мертвых» («Enciklopedija mrtvih»), фрагменты этой книги печатаются по изданию Beograd, «Prosveta», 1985.

■ Переводчики:

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА — переводчик с французского. В ее переводах публиковались стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, романы А. де Виньи «Стелло, или Синие демоны», А. Ланжевена «Пыль над городом», С. Пру «Терраса Бернардини», С.-Г. Колетт «Конец Ангела», пьесы А. Камю «Осадное положение» («ИЛ», 1990, № 10), Э.Ионеско «Бескорыстный убийца» (Библиотека «ИЛ», 1990), Жан-Клода Брисвиля «Ужин» («ИЛ», 1993, № 5) и др.

РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ (род. в 1932 г.) — литературовед-славист, переводчик. В «ИЛ» (с 1957 по 1985 г.) печатались его переводы с сербскохорватского и словенского языков произведений югославских писателей И. Андрича, М. Селимовича, Ц. Космача, Д. Чосича, Б. Чопича, Р. Вешовича, Р. Маринковича, М. Миланкова, С. Вереша, Д. Еремича и др., а также материалы о литературе и культуре югославских народов. В 1989 — 1994 гг. вышли его работы о писателях русского зарубежья — М. Алданове, К. Бальмонте, Б. Зайцеве, П. Струве и др.

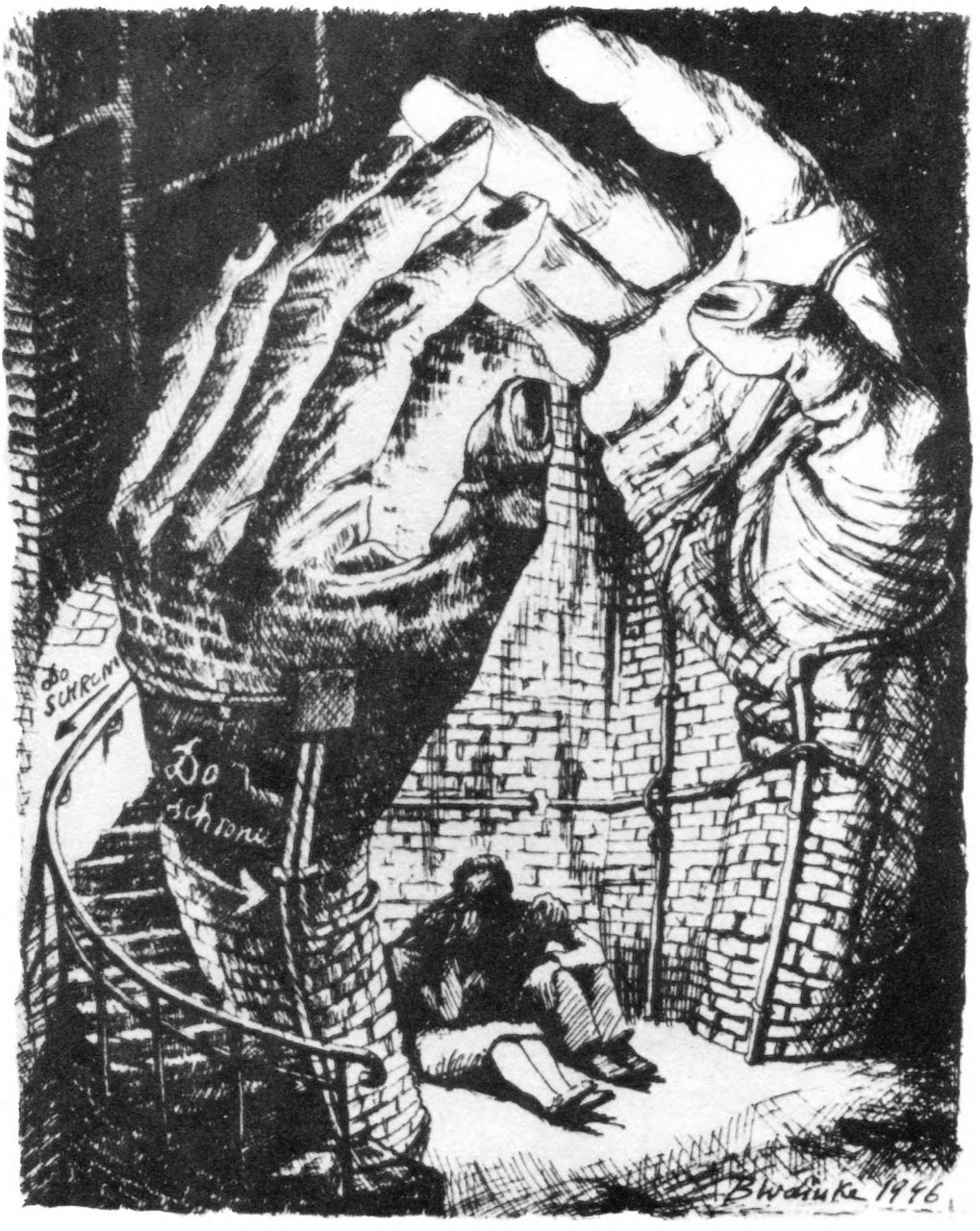
КОСАРИК ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА — переводчик с немецкого. В ее переводах печатались рассказы А. Мушга и Г. Гессе, повести «Запоздалая любовь» П. Хэртлинга, «Лунное затмение» Ф. Дюрренматта, романы Ф. Глаузера «Власть безумия», М. Шпербера «Потерянная пристань», Э. Юнгера «Гелиополис», Г. Эрнста «Суперодиночки», Э. Кестнера «Исчезнувшая миниатюра»; в «ИЛ» публиковались эссе Г. Кунерта «Дополнение к бедекеру» (1973, № 10), Ф. Р. Фриза «Северная мозаика» (1974, № 10), переводы из журнала «Wespennest» (1993, № 11) и др.

ЮФЕРЕВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ (род. в 1959 г.) — переводчик с сербскохорватского языка. В его переводах печатались романы Б. Чопича «Богатыри в Бихаче», М. Лалича «Клок тьмы», короткие пьесы Б. Нушича, рассказы Дж. Лабовича, М. Реновчевича-Невене, М. Гончина. В «ИЛ» в его переводе напечатан роман Момо Капора «Книга жалоб» (1991, № 7).

ВАНХАНЕН НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА — поэт-переводчик. В ее переводах публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов: А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. А. Беккера, Л. Сернуды, А. Сторни, Х. Хорхе Падрона («ИЛ», 1988, № 4), Эрнестины де Чампурсин («ИЛ», 1994, № 6).

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.) — поэт и переводчик, филолог-испанист, доктор филологических наук. Автор сборника стихов «Четыре лета в году» (1980). Переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, Пабло Неруды, Николаса Гильена, Лиона де Грейффа, Октавио Паса и других испанских и латиноамериканских поэтов. Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе «Испанская рифма» (М., 1987), «Стилистический анализ испанского стихотворного текста» (М., 1988) и др. Переводы С. Гончаренко неоднократно печатались в «ИЛ». Лауреат премии «ИЛ».

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — переводчик. В его переводах публиковались стихи испанских поэтов: Ф. Гарсиа Лорки, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских: А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских: П. Верлена, Г. Аполлинера. Переводы А. Гелескула неоднократно печатались в «ИЛ». Лауреат премии «ИЛ».


Do Schronu
Do Schronu
Bwdiuka 1946

Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" -

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный **"ИНДЕКС"** с 500 000 ссылками, бесплатный **"ЕЖЕГОДНИК"** с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические **"ЕЖЕГОДНИКИ"**.

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. **Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.**
"GREAT BOOKS" - **"Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Орвелла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA".**
Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.
CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - **"Britannica Discovery Library"** в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. **Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.**

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма

"Мир Знаний",

эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

Телефон в Москве : (095) 161 07 75, 924 90 02
Факс : (095) 923 78 91
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1995, №5, 1-192